

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1984

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

А лек сее в М. П. Русский язык в мировом культурном обиходе (Окончание) . . . . .	3
Т ру б а ч е в О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян (Окончание)	18

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К р и в о н о с о в А. Т. (Москва). «Текст» и логика . . . . .	30
Б о л д ы р е в А. Н. (Ленинград). «Семь вторящих» (к истории одного арабоперсидского стиховедческого термина) . . . . .	44
Ш м и д т К. Х. (Бонн). Типологическое сопоставление систем картвельского и индоевропейского глагола . . . . .	48
В е р н е р Г. К. (Таганрог). Типология элементарного предложения в енисейских языках . . . . .	58
С о к о л ь н с к и й А. А. (Магадан). Происхождение одного фонологического парадокса в современном русском литературном языке . . . . .	68

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К р у п а т к и н Я. Б. (Севастополь). Формально-структурное описание языковых групп (фраз) . . . . .	77
Ч а р е к о в С. Л. (Ленинград). Наречные слова и частицы в системе частей речи бурятского языка . . . . .	88
Ш у л ь г а М. В. (Москва). О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов . . . . .	98

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Д о м а ш н е в А. И. (Ленинград). Реформа немецкой орфографии . . . . .	105
Н и к о л а е в а Т. М. (Москва). Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции . . . . .	111

#### Рецензии

Ч е с н о к о в П. В. (Таганрог). <i>Панфилов В. З.</i> Гносеологические аспекты философских проблем языкознания . . . . .	120
А л п а т о в В. М. (Москва). <i>Неверов С. В.</i> Общественно-языковая практика современной Японии . . . . .	124
Б е л я е в Д. Д. (Тула). <i>Lunt H. G.</i> The progressive palatalization of Common Slavic . . . . .	126
Б л а г о в а Г. Ф., Н а д ж и п Э. Н. (Москва). <i>Кононов А. Н.</i> История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период . . . . .	130
Ф е д о р о в А. В. (Ленинград). <i>Пумпянский А. Л.</i> Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык . . . . .	134

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	138
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,  
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),  
О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78  
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

АЛЕКСЕЕВ М. П.

## РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ ОБИХОДЕ \*

3

В этом общем, по необходимости беглом очерке развития и изучения русского языка в Западной Европе до начала XVIII в. наше внимание обращает на себя одна, чрезвычайно характерная особенность. По мере того как русский язык становился языком слагающейся русской нации, выразителем самобытной русской культуры, он все сильнее интересовал иностранцев не только как средство делового общения с русским населением, но именно как язык этой культуры, как ключ к раскрытию ее ценностей. Это не может не бросаться в глаза.

С середины XVI в. идет ряд непрерывно умножающихся попыток систематического ознакомления с московской письменностью в целях лучшего познания русского государства, его исторических, этнографических, правовых особенностей, нравов и быта. Уже С. Герберштейн, автор «Записок о московитских делах», одной из наиболее примечательных книг о России, изданных в XVI в., изучал Московское государство не только как путешественник-очевидец, но и по письменным источникам. В его книге впервые опубликованы были части русской летописи и замечательных памятников древнерусской письменности XI—XII вв. (например, отрывки из Правил митрополита Иоанна XI в. и из Вопросания черноризца Кирика XII в.); он цитировал фрагменты из церковного устава кн. Владимира и некоторые статьи из Судебника Иоанна III; оригинал последнего, как известно, стал доступен изучению только в начале XIX в.; наконец, в Записках Герберштейна помещен был также перевод русского Дорожника XV в., оригинал которого до нас не дошел. Вслед за Герберштейном многие другие западноевропейские писатели стали интересоваться памятниками письменности — летописями и другими источниками: памятниками русского законодательства, церковно-юридическими памятниками, географическими и этнографическими сочинениями. О знакомстве с русскими летописями с большим или меньшим правом говорят почти все, писавшие о России на иностранных языках в XVI и XVII вв. Столетие спустя после того как Герберштейн перевел Судебник Иоанна III, Мейерберг издал латинский перевод Уложения Алексея Михайловича [50]. Особенно многочисленны были переводы русских географических сочинений. Помимо Дорожника, опубликованного Герберштейном, можно указать здесь на выполненный еще в 1558 г. Ричардом Джонсоном английский перевод небольшого русского географического сочинения XV в. «О человецех незнаемых в восточной стране и о языцех разных», напечатанный в Лондоне в 1598 г., вместе с рядом других статей географического содержания, «переведенных слово в слово с русского языка». В 1625 г. в Лондоне издана была и целая серия других переводов русских географических сочинений, в том числе перевод так называемой «Реляции сибирского казака Ивана Петлина в Монголию и Китай в 1618 г. по одному из лучших списков», и эту реляцию, как известно, по достоинству оценил и цитировал Джон Мильтон [51]. К концу XVII столетия количество аналогичных переводов с русского языка было уже чрезвычайно велико: достаточно напомнить здесь амстердамского бургомистра Николая Витсена, напечатавшего в 1692 г. по-голландски в своей некогда знаменитой

\* Окончание. Начало статьи см. в ВЯ, 1984, № 2.

книге о «Северной и Восточной Татарии» многочисленные переводы с русского языка и письма к нему доброго десятка русских корреспондентов [52]. Русский вклад в западную географическую науку и, частично, в историческую науку в XVII в. был поистине неопеним: русские географические и этнографические сочинения XV—XVIII вв., записи рассказов бывалых русских людей и отважных мореходов открыли западным географам не только новые обширные земли, дотоле им вовсе неизвестные, но и поставили перед ними новые научные проблемы, подсказывая их правильное решение. Без русских источников и материалов обойтись уже было нельзя — изучение русского языка было необходимостью для ученых разных специальностей: иные в древнерусских рукописях искали утраченные на Западе памятники античной культуры [53], другие с помощью истории русского языка искали разгадку проблем о родстве и различии, многообразии и распространенности (Лейбниц) языков, третьи с помощью русского языка изучали строение Земли, ее физические свойства, ее животный и растительный мир и т. д. Иные, наконец, изучали русского человека как участника мировой жизни, во всем своеобразии его духовной культуры и быта, в памятниках его письменности, его словесного искусства. В этом смысле очень характерно, что в XVII веке обнаружился интерес западноевропейцев и к русскому народному творчеству (вспомним записи шести великорусских песен, сделанных для Ричарда Джеймса в 1618 г., многочисленные книги, вывезенные в западноевропейские страны в XVII в. из России и сохранившиеся в различных книгохранилищах Европы, — среди них древнерусские повести, хронографы, азбуковники, памятники отреченной письменности и т. д. Не менее показателен отмеченный выше интерес и к современной русской художественной литературе, в частности, к виршевой поэзии, вызывавшей даже охоту к подражанию. Неудивительно поэтому, что и крупнейшие западноевропейские писатели XVI—XVII вв. не могли не удержать в своем творчестве первые следы ознакомления с русской культурой, ставшего возможным благодаря повсеместно распространявшемуся изучению русского языка. Из множества относящихся сюда и еще недостаточно изученных примеров укажу лишь на два из них, представляющих мне примечательными во всех отношениях. В конце XVI в. виднейший представитель французского Возрождения Монтень в книгу своих «Опытов» включил несколько эпизодов из русской истории (в частности, историю Ярополка): эти исторические рассказы могли стать ему известными только потому, что в различных исторических компиляциях этого времени появились извлечения из русских (и польско-латинских их переработок) летописей [54]. В середине XVII в. великий поэт буржуазной революции Джон Мильтон мог включить в своей «Потерянный рай» несколько живописных описаний Сибири и Китая только потому, что перед ним были переводы русских географических сочинений, которые он сам некогда обработал в своей «Краткой истории Московии»<sup>8</sup>.

Таким образом, изучение русского языка в Западной Европе вызывалось не простой любознательностью. Смешные попытки ганзейцев в начале XV в. «воспретить» изучение русского языка своим торговым конкурентам были возможны только в ту пору, когда недогадливые купцы не подозревали еще о существовании русской культуры или попросту не интересовались ею: впрочем, и тогда эти запрещения, как мы видели, не могли иметь никаких результатов. Но с середины XVII в. отчетливо прослеживается интерес к русскому языку как к языку, открывавшему западноевропейцам широкие культурно-исторические перспективы.

Эта тенденция была всецело завещана XVIII веку, просветительскому веку западноевропейской истории, значительно углубившему и расширившему ее. В самом деле, история усвоения русского языка в XVIII в. на европейском Западе, в частности во Франции, могла бы составить тему самостоятельного и очень обширного исследования. Знакомство с русским языком за рубежом в этом веке расширилось необычайно. Книжная и

<sup>8</sup> См. выше [51].

журнальная литература в России, появившаяся после петровских реформ, буквально испещрена замечаниями о русском языке, его свойствах, особенностях и звучании. Через посредство этих сочинений отдельные русские слова хлынули за рубеж гораздо более широким потоком, а оценка русского языка и, в частности, его приспособленности к тому, чтобы служить орудием научной мысли и словесного искусства, становилась все более устойчивой по мере того, как стабилизировалась русская научная терминология и совершенствовались стили русской литературной речи.

Известно, что Франция в XVIII в. уделила России достаточно глубокое внимание. Интерес к России и ко всему русскому проявляли в то время не только отдельные философы и писатели, связанные с русским двором или дипломатами, но и довольно широкие круги дворянско-буржуазной интеллигенции. Военная мощь «Северной Империи», огромная фигура Петра I, русская политика, наука, современная литература, русские нравы служили предметом не только достаточно живого внимания общественного мнения и текущей прессы, но и предметом специальных исследований и откликов в художественной литературе. Можно напомнить здесь об исторических трудах Монтескье и Вольтера, «Петриду» Тома, драмы Доре («Петр Великий») и Лагарпа («Меньшиков»); однако вопрос о значении «русской темы» во французской художественной литературе входит как часть в более общую тему о России в интеллектуальной жизни Франции XVIII в. [55]; особой главой в таком обширном исследовании могла бы стать и история русского языка во Франции. В ту пору, когда наряду с подлинными переводами с русского во Франции множились «псевдопереводы», когда французские писатели избирали себе «русские» псевдонимы (как, например, Кармонтель, называвший себя в печати «русским князем Кленерцовым»), когда в Париже в ходу был термин «russoric», обозначающий склонность ко всему, идущему из России, русский язык, естественно, также должен был быть в ходу. Русские слова и фразы, не говоря уже о собственных именах и географических названиях, действительно попадают в большом количестве французских печатных источников; попадают они и в художественной литературе, порой совершенно неожиданно (есть они, например, в популярном романе о кавалере Фоблазе Луве де Кувре, где упоминается о восстании Пугачева, а финалом служит история раздела Польши); есть они в сочинениях философов и энциклопедистов — у Ренала, Д'Аламбера, Мармонтеля, Мабли и у многих других. Из крупных французских писателей в России побывали, как известно, двое: Бернарден де Сен-Пьер и Дидро; в сочинениях первого из них русский язык особых следов не оставил, хотя писатель должен был несколько ознакомиться с ним практически; напротив, Дидро, один из наиболее передовых буржуазных деятелей предреволюционной Франции, проявил к нему значительный интерес и, живя в Петербурге около пяти месяцев (1773—1774), упорно ему учился.

Сравнительно недавно (в 1932 г.) библиотекарь Парижской национальной библиотеки Ж. Порше нашел и опубликовал чрезвычайно интересный перечень книг на русском языке, вывезенных Дидро из России и затем (в 1775 г.) проданных им этой библиотеке. Отыскалась затем и значительная часть самих этих книг [56, 57]. Даже простой перечень этих книг представляет немалый интерес: это хорошо и тщательно составленный подбор сочинений по русскому языку, литературе, истории, праву, государственному делу и т. д. Это — не только коллекция иноязычных образцов: это собрание, подчиненное тому плану серьезного и вдумчивого изучения русской культуры, которое Дидро составил себе, живя в Петербурге. Уже то, что Дидро сумел сделать толковую опись этих русских книг, свидетельствует, что он знал их содержание, мог прочесть и перевести их заглавия (хотя и не всегда точно). Еще более важно то (и об этом свидетельствуют сами книги), что приобретая их в Петербурге или получая их в подарок от друзей, он несомненно читал некоторые из них в русских подлинниках. Если в момент своего прибытия в Россию Дидро, по собственному признанию, не знал еще ни слова по-русски, то живя здесь, он делает попытки изучить русский язык и в процессе этого изуче-

ния знакомится с русскими книгами, до сих пор хранящими на своих полях его пометы, переводы отдельных слов и прочие следы работы над ними.

Список книг, составленный Дидро, недаром открывается отделом «Грамматики», своего рода «ключом» ко всему собранию: это был практически ценный подбор пособий для основательного изучения русского языка и письма, коллекция изданий, заключающая в себе едва ли не лучшее из того, что для подобной цели могло быть собрано иностранцами в начале 70-х годов XVIII в. Мы находим здесь какую-то русскую азбуку и прописи, далее — знаменитый учебник русского языка для французов Шарпантье, изданный в Петербурге в 1768 г. и сохранивший свое практическое значение до конца XVIII в. [58]<sup>9</sup>; далее в списке Дидро названы также: первый печатный (и очень объемистый — свыше двух тысяч страниц) французско-русский словарь 1764 г., или «Новый вояжиров лексикон» (как называлась его вторая часть) Сергея Волчкова [60, с. 326—327], учебник французского языка для русских «с приложением реестра по алфавиту русских слов» [61]<sup>10</sup> и, наконец, новейший, вышедший в Петербурге в момент пребывания там Дидро «Опыт нового российского правописания...» Василия Светова [63], на обложке которого Дидро написал: «Essai sur l'orthographe»; здесь же находится, наконец, и «Российская грамматика» Ломоносова в издании 1755 г.

Учебник Шарпантье носит на себе следы серьезной работы над ним Дидро. На полях этой книги пометы его рукой, карандашом и чернилами, особенно в конце, где приводятся образцы разговоров. Следы чтения русских книг имеются на принадлежавшем ему экземпляре комедии Сумарокова «Ядовитый» (СПб., 1768) и в особенности на экземпляре трагедии того же Сумарокова «Хорев» (СПб., 1768). Из других данных видно, что, имея под рукой русские книги, Дидро вчитывался в русский текст, искал наилучшего перевода для отдельных русских слов: так, в передаче заглавия в комедии Екатерины II «Госпожа Вестникова с семьею» Дидро перевел на французский язык также и фамилию героини пьесы, конечно, с умыслом и вполне оправданным «*La femme Nouvelliste avec sa famille*», а на обороте другой комедии того же автора, «Именины г-жи Ворчалкиной», сделал то же, добиваясь наибольшей точности передачи — «*La femme boudeuse, ou la grondeuse*»: значение французского слова «*boudeuse*» (недовольная, надувшаяся) отстоит гораздо дальше от соответствующего русского слова, положенного в основу фамилии Ворчалкиной, чем найденное им, в конце концов, более точное слово: «*grondeuse*».

Все эти факты являются примечательными, в особенности если мы сравним с ним довольно безразличное отношение к русскому языку хотя бы Вольтера. Для Вольтера и для многих французских писателей его времени проблема своеобразия иноземной речи не являлась сколько-нибудь существенной для оценки всякого иностранного, в том числе и русского, произведения художественного слова; им было достаточно и того, что в переводах произведения русских писателей могли представлять для них общий интерес; они не нуждались в оригиналах и лишь в редких случаях допускали некоторую возможную неполноту восприятия оригинала через посредство переведенного текста. Корни такого заблуждения — в нормативном характере эстетики французского классицизма и в убеждении французских ценителей литературы относительно богатства оттенков французской речи. Дидро противостоял Вольтеру и в этом отношении — и эстетикой, материалистической в своей основе, и тонкой и своеобразной теорией языка, для которой и его занятия над книгами русских писателей могли иметь значение<sup>11</sup>.

Если история занятий русским языком Дидро и не может быть названа типичной для французских просветителей XVIII в., то она не может быть также названа и случайной, единственной в своем роде; именно французский XVIII век знает ряд примеров живого действительного интереса

<sup>9</sup> См. об этой книге [59].

<sup>10</sup> См. [62; 60, с. 351].

<sup>11</sup> Вопросы языкознания в постановке и решении Дидро вовсе не изучены, что констатируют и зарубежные исследователи, например, [64].

к русской литературе (от двукратного издания «Сатир» А. Кантемира во французском переводе абб. Гваско 1749—1750 гг. до стихотворных подражаний Антуана Лемьера произведениям Ломоносова), к русской науке, к русской философской мысли; вне этого интереса не стоял в то время ни один сколько-нибудь значительный французский писатель. И это не могло быть иначе, в пору, когда успехи русского народа в дальнейшем развитии своей национальной культуры вызывали всеобщее удивление, когда и на литературном и на театральном поприщах, и во всех областях искусства, научной мысли и технического изобретательства русский народ мог выдвинуть таких деятелей, творчество которых представляло безусловно международный интерес: достаточно вспомнить такого гиганта, каким был Ломоносов. Тем самым повышалось и международное значение русского языка.

Известная патриотическая характеристика русского языка, данная Ломоносовым в предисловии к его «Российской грамматике», основана была, прежде всего, на его естественных теоретико-лингвистических сопоставлениях и на живом, эмоциональном восприятии русской речи. Русские писатели конца XVIII и начала XIX в. могли уже опираться в своей характеристике русского языка на весьма сочувственные отзывы о нем иностранцев. Державин в своем «Рассуждении о лирической поэзии» писал: «...славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности греческому, превосходя все европейские: итальянский, французский и испанский, колыми паче немецкий, хотя некоторые из новейших их писателей и в сладкозвучии нарочитые успехи показали» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 7. Сочинения в прозе. СПб., 1872, с. 596). Упоминая иностранных эстетиков, Державин имел в виду прежде всего Гердера, на которого он и делает ссылку в своем трактате. Но подобные суждения, действительно, попадались в иностранных сочинениях XVIII в. Сошлюсь хотя бы на французского писателя Антуана Леонара Тома (1732—1785), восторженного ценителя Ломоносова, который в своем «Опыте о похвальных словах» заметил, что «русский язык, после итальянского, самый нежный язык в Европе», отдавая в то же время должное «гибкому и легкому уму русских» и предсказывая «искусствам» в России большое будущее [65]. О «нежности» русского языка, противопоставляя его немецкому, в 1788 г. говорил англичанин А. Суинтон: «Уши мои, — признавался он, — никогда не выносили немецкого, в то же время примирились с нежностью русского языка» (the softness of the Russian language) [66]. Немецкий писатель Иоганн Готфрид Зейме в 1797 г., в свою очередь, писал: «Может быть, некоторые читатели посмеются, когда они услышат о грации русского языка. Автор этих строк, который не вовсе чужд изучению древних и новых языков, может их, однако, уверить, что после греческого он не знает никакого другого языка, кроме русского, который имел бы больше точности и звуковой привлекательности» (sonorischen Wohllaut) [67]. На страницах «Гёттингенских ученых известий» в XVIII в. специально освещался вопрос о достоинствах славянских языков и о «нежности» и «мягкости» русского в сравнении с немецким и французским и возник даже спор о преимуществах русского и польского: нашли защитники как одного, так и другого языка [68]. В 80-х гг. XVIII в. Иоганн-Христиан Шваб доказывал, что придет время, когда славянские языки и, в первую очередь, русский, получат такое же значение, как язык французский [69]. Наконец, Л. Вахлер в своем известном «Руководстве к всеобщей истории литературной культуры» («Handbuch der allgemeinen Geschichte der litterarischen Cultur», Marburg, 1804—1805) на пороге нового века утверждал, что русский язык «богат, энергичен и мелодичен, очень картинен и способен к свободной гениальной обработке» (т. II, с. 863), и тут же высказывал следующее убеждение: «Политический вес России, связанный с мощным стремлением нации к высшей культуре, дает основание предполагать, что в следующем столетии столько же преподавателей русского языка будут находить применение своему труду, сколько сейчас французских» (т. II, с. 863) [70].

Вопрос, таким образом, заключается теперь не только в эстетическом восприятии русского языка непривычным к нему ухом — близко узнававшие его люди, отрешаясь от привычных речевых навыков, могли находить его красивым; дело шло, прежде всего, о приспособленности его к передаче мысли, о его средствах создавать произведения искусства. В признании за русским языком эстетических, музыкальных свойств, благозвучия, красоты звучания было, разумеется, больше устойчивости, чем прежде, ибо и произведения словесного искусства, поэзии, художественной литературы, средством которых он служил, — непрерывно совершенствовались: язык Сумарокова, который изучал Дидро, и язык Державина в особенности язык Пушкина, над произведениями которых трудились французские переводчики XIX в., представляли собою качественно стилистические различия, в том числе и в звуковом, собственно музыкальном смысле. Тем не менее, именно в этом отношении нельзя наметить некоей общей единой линии восприятия иностранцами русского языка. В этом восприятии не могло быть единства, хотя бы потому, что знакомство с языком периодически обновлялось от поколения к поколению, и это восприятие могло быть различным даже в хронологических пределах одного и того же поколения. А. Тома, как мы видели, считал русский язык самым нежным в Европе после итальянского; современник Тома, Ж. Ж. Руссо, напротив, оставил отрицательный отзыв о русском языке, которого он не знал, а Казанова, цитирующий этот отзыв в своих мемуарах, прибавил к нему и несколько собственных язвительных замечаний. Англичанину Суинтону русский язык показался и нежным и красивым, а поколением спустя его соотечественники, показывавшие в Оксфорде заезжему русскому путешественнику старые русские рукописи, по словам этого путешественника (Д. П. Северина), «с презрением слушали незнакомые для них звуки», когда он прочел им вслух несколько строк из лежавшего перед ним текста. И Байрон, подобно Вольтеру, высмеял в «Дон Жуане» казавшиеся ему смешными русские фамилии, оканчивающиеся на «ипкин», «ушкин», «оффски» и «уски», что не помешало ему оценить поэзию «русского соловья» Жуковского, когда он прочел его стихотворение в довольно посредственном английском переводе. В письме от 15 июля 1844 г. к Э. Мещерскому по поводу его драматической сцены «Артамон Матвеев», написанной на французском языке, А. де Виньи писал: «Самому Тальме не удалось бы заставить выслушивать терпеливо и с серьезным видом такие слова, как Sviatoslaf, Iaroslaf, Monomakh, Mstislaf или названия местностей: Iakoutsk потом Jénisséisk, Nertchinsk на юге, Irkoutsk на севере. Не пытайтесь делать этого в более крупном произведении, поверьте мне» [71—72]. Не может быть ничего оскорбительного для национального достоинства и в то же время для действительной красоты русского языка, что восприятие его разными людьми, представителями разных народностей и разных культурных слоев оказывалось переменной величиной: много очень интересных наблюдений по этому поводу оставил нам Тургенев, и эти наблюдения подтверждают, что его разнообразные и сложные эксперименты по изучению тех впечатлений, какие производил русский язык на иностранцев, приводили к самым неожиданным результатам. Теккерею, например, слушавшему в декламации Тургенева одно из самых музыкальных стихотворений Пушкина, «звуки русского языка» показались смешными, а в «Вешних водах» описан другой, вполне удавшийся опыт: Санина просят спеть что-нибудь на его родном языке. Он поет «Сарафан», «По улице мостовой». «Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка»... Затем Санин «сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское „Я помню чудное мгновенье“, положенное на музыку Глинкой... Тут дамы пришли в восторг...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 12-ти т. 2-е изд. М., т. 8, с. 265).

Можно было бы привести еще сколько угодно примеров жадного любопытства иностранцев к з в у ч а щ е й русской речи, их любования ею, их предположений и предвидений относительно ее будущей судьбы, чрезвычайной пригодности ее для музыки и поэзии. Напомню хотя бы выска-

звания м-м де Сталь; стихотворение Мёрике «Машенька» (1838), посвященное русской девушке на чужбине, из уст которой он впервые услышал непонятную для него, но «сладко-лепечущую» русскую речь. Все это эстетическое любование и все эти предвидения не создавали еще массового увлечения; изучением русского языка. Любителей русского языка было не мало, но они в первой половине XIX в. оставались еще одиночками. Для того, чтобы такое изучение могло захватить более широкие общественные круги, необходимо было еще более широкое и блестящее развитие передовой русской литературы. Это и случилось, действительно, в XIX в.

4

Карамзин, рассказывая в «Письмах русского путешественника» о своих знакомствах с зарубежными писателями, упомянул, между прочим, о беседе своей с немецким писателем Морицом: «Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. „Может быть, придет такое время, — сказал он, — в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное“» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Повести. М., 1980, с. 82). Аналогичные оправдания иностранцев в незнании русского языка еще нередки в начале XIX в.: даже интересующиеся им люди ссылаются в то время на трудность его изучения, на отсутствие мощных импульсов, которые заставили бы их победить все действительные или мнимые затруднения по овладению этим языком. Но к середине XIX в., когда русская литература дала уже Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, посредничество переводчиков казалось недостаточным: в различных странах и притом независимо от количества и качества существовавших переводов необходимость непосредственного обращения к подлинникам становилась все более и более ощутительной.

На первых порах, когда имевшиеся переводы с русского языка перестали удовлетворять непрерывно возрастающий на них спрос, существовала даже своеобразная рукописная литература переводов с русского. Интерес ее заключается не только в том, что в качестве переводчиков выступали во многих случаях видные литераторы, остро и тонко чувствовавшие художественные качества тех произведений, которые они пытались передать на иностранном языке; они интересны также и потому, что сделаны были для видных представителей зарубежных литератур, нередко по их просьбе. Известны превосходные переводы русских народных песен на французский язык, сделанные Пушкиным; произведения самого Пушкина переводили для Ламартина А. И. Тургенев, для Шатобриана — П. А. Вяземский, для Томаса Мура — тот же Тургенев. Эти дословные переводы сопровождались иногда пояснениями лингвистического характера, общими замечаниями о русском языке и его специфических особенностях. Очень интересен, например, опыт ознакомления с русским языком Гете, предпринятый В. К. Кюхельбекером непосредственно после посещения им великого немецкого писателя в Веймаре в ноябре 1820 года. За несколько лет перед тем Жуковский перевел «Арфиста» Гете, увлеченного им из «Годов учения Вильгельма Мейстера». По просьбе Гете Кюхельбекер сделал обратный дословный немецкий перевод этого стихотворения и послал Гете с сопровождающим его русским текстом и пояснениями лингвистического и стилистического характера. На другом листке Кюхельбекер переслал Гете также свое стихотворение «К Промефею» с собственным же дословным переводом на немецкий язык. В письме Кюхельбекера к Гете, написанном по этому поводу, есть любопытная приписка: адрес «того из дрезденских переводчиков, о котором я имел честь упоминать» [73]<sup>12</sup>. Едва ли может быть сомнение в том, что речь шла о некоем постоянном переводчике с русского языка, о котором Гете осведомлялся у своего заезжего гостя, — Кюхельбекера.

<sup>12</sup> Здесь же воспроизведены и переводы Кюхельбекера по рукописи, хранящейся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.

Подобные попытки способствовали популяризации русского языка среди западноевропейских писателей, усвоению его отдельных слов, удерживавшихся в памяти, пониманию всего своеобразия русской устной и письменной речи. Известно, как много сделал в этом отношении Тургенев среди писателей Франции, Германии, Англии, даже Испании и Италии — своими «устными» переводами из русских писателей, не подвергавшимися даже письменной фиксации, своими беседами о русском языке, своими декламациями русских поэтов в русских подданных. Именно таким путем в памяти Флобера удержалось русское слово «телега» («télègue»), которое он сам употребил в одном из своих писем к Тургеневу [74, 75].

Обилие русских путешественников за границей, хорошо владевших иностранными языками, сыграло в том же отношении немалую роль; многие из этих путешественников в первой половине XIX в., даже независимо от своего образования или литературных склонностей, стихийно превращались в переводчиков-любителей, истолкователей русской литературы, преподавателей русского языка. Достаточно вспомнить здесь хотя бы роль русских гостей в парижских салонах 20-х годов, немецкий кружок Н. А. Мельгунова в 30-х годах или русских знакомцев Фарнгагена фон Энзе в Берлине в 30—40 годы. Известно, какую роль в изучении русского языка П. Мериме сыграли его многочисленные русские друзья: для его деятельности в качестве переводчика с русского немалое значение имела помощь, оказанная ему С. А. Соболевским или В. И. Дубенской-Лагрене. Во второй половине XIX в. аналогичную роль в различных странах Западной Европы играла русская революционная эмиграция.

Этот бытовой факт нельзя не учесть, анализируя причины довольно широкого распространения русской лексики в культурном обиходе многих зарубежных стран. Еще в 20-х годах во французских театрах можно было безнаказанно ставить пьесы, в которые вставлялись фразы, состоящие из подбора ничего не значащих звуков, преподносящихся в качестве образцов русской речи. В одной из таких французских пьес русский генерал, обращаясь к казакам, произносит следующую фразу, выполняющую функцию «русского языка»: «„Brik neu roll dinks afskir!“ И казаки делают вид, что его поняли, и немедленно уходят со сцены» [76] <sup>13</sup>.

Вскоре, однако, положение резко изменилось. Довольно значительное количество русских слов, большею частью с отчетливым пониманием их смысла, можно найти в сочинениях и письмах Ламартина, Гюго, А. де Виньи, Сент-Бёва, не говоря уже о тех писателях, которые побывали в России или жили здесь и успели в той или иной степени познакомиться с русским языком. Слова «clèbe» (хлеб), «khout», «knez» вместо «prince», «bojar» (не говоря об общеупотребительном во Франции с 1815 г. слове «cossaque») встречаются в сочинениях Шатобриана. Альфред де Виньи, сталкивавшийся с русскими людьми с детства (в парижском пансионе его товарищами являлись будущие декабристы Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы) и до конца жизни интересовавшийся Россией и ее общественно-политической жизнью, знал и употреблял русских слов много больше. В набросках его неосуществленных поэм (главным образом, из жизни политических ссыльных в России) мы находим: *verst*, *izba*, *doroga*, (=une route), *kibitka*, *iamschik*). Ламартин знает, что «fourashka» — *ça veut dire en russe la casquette militaire* и что приветствие *bonjour, mes enfants* переводится «*strastvovité rebeti en russe*». Гюго знает слова: «друг» — «ami», «песнь» — «chanson» и т. д.

<sup>13</sup> В рассказе «Путешественник», напечатанном в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» (1820, № 6, с. 269—289), петербургский житель рассказывает, что он видел в Париже пьесу, в которой «русский офицер» произносил следующие слова: «„Игема, глебонинь попоиска рюзкоф“. Сосед-француз просил его перевести эти слова на французский язык. Русский сказал, что это ничего не значит, что слова эти выдуманы автором пьесы. Однако ему не поверили, а другой француз заявил: „Я знаком с сочинителем комедии. Он делал последнюю кампанию, был в Москве и говорит сам очень хорошо по-русски.“ „— О чем тут спорить? Это точно по-русски, — подхватил мой сосед: попоиска глебонинь настоящие русские слова; я сам тысячу раз слышал их от казаков, когда русские были в Париже“».

Любопытно, что Бальзак остался в общем чуждым русской речи, хотя он и прожил некоторое время в России, «русский так и не усвоил»; он остался в пределах дорожной «практики», удержав на некоторое время лишь несколько «ходких русских слов: „бричка“, „кибитка“, „подорожная“, „почтовая карета“, „мужик“, „огня“, „какой“, „другой“, „кнут“ и пр.» [77]. Художественной спецификой русской речи, разговорной или литературной, Бальзак не заинтересовался вовсе. Некоторые из упомянутых слов, однако, постепенно входили и во французскую речь. Так, слова «кибитка» вместе с «тарантасом» и «степью» уже в 30-х годах большею частью оставались без перевода во всех европейских языках. Сент-Бёв с похвалой цитировал, например, французский перевод пушкинского стихотворения «Прощание с калмычкой», где слово «kibitka» встречается дважды:

.... tout coin lui sert,  
Salon doré, soyeuse loge,  
Ou la kibitka du désert...

Что касается слова «тарантас», то удержанию его на некоторое время в европейских словарях содействовала не только русская почтово-дорожная практика, но и переводы одноименного произведения гр. В. А. Соллогуба: в Англии слово «тарантас» несколько раз употребил Диккенс, а Вильям Споттисвуд книгу, рассказывавшую о его поездке в Россию, озаглавил: «Tarantasse journey» (1868).

Для некоторых писателей, преимущественно французских, отдельные русские слова становились в это время предметом эстетического любования как экзотические раритеты. Таково было, например, отношение к русскому языку Т. Готье. Одно из его стихотворений, внушенное акварелью Бланшера, изображающей деревенскую девушку среди розовых кустов, включает в себя и русское обиходное выражение. Зритель этой понравившейся ему акварели, взглянув на изображение девушки,

.... le nomme Maya;  
Timide, elle sourit sur un thrène exposée  
Et chacun en passant lui dit: Doucha maia,

что значит, как это объяснено в примечании: «Ame de mon âme, en russe» [78—79]. То же эстетическое любование и щегольство русскими словами мы находим у английского поэта Роб. Браунинга в его поэме «Ivan Ivanovich» о русском деревенском плотнике [80]<sup>14</sup>, у американца Лонгфелло в его сборнике «Kéramos and other poems» (1878)<sup>15</sup>. Любопытно признание Лонгфелло относительно его юности: «Я приехал было учиться по-русски у одного итальянца, жившего прежде в Москве, но после нескольких уроков учитель этот сознался, что больше преподавать не может. Я догадываюсь, что он сам имел о русском языке весьма смутное понятие» [83].

Никто из указанных выше писателей русского языка не знал, и приведенные примеры иллюстрируют лишь возникновение в разных странах известной «моды» на русский язык, известного тяготения к его овладению, приводившего, в свою очередь, к некоторым намеренным внешним эффектам, но оставшегося нереализованным, неосуществленным.

Наряду с этим поверхностным интересом, который сам был одним из следствий гораздо более глубоких и серьезных причин, мы имеем большое количество свидетельств относительно основательных, многолетних упорных изучений русского языка, предпринятых прежде всего для получения возможности чтения в подлинниках произведений русских писателей и вслед за тем также русской научной литературы.

<sup>14</sup> Э. Бердо приводит пояснения к некоторым русским словам, включенным Браунингом в его поэму и оставленным без перевода (verst, droug, rope, romeshik и др.). См. [81].

<sup>15</sup> Лонгфелло заимствовал русские слова из английского перевода русской песни, сделанного Рольстоном (см. [82]).

Известно, что Проспер Мери́ме начал учиться русскому языку ради Пушкина, Ксавье Мармье — для того, чтобы стать переводчиком Гоголя. В Германии много содействовала первоначальному увлечению русским языком книга Кёнига «Русские литературные очерки» (1839), в которой впервые на немецком языке дана была характеристика русской реалистической литературной школы с отчетливым пониманием значения творчества Пушкина и ранней оценкой Гоголя. «Многие писатели Германии с тех пор принялись за русский язык, — и Фарнгагена, в Берлине, я застал за тремя томами нового издания Пушкина», — сообщал русский путешественник в «Отечественные записки» [84]. Н. А. Мельгунов, немало содействовавший появлению книги Кёнига, сообщал, что она «в первый раз раскрыла богатства русской словесности, которых до того никто и не подозревал» и прибавлял: «Нашлись любители, даже между дамами, особливо в Берлине, которые тотчас же принялись за изучение русского языка». И далее: «Одним из самых разительных тому примеров может служить Г. Фарнгаген фон Энзе, известный немецкий литератор. Принявшись, вскоре после появления Кёниговой книги, за изучение русского языка, он, с помощью одного молодого нашего ученого, через 6 месяцев достиг того, что свободно стал понимать Пушкина. В июле 1838 года мой знакомый писал мне из Берлина следующее: „Фарнгагена я застал за чтением Пушкина... Пушкина понимает он очень свободно и читает его с наслаждением“» [85]. Фарнгаген писал о Пушкина и Гоголе, сделался первым немецким переводчиком Лермонтова. В десятилетнем издании его дневника, который он исправно вел в течение нескольких десятилетий, разбросано множество записей о русском языке, наблюдений за его особенностями, идиомами. «Как великолепен русский язык», — замечает Фарнгаген в 1851 г., т. е. после десятилетнего периода его изучения. «Охота и усердие мое несколько не ослабли, — пишет он однажды П. А. Вяземскому: — я люблю ваш язык, и с каждым днем более люблюсь вашими поэтами» [86]. Недаром тот же Вяземский писал о Фарнгагене:

Любил он нашу речь и, поздний ученик,  
Он в трудности ее и в таинства проник,  
Он понял русского стиха размер и плавность;  
Он Пушкина любил и пыл и своенравность... [87].

У французского литератора Ксавье Мармье интерес к русскому языку возник во Франции в середине 30-х годов, еще в годы его юности. В одном из писем 1834 г. к своему другу Вейсу он заявлял о готовности приступить к изучению русского языка, «столь своеобразного и отличного от тех, которые я знаю», а в 1843 г. Мармье писал: «Я до сих пор помню очарование, испытанное мною тогда, когда я начал изучение этого языка... Всякий раз после того, как я переводил несколько строк из Державина или Пушкина, погруженный в мечты, я выходил на улицы, заставляя звучать в моих ушах сладчайшие слова, которым я обучался, и это была для меня пленительная музыка» [88, 89]. Мармье потом много переводил с русского языка Пушкина, Гоголя, Герцена и до конца своих дней читал русские книги: памятником этих увлечений осталась большая русская библиотека, завещанная им муниципалитету одного из провинциальных городов Франции.

Аналогичным был путь Проспера Мери́ме. Приступив к занятиям русским языком в 1847 г., Мери́ме признавался в одном из своих писем: «Мне кажется, что мне будет очень трудно научиться когда-либо читать столь странные буквы, а чтобы произносить их, пришлось бы, я в этом не сомневаюсь, произвести некоторую операцию в горле». И в последующих письмах Мери́ме к той же корреспондентке встречаются жалобы на затруднения, с которыми ему приходилось бороться, например, на попадавшиеся ему русские «слова удивительной длины, которых я не нахожу в словаре». Тем не менее Мери́ме влекло к русскому языку настойчивое стремление читать русских писателей в оригиналах, и он не только сумел, в конце концов, победить все трудности, но понять и оценить его достоин-

ства. В 1869 г. Мериме писал Л. Стапферу, что русский «это прекраснейший из всех европейских языков, не исключая и греческого. Он гораздо богаче немецкого и отличается необычайной ясностью». С этим отзывом можно сравнить то, что Мериме писал о русском языке в своей статье о Гоголе: «Русский язык — самый богатый, насколько могу судить, из всех европейских языков: он как будто создан для выражения тончайших оттенков. При его необыкновенной сжатости и, вместе с тем, ясности ему достаточно одного слова для соединения многих мыслей, которые на других языках потребовали бы целой фразы. Французский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвавший к себе на помощь все свои простонародные наречия, язык Рабле, наконец, может дать только понятие об этой гибкости, об этой силе» (*Mérimée P. Études de littérature russe*. Т. II. Nicolas Gogol... Paris, 1932, p. 5).

Количество людей, специально изучавших русский язык ради русской литературы, непрерывно возрастало во всех странах. В. П. Боткин, говоря о поездке своей в Лондон в 1859 г., рассказывал об одном из таких английских энтузиастов. «Этот Шоу-Лефевр замечателен для нас, русских, тем, что недавно, — ему уже лет 60, — один и безо всякого учителя выучился по-русски и хотя говорить не может, но читает русские книги...; у него есть маленькая русская библиотека».

В 50-х годах самостоятельно по им самим изобретенному и довольно сложному способу в Лондоне выучился русскому языку Вильям Рольстон, ставший в последующие десятилетия неутомимым пропагандистом русской литературы в Англии, переводчиком Крылова, Тургенева, русских народных песен, сказок, былин [90]. Известное заявление, сделанное Мэтью Арнольдом в его статье о Толстом по поводу заслуженной известности, которой пользуется русский роман в странах Западной Европы, — «если новые литературные произведения поддержат и упрочат эту славу — нам всем придется изучать русский язык» [91], — было уже несколько запоздалым для самой Англии; здесь его уже изучали и одиночками, и в особых клубах, и в литературных объединениях; в 80-е годы английские журналы сообщали, например, об одной англичанке, выучившей русский язык для того, чтобы читать произведения Салтыкова-Щедрина.

П. Л. Кустодиев, живший в Испании при русском посольстве во время общественного подъема 60-х годов в этой стране, сообщил в одном из своих писем из Мадрида: «Здесьнее учебное общество Атений, где я состою членом, пригласило меня на эту зиму (1869) читать лекции, говоря громко, а попросту — учить русскому языку с его публичной кафедры... Здесь все народ солидный. Между моими учениками будут: один экс-министр, профессора университета и др.» [92]. Аналогичные публичные курсы русского языка общественного характера устраивались тогда в разных концах Европы, не говоря уже о том, что русский язык устанавливался как предмет преподавания в различных университетах — в Копенгагене<sup>16</sup>, Париже, Цюрихе. В Париже преподавался он в те годы не только в Сорбонне, но и в «Политехнической ассоциации», в «Институте Рюди» и т. д. Один из преподавателей русского языка в этих учреждениях, Е. П. Семенов, характеризуя своих учеников, подробнее останавливается на одном, Ф. Ренбо, способном лингвисте, хорошо знавшем языки английский и испанский. Основным поводом для занятий его русским языком было, оказывается, то, что «он хотел читать в оригинале и Толстого, Достоевского, Тургенева и других русских писателей» [93].

<sup>16</sup> Копенгагенский университет опередил не только скандинавские, но и многие западноевропейские университеты, основав доцентуру по славистике еще в 1859 г. Чтение лекций поручено было Каспару Вильгельму Смигу (1811—1881). Из таблиц занятий Смита, приведенных Н. Тиандером (Датско-русские исследования. Вып. II. СПб, 1913, с. 3—4), видно, что в конце 60-х — начале 70-х годов русский язык пользовался особым вниманием у студентов. В 1869 г. Смит издал датский перевод русской летописи; уже после его смерти вышел его труд по истории русской литературы (см.: Сб. ОРЯС АН, 1883, т. XXXI, с. X); любопытно, что в том же 1882 г. датский «пионер русской поэзии» Тор Ланге издал свою книгу переводов с непонятным для датского читателя русским заглавием «Wespa».

Такая же картина наблюдалась и в Германии. Из множества подтверждающих это примеров напомним хотя бы один — из биографии писателя Юлиуса Бирбаума. Еще будучи в гимназии, Бирбаум упивался Тургеневым и Гоголем, и по окончании школы его потянуло туда, где он мог встретить русских. Объясняя в одном из своих биографических набросков, почему он решил поселиться в Швейцарии, Бирбаум писал: «Меня привлекал демократизм этой страны, так как я был, конечно, республиканцем. Вместе с тем, меня тянуло к Альпам, к русским студентам и студенткам Цюриха. Под впечатлением прочитанного мною „Преступления и наказания“ Достоевского я твердо решил изучить русский язык» [94].

В статье Энгельса «Эмигрантская литература», написанной в 1874—75 гг., есть известные слова, которые приобретают для нас двойной интерес,— и по своему существу и как ценное историческое свидетельство. «Знание русского языка,— пишет Энгельс,— языка, который всемирно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы,— теперь уж не такая редкость, по крайней мере, среди немецких социал-демократов» [95]. В свете всех вышеприведенных данных слова Энгельса становятся особенно конкретными, а ясность даваемой в них формулировки представляется особенно отчетливой. В самом деле, Энгельс не только дает здесь ценную для нас характеристику русского языка, но и указывает на причины, обеспечившие интерес к русскому языку, и указывает на степень его распространенности, последнее,— с некоторой осторожностью. По мнению Энгельса, русский язык заслуживает изучения и «сам по себе», и «ради раскрываемой им литературы». Все приведенные выше примеры говорят о том, что западноевропейский интерес к русскому языку действительно определялся указанными Энгельсом причинами, тесно между собой связанными. Это был интерес к одному из «сильных и богатых» живых языков, раскрывавших одну из богатых и сильных и влиятельных литератур; она была богата и сильна и потому, что русский язык служил ее орудием, и сам он был развит и силен потому, что в состоянии был раскрывать ее богатства. В словах Энгельса звучит еще некоторая неуверенность относительно широты распространения русского языка, что и понятно, если иметь в виду, что его свидетельство относится к 1874 г., т. е. к тому времени, когда этот процесс еще развивался; Энгельс, однако, уверенно говорит о том, что знание русского языка не является редкостью среди немецких деятелей рабочего движения, и это свидетельство действительно легко подтвердить множеством примеров. Слова Энгельса можно понимать и в том смысле, что именно передовой характер русского литературного движения в XIX в. обеспечил внимание к русскому языку, сделал его как бы обязательным для изучения.

## 5

Что дело обстояло именно так, лучше всего свидетельствуют занятия русским языком самого Энгельса, и, вслед за ним, Маркса. Долговременный и глубокий интерес К. Маркса и Ф. Энгельса к русскому языку общеизвестен: он многократно засвидетельствован в их собственных письмах и высказываниях, в воспоминаниях их современников, в работах об их жизни и деятельности. В. И. Ленин уже вскоре после кончины Энгельса писал, что «Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношения с русскими революционерами» [96]. Известно также, что Энгельс, обладавший, как и Маркс, выдающимися лингвистическими способностями, изучил русский язык ранее своего друга — еще в начале 50-х годов — и что с этих пор, в течение более чем тридцати лет, он постоянно совершенствовал свои познания и навыки в русской книжной, письменной речи. Вслед за Энгельсом и Маркс изучил русский язык настолько, что мог свободно следить за новинками русской научной и художественной литературы, которые посылали ему его почитатели и корреспонденты.

Первые упоминания о занятиях Энгельса русским языком встречаются

в его переписке с Марксом в начале 1851 г. [97]. Эти занятия Энгельс не оставил и позже, и это подтверждает с полной ясностью, что он рассматривал их не как случайную прихоть, а как реализацию вполне продуманной программы. 18 марта 1852 г. Энгельс писал Марксу: «Последние две недели я старательно зубрил русский язык и теперь почти покончил с грамматикой, еще 2—3 месяца дадут мне необходимый запас слов...» [98, с. 30], а в письме от 16 апреля того же года Энгельс сообщал своему другу Иосифу Вейдемейеру, что он решился «в течение двух или трех недель... отдавать все свое время русскому и санскритскому языкам...» [99]. Год спустя Энгельс продолжал трудолюбиво изучать русский язык и по собственной строгой оценке «заметно усовершенствовал свои знания славянских языков...»: «К концу года буду более или менее понимать по-русски и по южнославянски», — признавался Энгельс тому же Вейдемейеру в письме от 12 апреля 1853 г. [100]. Только через три года после начала своих занятий русским языком Энгельс в письме к редактору английской газеты «Daily News» решился, с чувством глубокого удовлетворения, отметить свое «хорошее знакомство с большинством европейских языков, включая русский...» (письмо от 30 марта 1854 г.) [101]. По-видимому, именно к этому времени относится замысел Энгельса — изучить русский язык на широком славянском фоне, во всех его исторических родственных связях. Всегда глубоко интересуясь научными проблемами языкознания, Энгельс, однако, при изучении отдельных языков, в том числе и славянских, исходил прежде всего из практических потребностей революционной борьбы. В уже цитированном письме к Марксу (от 18 марта 1852 г.) Энгельс прямо объяснил, почему он принял за изучение славянских языков, русского в первую очередь: «Собственно говоря, Бакунин добился кое-чего только благодаря тому, что ни один человек не знал русского языка» [98, с. 31]. Впоследствии у Энгельса бывали перерывы в пользовании русским языком, но он всегда старался обновить свои знания его. Так, в 1869 г., отвечая на дружеские упреки Маркса, который, в свою очередь, «начал изучать русский язык...» (письмо Маркса к Кугельману от 29 ноября 1869 г.) [102] и занялся этим «пылом и жаром» [103], Энгельс писал: «Ошибку в русском языке я действительно сделал. Я порядком забыл русское склонение» [104]. Допущенный пробел заставил Энгельса тотчас же принять решение «снова немного заняться русским языком» [105], и он, несомненно, осуществил это намерение. Периодически «освежать» знания русской книжной речи Энгельсу помогали получаемые им новые русские издания. Так, в 1885 г. т. е. через тридцать четыре года после начала своих занятий русским языком, Энгельс обновил свои знания, читая работы Плеханова. Характерное признание Энгельс сделал своей русской корреспондентке В. Засулич в 1885 г.: «...Я читаю по-русски довольно легко, когда позанимаюсь им в течение недели...» [106]. Все приведенные данные свидетельствуют о том, что, являясь превосходным знатоком ряда древних и новых языков, Энгельс основательно усвоил также и русский язык, на котором он свободно читал, а в случае необходимости и писал. В своих сравнительных оценках языков Энгельс является очень компетентным судьей. Более чем кто-либо другой он был вполне подготовлен к тому, чтобы дать им отчетливые и точные характеристики. Тем интереснее для нас те итоговые характеристики русского языка, к которым Энгельс пришел после длительного периода его изучения. Мы уже приводили слова Энгельса, относящиеся к середине 70-х годов о русском языке как об одном «из самых сильных и самых богатых языков». А в 1884 г. Энгельс писал вновь: «Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной грубости» [107]. Энгельс изучал русский язык также из-за раскрываемой им литературы: в начале 50-х годов, изучив «Российскую антологию» Бауринга, он долго и чрезвычайно внимательно трудился над поэтическими текстами Пушкина: сохранились его словарные записки к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику»<sup>17</sup>. Не подлежит сомнению,

<sup>17</sup> Подробнее об этом см. [108].

что интересу Энгельса к русскому языку и общественной жизни России сильно способствовали также лондонские издания Герцена.

По изданиям Герцена, и в частности по его книге «Былое и думы», изучал русский язык и Маркс. Зигфриду Мейеру, в письме от 21 января 1871 г. Маркс сообщал, что его занятия русским языком были вызваны «тем, что мне прислали из Петербурга представляющую весьма значительный интерес книгу Флеровского „Положение рабочего класса (в особенности крестьян) в России“ и что я хотел познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского...» [109, с. 147]<sup>18</sup>. В последующие годы Маркс уже настолько овладел русским языком, что читал русские книги, чаще всего не прибегая к помощи словаря или пользуясь им в редких случаях, например, при чтении произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, действительно нередко являвшихся для него трудными по своей лексике и своим фразеологическим сочетаниям<sup>19</sup>. О хорошем знании Марксом русского языка дают ясное представление опубликованные впервые по рукописям конспекты и выписки, сделанные им во второй половине 70-х годов, — Чернышевского, Янсона, Энгельгардта и др.

Пример Энгельса и Маркса очень поучителен. Весьма поучителен был он для многих из их западноевропейских последователей, почитателей, единомышленников. Знание русского языка стало необходимостью. Без него нельзя было обходиться ни ученым, ни общественным деятелям, ни журналистам, ни писателям — и целый ряд заявлений по этому поводу идет непрерывно в европейской печати, заметно повышаясь в отдельные периоды, например, в 1905 г. Но это уже была пора, когда мировое значение получили статьи В. И. Ленина, когда новый интерес к русскому художественному слову по всему миру обновил такой его великий мастер, как М. Горький. И все же это были только подготовительные этапы к всемирной славе и распространенности, которую русский язык получил после Великой Октябрьской социалистической революции.

#### ЛИТЕРАТУРА

50. *Аделунг Ф.* Барон Мейерберг и путешествие его по России. СПб., 1827, с. 95, 103.
51. *Алексеев М. П.* Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. Т. I. Иркутск, 1932, с. 294—302; 2-е изд. Иркутск, 1941, с. 301—313.
52. *Лебедев Д. М.* География в России XVII века. М. — Л., 1949.
53. *Васильев А.* Житие св. Григентия, епископа Омиритского. — Византийский временник, XIV. (Вып. 1) (1907). СПб., 1908, с. 36.
54. *Алексеев М. П.* Эпизоды из русской истории в «Опытах» Монтеня. — В кн.: Романо-германская филология. Сборник статей в честь академика В. Ф. Шишмарева. [Л.], 1957.
55. *Mohrenschild D. S.* Russia in the intellectual life of eighteenth century France. New York, 1936.
56. *Чучмарев В. И.* Французские энциклопедисты XVIII века об успехах развития русской культуры. — ВФ, 1951, № 6.
57. *Алексеев М. П.* Д. Дидро и русские писатели его времени. — В кн.: XVIII век. Вып. 3. М. — Л., 1958.
58. *Elements de la langue russe.* СПб., 1768.
59. *Балицкий И. И.* Материалы для истории славянского языкознания. Киев, 1876.
60. *Булич С. К.* История языкознания в России. Т. I. СПб., 1904, с. 326—327.
61. Французский Целларнус. М., 1769.
62. *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. Ред., примеч., доп. и указатель В. Н. Рогожина. Ч. II. № 5929. СПб., 1904.
63. *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. Ч. IV. № 7846.
64. *Hunt H. J.* Diderot as grammarian-philosopher. — The Modern Language Review, 1938, april.
65. *Thomas A.* Oeuvres. V. II. Amsterdam et Paris, 1773, p. 370—376.
66. *Swinton A.* Travels into Norway, Denmark and Russia. London, 1792, p. 127.
67. *Kaiser B.* Über Beziehungen der deutschen und russischen Literatur im 19. Jahrhundert. Berlin, 1948, S. 34.
68. *Jiráť V.* Slavisches in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen. — Xenia Pragensia. Prag, 1929, S. 160—161.

<sup>18</sup> Ср. [140].

<sup>19</sup> На полях книг Салтыкова-Щедрина, хранившихся в библиотеке Маркса, еще встречаются переводы непонятых им русских слов (например, «казовый», «потрафил», «голокопный», «остреп» и т. д.), но этих слов немного. По собственному признанию Маркса, уже в начале 70-х годов он стал читать по-русски «довольно бегло» [109, с. 147].

69. *Zeydel E. H. J. Chr. Schwab on the relative merits of the European Languages.*—*Philological quarterly*, 1924, v. III, p. 304.
70. *Берков П. [Н.]*. Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке.— В кн.: *Язык и литература*. Т. V. Л., 1930, с. 132.
71. *Мазон А.* «Князь Элим».— В кн.: *Литературное наследство*, 1937, т. 31—32, с. 391.
72. *Мазон А.* *Deux russes écrivains français*. Paris, 1964, p. 186.
73. *Дурьлин С.* Русские писатели у Гете в Веймаре. Гл. VI. Люди 14 декабря и Гете. 1. Кюхельбекер и Гете.— В кн.: *Литературное наследство*, 1932, № 4—6, с. 383—384.
74. *Алексеев М. П.* Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.— В кн.: *Тр. отдела новой русской литературы*. Кн. 1. Л., 1948.
75. *Flaubert G.* *Lettres inédites à Tourguéneff*. Monaco, 1946, p. 3.
76. *Fongerey M. de.* *Les soirées de Neuilly. Esquisses dramatiques et historiques*. Paris, 1827, p. 54.
77. *Гроссман Л.* Бальзак в России.— В кн.: *Литературное наследство*, 1937, т. 31—32, с. 412—413.
78. *Spoelberch de Lovenjoul.* *Histoire des oeuvres de T. Gautier*. T. II. Paris, 1887, p. 551.
79. *Алексеев М. П.* Заметки о русских словах у французских литераторов XIX в.— В кн.: *Общее и романское языковедение*. [МГУ], 1972.
80. *Berdoe Edward.* *The Browning Cyclopaedia*. London, 1897, p. 228.
81. *Алексеев М. П.* Die Quellen zum Idyll «Ivan Ivanovitch» von Rob. Browning.— *Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven*, 1931, Bd. 6, Hf. 4.
82. *Лавров П. Л.* Этюды о западной литературе. Пр., 1923, с. 173—174.
83. *Арсеньев Ю. В.* Воспоминания о Лонгфелло.— *Московские ведомости*, 1882, № 76, с. 5.
84. *Шевырев С.* Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.— *Отечественные записки*, 1839, т. III, с. 110—111.
85. [Мельгунов Н. А.] *История одной книги*. М., 1839, с. 9, 10.
86. *Русский архив*, 1868, с. 508—509.
87. *Вяземский П. А.* В дороге и дома. М., 1862, с. 103.
88. *Mélanges, publiés en l'honneur de M. Paul Boyer*. Paris, 1925, p. 290.
89. *Marmier X.* *Lettres sur la Russie*. V. II. Paris, 1843, p. 172—173.
90. *Alexeyev M. P.* William Ralston and Russian writers of later nineteenth century.— *Oxford slavonic papers*, 1964, v. 11, p. 83—93.
91. *Arnold M.* *Essays in criticism*. Leipzig, 1892, p. 227.
92. *Алексеев М. П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVII—XIX вв. Л., 1964, с. 207—214.
93. *Семенов Е. П.* В стране изгнания (Из записной книжки корреспондента). СПб., 1912, с. 13.
94. *Русская мысль*, 1910, № 3, с. 156.
95. *Энгельс Ф.* Эмигрантская литература.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 18, с. 526.
96. *Ленин В. И.* Фридрих Энгельс.— *Полн. собр. соч.*, т. 2, с. 13.
97. Энгельс — Марксу, 29 января [1851 г.] — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 27, с. 159.
98. Энгельс — Марксу, 18 марта 1852 г.—*Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 28.
99. Энгельс — И. Вейдемейеру, 16 апреля 1852 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 28, с. 432—433.
100. Энгельс — И. Вейдемейеру, 12 апреля 1853 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 28, с. 486.
101. Энгельс — Редактору «Daily News» г. Дж. Линкольну, 30 марта 1854 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 28, с. 508—509.
102. Маркс — Л. Кугельману, 29 ноября 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 32, с. 530.
103. Женни Маркс — Фридриху Энгельсу, [около 17 января 1870 г.] — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 32, с. 591.
104. Энгельс — Марксу, 3 марта 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 32, с. 215.
105. Энгельс — Марксу, 24 октября 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 32, с. 304.
106. *Письма Ф. Энгельса к разным лицам (апрель 1883 — декабрь 1887). Вере Ивановне Засулич, 23 апреля 1885 г.*— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 36, с. 259.
107. *Ф. Энгельс — В. И. Засулич, 6 марта 1884 г.*— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 36, с. 106.
108. *Алексеев М. П.* *Словарные записи Ф. Энгельса к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику».*— В кн.: *Пушкин. Исследования и материалы*. Тр. III Всесоюзной Пушкинской конференции. М.— Л., 1953.
109. Маркс — З. Мейеру, 21 января 1871.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 33.
110. *Подоров Г.* Экономические воззрения В. В. Берви-Флеровского. М., 1952, с. 106—107.

ТРУБАЧЕВ О. Н.

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН \*

Изоглоссы внутри ареала сатэм. *Daco — slavica*.

Оценив выше отнюдь не периферийную и не внеиндоевропейскую природу процесса  $e - o - a \rightarrow a$  в индоиранском, мы коснемся в интересующем нас плане консонантной проблемы кентум/сатэм. Собственно говоря, в силу занятий славянскими древностями мы уделим внимание некоторым аспектам сатэмизации и положению группы сатэм в первую очередь. Вполне вероятно, что группа языков сатэм занимала не периферийное, а скорее центральное положение в индоевропейском ареале, тогда как языки кентум с давних пор расположились на дальних и ближних перифериях [60]. Сатэмизация, а точнее — ассимиляция первоначального индоевропейского палатального заднебного  $\tilde{k}$  (а также  $\tilde{g}$ ,  $\tilde{gh}$ ), есть по самой своей природе инновация, т. е. наиболее продвинутое состояние, которое обычно имеет смысл ассоциировать с центром соответственного ареала. Естественно, однако, и в очаге инновационного явления ожидать сохранения архаизмов, им не затронутых, тем более, что речь должна идти не о чистой фонетике, но и о лексике (лексикализация). В каждом языке-сатэм есть элементы кентум — либо в виде собственных архаизмов разного рода, либо иноязычных заимствований. Такого рода отклонения еще не дают оснований для того, чтобы говорить о переходных языках или переходных зонах (как иногда делают, говоря о древних индоевропейских языках Балканского п-ова), но отражают лишь вкратце отмеченную выше суть явления. Наоборот, наличие элементов сатэм в языках-кентум или совершенно не отмечается, что представляется вполне естественным, или же проблематично и требует особого объяснения. Таким образом, проблема кентум/сатэм остается по-прежнему проблемой этнолингвистики и лингвистической географии, именно в этих областях она плодотворно комментируется современными исследованиями и обретает определенную актуальность, в которой ей одно время отказывали, а некоторые упорно отказывают и сейчас (например, В. Георгиев, И. Дуриданов в Болгарии). Соображения о связи этой проблемы с разными стилями речи, в частности сатэмизации — с аллегровым, быстрым стилем, а сохранный кентумности — с медленным, тщательным стилем речи [61, *passim*] в чем-то верны, но не раскрывают сути явления, кроме той, что уже известна (инновация), и вряд ли могут оказаться особенно перспективными. Дальнейший прогресс изучения проблемы кентум/сатэм может обеспечить углубленная разработка изоглоссного метода. Так, если до сих пор довольствуются, как и в лингвистике XIX в., выделением двух основных изоглоссных зон — кентум и сатэм, то теперь это уже не может считаться достаточным, поскольку накопился материал и для более новых обобщений. Все в общем признают наличие при сатэмизации стадии аффрикаты, но споры насчет характера аффрикаты ведутся, скорее, в бескомпромиссном духе: или это была аффриката ряда  $\tilde{c}$ , или  $c(ts)$  [44, с. 5]. Однако распространять одну или другую стадию на весь ареал сатэм было бы насильем, которому сопротивляются уже известные языковые факты. Эти последние как раз диктуют необходимость компромиссного решения, а точнее — констатации внутреннего изоглоссного деления в рамках самой изоглоссной

\* Окончание. Начало статьи см. в ВЯ, 1984, № 2.

зоны сатэм. Так, например, сатэмизация<sup>1</sup> типа  $k > \check{c} > \check{s}/\check{s}$  характеризует древнеиндийский и вообще индоарийский, но уже иранский с его  $s, z < \check{k}, \check{g}$  прошел, видимо, стадию другой аффрикаты — ряда  $c$ , которая сохранилась в кафирских языках. Стадия аффрикаты  $\check{c}$  прослеживается еще в армянском и балтийских (литовском), тогда как «кафирская» стадияльная изоглосса  $c(ts) < \check{k}$  отличала, очевидно, также славянские языки, существенно отграничивая их от балтийских [62]. У инновации  $\check{k} > c$  ( $ts$ ) был, по-видимому, кроме стадияльного, также ареальный аспект. Во всяком случае инновационная изоглосса  $\check{k} > c$  ( $ts$ ), отграничивая, как уже сказано, славянский от балтийского, с б л и ж а е т его с балканско-индоевропейским. Так, указывалось, что алб. *th*, восходящее к и.-е.  $\check{k}$ , определенно свидетельствует о промежуточной аффрикате  $t\check{s}$  [63]. Возможно, близкую к раннепраславянской стадии аффрикаты  $c$  ( $ts$ )  $< \check{k}$  знал дакский, ср. рассуждения относительно субстратного в таком случае рум. *țarca* «сорока» [64]. Неслучайными поэтому могут показаться попытки определить центральное положение славянского в языках сатэм, как, например, в [65, passim], но взгляд автора на славянский как на некий «сатэмный остров со звуком *o*, целиком окруженный *a*-сатэмными языками» представляется не вполне соответствующим действительному положению вещей, в котором мы попытались разобраться выше в связи с индоиранским переходом  $e-o-a \rightarrow a$ .

Однако из общего вероятия периферийного расположения кентумных языков еще не следует делать вывод о наличии языка-кентум в древней Восточной Европе [66]. Это была преимущественно сатэмная зона с кентумными элементами разного статуса (см. выше). Один такой эпизод, достаточно интересный в лексическом, ареальном и культурноисторическом плане, представляет название конопли и его этимология, которая здесь дается на основе более подробного анализа в [67].

#### Название конопли в свете проблемы сатэм в Восточной Европе

Название конопли охватило многие языки Европы с раннего времени, но в большинстве из них оно обнаружило чужеродные характеристики, например, попав в германский еще до I германского передвижения согласных, оно все же сохраняло негерманский вид (*hanapis*), точно так же греч.  $\kappa\acute{\alpha}\nu\alpha\beta\acute{\iota}\varsigma$  имело негреческий вид, что все вместе способствовало «неиндоевропейской» репутации этого слова [68]. Однако традиционное мнение сейчас можно считать преубеждением, мешавшим видеть истоки слова. Греческое, латинское, славянское, германское названия конопли заимствованы, но не из Передней и не из Малой Азии. В Грецию конопля пришла вместе с названием непосредственно с севера. Возможно, промежуточным посредником явился фракийский язык с его неустойчивостью консонантизма, поскольку первоисточником греческого и фракийского слов была, видимо, форма *\*kan(n)apus-*, как это подсказывает инверсионный вариант *\*puskana-*, известный в Восточной Европе (ср. русск. *поскoнь* и другие формы). При этом отмечается возрастающее богатство форм и значений по мере продвижения на Восток, а не на Запад, что объективно противоречит этимологии Мейе из латинского. Далекое не все ясно относительно словообразовательно-этимологического гнезда *\*konopja* в славянском. Так, сюда же еще, возможно, относится слав. *\*kopati* (*se*) «купать(ся)», если из первоначального *\*kan(a)p-* в связи со скифской (восточноевропейской) культурной традицией парной бани с применением испаряющегося конопляного семени (Herod. IV, 75).

Главным отправным пунктом в истории конопли как слова и вещи должно служить точное указание Геродота, что конопля характерна для Скифии, где она «и растет сама, и сеется». Положения не меняет и то, что соседящие со Скифией с запада более культурные фракийцы даже делают из конопли одежду (Herod. IV, 74). Финно-угорская праформа *\*kana-pis* и вообще версия о происхождении из нее славянского и других (выше)

названий конопли [69, т. I, с. 559] нереальны, соответствующие формы отдельных финно-угорских слов — полностью или частично — сами заимствованы из северопонтийских районов. Есть основания считать название конопли местным, восточноевропейским словом индоевропейского происхождения, в конечном счете — из индоиран. \*kana- «конопля», ср. сюда же, с одной стороны, др.-инд. śaṇā- «сорт конопли Cannabis sativa или Crotolaria juncea» [70], с другой стороны — осет. gæn/gænx «конопля», продолжающее скиф. \*kana- «то же» [71, т. I, с. 512—513]. Здесь — в вариантах одного слова — представлены сатэмные (сатэмизированные) формы и исконно веллярные формы. Сюда относятся, далее, осет. sæn/sænx «вино», др.-инд. śana- также в значении «опьяняющий напиток», ср. топонимическое сложение Κισάνας в средневековом Крыму, название Алуштинской долины, что-то вроде «страна вина»,

«винная», толкуемое нами из индоар. (тавр.) \*kim-sana- «винное». Аналогию можно наблюдать в частично сатэмизированном др.-инд. śarkara-, безусловная редупликация более простой основы \*kar- «камень», пережиточно сохранявшейся в Европе. Последующая лексикализация закрепила в индоиранском оба варианта — сатэмный \*śana- и кентумный \*kana, хотя архаичная веллярность просматривается, причем — в сочетании с архаичной семантикой: др.-инд. kāna- «верно, семя, крошка», которое Майрхофер [72, т. I, с. 146] считает неясным. Женская конопля — семенное растение, откуда название дано по семеню в местных индоиранских языках Северного Причерноморья. При этом любопытно, что для обозначения дикой конопли было использовано в сущности доземледельческое название семени. Индоиран. \*kana-, возможно, родственно греч. κόνη «пыль», лат. cinis «зола», далее — экспрессивному греч. κόκκος «зернышко, семечко плода». Экспрессивная геминация в последнем, как и в греч. κόκκισ, позволяет понять церебральность др.-инд. kana-, śana- тоже как экспрессивную. Несколько труднее обстоит дело с интерпретацией другого компонента исходного сложения \*kana-pus-, давшего все прочие европейские названия конопли: может быть, в связи с др.-инд. pūmān «мужчина, самец», т. е. как «конопля мужская»? Последующие смешения названий мужской — бессемяной — и женской конопли возможны. Или мужская конопля названа как «пыльниковая, опыляющая» — от и.-е. \*pu-s- «дуть, веять»? (От этой основы произведена древнеиндийская лексика цветов и цветения: pūṣkaram «лотос», pūṣpam «цветок», pūṣyam «то же», pūṣyati «цвести, процветать»; в иранском словарном составе эта основа представлена очень слабо.)

#### Об отражении индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм

Споры вокруг проблемы кентум/сатэм продолжаются; они захватывают порой всю проблематику консонантизма, особенно в сатэмных языках (а подчас также и вокализма), и это не случайно, потому что инновационная природа ряда процессов в языках-сатэм представляется как бы эманацией их — по ряду признаков (выше) — срединного положения в индоевропейском языковом пространстве. Опасность прямолинейных умозаключений подстерегает, впрочем, лингвистов и здесь. Рассматривая славянский консонантизм под углом зрения сатэмной инновации, они нередко склонны недооценивать присутствующие рядом архаизмы, трактуют, например, упрощенно проблему отражения индоевропейских лабиовеллярных заднебных  $g^u$ ,  $k^u$ , приходят к выводу о полном их исчезновении, делабиализации при сатэмизации. При этом обычно оставляются без внимания факты выделения (не исчезновения!) губного тембра  $u$  в особую артикуляцию в ряде примеров славянского: \*gъrdlo — и.-е. \*g<sup>u</sup>r-; \*gъnati — и.-е. \*g<sup>u</sup>hen-, \*ghun-; \*gъrnъ — и.-е. \*g<sup>u</sup>hъno-. Вайян, который видел здесь продолжение в славянском названных индоевропейских форм [50, с. 171], вероятно, был прав, в отличие от своих оппонентов,

ср. [73, 74]. Очевидно, внимательная ревизия соответствующих фактов славянского могла бы укрепить и развить концепцию преемственного развития, или, иначе говоря, более комплектного отражения индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм.

### Центр праславянских фонетических инноваций — в Паннонии

В послевоенной славистике, кажется, не привлекла особого внимания одна небольшая публикация покойного Т. Милевского [75], которая такого внимания в полной мере заслуживала и представляется нам теперь симптоматичной в плане наших нынешних интересов. Польский лингвист указал на выделение в позднепраславянский период (начиная с VII—VIII вв.) центра ряда важных фонетических инноваций, а заодно и центра славянской территории, каким оказался район к югу от Карпат, в частности Паннония. Милевский считает, что именно отсюда исходили семь новых фонетических процессов позднепраславянского языка: 1) метатеза плавных (интересно отметить, что восточнославянское состояние *to/rot* характеризуется как дометатезное, с передвижением границы слога из первоначального *tar/t*, т. е. как периферийный архаизм); 2) переход носовых гласных в губные («за вычетом трех периферий», куда он относит лехитский и, а также словенский и болгаро-македонский); 3) победа узкой артикуляции  $\check{e}=e/\acute{e}/i$  (кроме лехитского и восточноболгарского ареалов); 4) переход праслав.  $y > i$ ; 5) падение праславянской интонации; 6) диспалатализация мягких согласных перед передними гласными (с убыванием по мере продвижения со славянского Юга на славянский Север; при этом автор указывает на наилучшую сохранность палатальности на славянском Севере — в поморских, мазовецких и далее — белорусских диалектах, т. е. на перифериях славянского языкового пространства, в терминологии Милевского; не можем не обратить внимания на то, что Мартынов [76] называет именно лехитскую территорию, «на север и на запад от Подляшья», эпицентром аккомодации в праславянском духе); 7) переход  $g > h$  в XI—XII вв. в центре Славии, т. е. в.-луж., чеш., словац., укр., белорусск., ю.-в.-р. (здесь интересна тенденция внутриславянского объяснения  $g > h$ , которое В. И. Абаев несколько ранее попытался, как известно, тоже опираясь на ареальные данные, отнести на счет иранского — скифского субстрата). Можно сказать лишь, что нам не кажутся убедительными заключительные выводы самого Милевского о том, что в конце праславянского периода состоялся перенос центра славянских инноваций на юг из более северных районов. Подобное умозаключение как бы логически превращает земли к югу от Карпат (Паннонию и соседние с ней) в периферию предшествующего славянского ареала, а от периферии мы, как и сам Милевский, были бы склонны ожидать устойчивых архаизмов, но отнюдь не инноваций, да, к тому же, столь комплектных. Вообще центр ареала — величина весьма стабильная, в его мобильность и нормальное функционирование при этом именно как центра ареала, гесп. инноваций, плохо верится. Инновации и миграции на периферию ареала все-таки плохо совместимы. Единственно правильный вывод из наблюдений Милевского — это тот, что центр праславянской территории и ранее традиционно находился к югу от Карпат.

Между прочим, и археологи называют центром доподлинно славянской пражской керамики моравско-словацкую территорию в бассейнах Вага и Моравы [77, с. 26]. На всем ареале керамики пражского типа, за характерным исключением висло-одерского региона, отмечается как типичное раннеславянское жилище прямоугольная полуземлянка с печью или очагом в углу. Такая форма жилища встречается на территории Словакии и Моравии, т. е. на непосредственно придунайских землях, с достаточно раннего времени [78]; присутствие полуземлянок славян-

ского типа в карпато-дунайских землях констатируется в III—IV вв. н. э., т. е. в эпоху черняховской культуры [79]. В отличие от господствовавшего прежде убеждения о хронологическом разрыве между культурой римского времени и раннеславянской культурой, исследователи начинают говорить о контакте и сосуществовании этих культур [80]. Правда, цитируемые археологи мыслят себе среднедунайское пространство как славянизированное вторично со стороны Правобережной Украины и Южной Польши, но для нас здесь важнее выделить практическую современность придунайских раннеславянских культурных остатков черняховской эпохи и позднеримскому времени.

В наших глазах и в свете отстаиваемой нами концепции придунайского ареала древних славян большое значение приобретают результаты археологического обследования, которые привели к выводу, что не только славянская керамика великоморавских поселений VIII—IX вв., но и раннеславянская пражская керамика IV и последующих веков приблизительно этих же районов изготовлялась в точном соответствии с римскими мерами жидких и сыпучих тел [81, с. 121 и сл., 136, 137, 138]. Любопытно, что метрологическое единство великоморавской славянской керамики и раннеславянской придунайской керамики пражского типа и римскую основу этого единства авторам приходится объяснять как знакомство славян с римскими мерами «еще до ухода с прародины» [81, с. 140], хотя наиболее очевидным здесь был бы аргумент непрерывности не только техники производства, но и придунайского ареала обитания, а концепция прихода славян на Дунай с прародины к северу от Карпат лишь затруднила бы понимание вещей. Экскурс в раннеславянскую гончарскую метрологию по римскому образцу предпринят нами ввиду междисциплинарного интереса, который представляют эти данные. Для общей картины важно иметь в виду существование отличного фона; например, те же исследователи отмечают, что керамика тисского типа, видимо, принадлежавшая кочевникам, изготовлялась в соответствии с другой системой мер; на Западе распространенную римскую систему мер реформировал Карл Великий.

Таким образом, то, что теории славянской прародины на север от Карпат до последнего времени объясняют как «относительно раннюю славянизацию» Моравии и Словакии [82], допускает в связи с притоком новых фактов квалификацию как центров языкового и культурного развития древних славян. Неудивительно также, что и в отношении Паннонии наука возвращается и еще будет возвращаться к пересмотру вопроса о присутствии там славянского элемента в древности, в частности, на материале ономастики, ср. весьма прозрачное название племени озеряты близ озера Пельсо (Балатон) и название реки *Bustricius* (географ Равеннский), которое неотделимо от многочисленных славянских гидронимов *Быстрица* [83]. Территориальная привязка озерятов к Паннонии, как и связь этого названия со славянским названием озера, достаточно конкретно свидетельствуют против попытки вывести последнее из балтийского, ср. [84].

### О центре индоевропейского ареала

Лингвистические судьбы праславян неразрывно связаны с лингвистическими судьбами праиндоевропейцев, и эта точка зрения все-таки постепенно прокладывает себе путь — не как предвзятая идея, а как вывод, вытекающий из растущих численно фактов, которые сопротивляются и теории балто-славянского языкового единства и относительно новой концепции, рассматривающей славян как индоевропейцев как бы в третьем поколении. Все более тесное слияние задач и материалов праславистики и индоевропеистики побуждает одних и тех же исследователей почти с равной интенсивностью решать вопросы славянского и индоевропейского глотто- и этногенеза, что нашло, естественно, отражение и в настоящей работе. Западногерманский славист Ю. Удольф после своей

большой книги о славянской гидронимии и прародине славян 1979 г. (см. о ней нашу рецензию [85]), где он, как известно, пришел к спорной локализации праславян на ограниченной территории в Прикарпатье, обратился также к проблеме раннего членения индоевропейского на материале гидронимии [86, passim]. Заранее замечу, что меня не удовлетворили и на этот раз выводы автора и основное направление его мыслей, но собранный им материал, а главное — его картографическая проекция представляют немалый интерес и дают новую пищу для праязыковых штудий и локализаций, правда, совсем не в том смысле, в каком представлял Удольф. Эти данные удобно отражены на карте в его статье [86, с. 60], которую мы используем и далее, на своей карте. Суть наблюдений Удольфа сводится к тому, что на древней карте Европы отмечаются три крупных скопления индоевропейских гидронимов: так называемый «северо-западный блок» (в низовьях Рейна и междуречье Везера и Эльбы), затем — в Италии и, наконец, в Прибалтике, не говоря о редких гидронимах, рассеянных без видимых скоплений в промежуточном пространстве описанного треугольника (у нас далее опускаются). В этих трех гидронимических скоплениях древней Европы Удольф видит непосредственное отражение ранних индоевропейских диалектных групп. Балтийскую гидронимическую группу он считает основной, центральной (в чем он следует балтоцентристской модели своего учителя В. П. Шмида), мысленно протягивая от нее линии к соответствиям в обеих других группах. Не буду повторяться о кучности гидронимов как явления, характерном для зоны экспансии (периферия), а не для исходного центра, скажу только, что балтийская зона не может быть центром, поскольку это классическая периферия. То, что итальянская группа гидронимов — это другая такая же периферия индоевропейского ареала на юге, в Средиземноморье, а нижнерейнско-везерская группа — это тоже периферийная зона на северо-западе, надеюсь, не станет оспаривать и сам Удольф. Уже это одно сопоставление должно бы навести на мысль об аналогичном статусе балтийской группы. Важность сопоставления всех трех групп у Удольфа — в том, что они помогают четко очертить внутреннее пространство между ними, которое нас интересует, надо сказать, больше всего. Если соединить балтийскую и итальянскую группы гидронимов условной линией, ее средняя часть ляжет примерно на Подунавье. Из этого полученного нами центра другая условная прямая линия может быть проложена в сторону «северо-западного блока». Это и был старый языковой и этнический центр индоевропейской Европы, выведенный нами в Подунавье как бы с помощью векторного определения. Разумеется, и наша попытка схематична, но схематизм этот другой, он построен на учете динамики этнического и лингвистического (гидронимического) освоения новых пространств. Интересно попутно отметить, что из трех крупных ранних индоевропейских гидронимических периферийных групп две обращены к северу. Это вполне согласуется с тем вероятием, что индоевропейское освоение шло с юга на север, что Север был освоен вторично и притом — не до конца, ср. все еще зияющую, несмотря на усилия заполнить ее, «лакуну Краэ» на запад от Вислы и Одера.

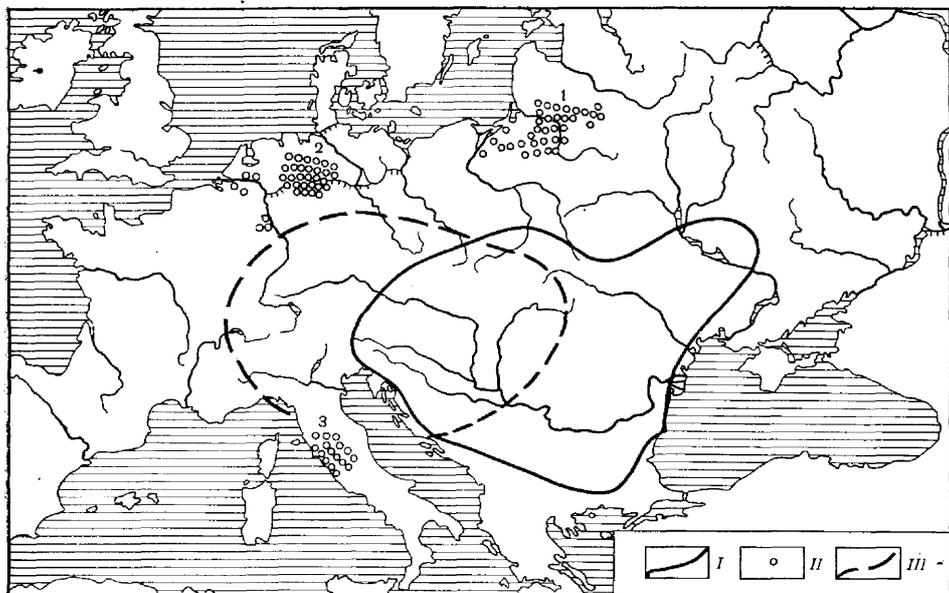
#### Славянский ареал — в Центральной Европе

Кажется, что вряд ли будет правильно — в свете современных изложенных выше данных, дописав тезис о праиндоевропейском ареале, отложить его и приняться определять праславянский ареал в каком-то совершенно другом месте. Так следовало бы сделать, если бы для того имелись серьезные данные, но их нет. Конечно, все зависит от интерпретации нередко одних и тех же данных, которые разным исследователям говорят разное. И все же уточнение и совершенствование методов должно увеличивать число однозначных решений. Так, традиционно продолжают сомневаться в славянстве варварского племени первой половины V в. н. э., упоминаемого Приском примерно на территории современной Воеводины и говорящего на отличном от германского языке, а также пью-

щего напиток *medos* [77, с. 25]. Автор названного исследования думает при этом о сарматах, засвидетельствованных в V в. на этих же территориях, но мы раз и навсегда отклоним такую приблизительную атрибуцию, потому что у сарматов-иранцев название напитка звучало бы как *madu-*, а не *medos*. Равным образом, несмотря на упорное стремление аргументировать неславянское происхождение глоссы *strava* в описании погребения Аттилы V в. на среднем Дунае у Иордана, как раз славянская версия, с чертами западнославянской фонетической эволюции — *strava* < < \*jъztrava — является наиболее правдоподобной, как мы показываем в другом месте [87].

Но история славянских древностей, в том числе языковых, связанных со Средним Подунавьем, уходит в глубь времен. На это было обращено внимание в связи с терминами обработки металлов, металлургии, которые объединяли славян с иными древними индоевропейскими племенами, соседившими с запада, — германцами, кельтами и италиками. За прошедшие тысячелетия изменилось очень многое — ареалы контактировавших этносов и даже их состав (кельты, давшие так много европейской металлургии и культуре вообще, давно исчезли в Центральной Европе). Изменились и ареалы некоторых слов из этой области; так, слав. \**gъrnъ* и \**moltъ* распространились вместе с носителями славянских языков по Балканскому полуострову и Восточной Европе. Но и они сохранили навсегда связь с Центральной Европой, как о том говорят их исключительные терминологические соответствия в латинском языке. Что же касается других важных и не менее древних и самобытных металлургических терминов — праслав. диалектн. \**ěstěja* «отверстие печи», \**vygnъ* «горн, кузница», \**kladivo* «молот, молоток», то они до сих пор так и остались, так сказать, в «придунайских» славянских языках<sup>1</sup>, не распространившись даже в польских землях, не говоря уж о восточнославянских. Эти важные архаичные кузнечные термины наиболее полно символизируют принадлежность к центральноевропейскому культурному району, если иметь в виду, в первую очередь, близость этих славянских слов и соответствующих германских, латинских и кельтских слов. Связи этих слов столь древни и своеобразны, с чертами собственного давнего развития, что необходимо отметить незаимствованный характер славянских форм [89]. В дальнейших исследованиях было уделено внимание этому тезису нашей книги о ранней ориентации славян на Центральную Европу, при незначительности древних терминологических связей славян с балтами [90; 26, с. 27]. Сторонники тесных балто-славянских языковых отношений иногда, правда, находили эти наши положения «странными», но я не думаю, что это серьезно повлияло на убедительность самих положений. Следует иметь в виду мощное культурное основание, на котором зиждется кратко охарактеризованная выше славянская терминология обработки металлов и связанная с ней лексика других индоевропейских языков Центральной Европы. Археологи-исследователи европейского бронзового века специально указывают: «Не следует забывать значение европейской металлургии при сравнении с данными с Ближнего и Среднего Востока; на Ближнем Востоке есть все: медь, олово и золото..., но их обработка не была ни в коем случае более ранней, чем на европейском континенте» [31, с. 8]. М. Гимбутас подошла, естественно, к этим культурно-историческим данным с позиции своей теории о цивилизованной доиндоевропейской Древней Европе, «курганализированной» позднее индоевропейскими кочевниками. Оставив в стороне эту атрибуцию древнеевропейской цивилизации, возьмем у Гимбутас лишь карту «древнеевропейской металлургической провинции» [33, с. 34, рис. 9], представляющую интерес в любом случае. Мне показалось полезным завершить эту часть рассуждений совмещенной картой, на которую последовательно положены контуры «древнеевропейской металлургической провинции»

<sup>1</sup> Существенные дополнения о распространении \**vygnъ* в болгарском и македонском, включая ср.-болг. *vygnii* «кузница» в Скитском патерике XIII в., см. [88].



Условные обозначения

I — «древнеевропейская металлургическая провинция» (Gimbutas 1982); II — концентрация в Прибалтике (1), «северо-западном блоке» (2) и Италии (3) (Udolph 1981); III — центральноевропейский культурный район (Трубачев 1966).

(Гимбутас 1982), зоны концентрации древних индоевропейских гидронимов (Удольф 1981) и мой центральноевропейский культурный район (Трубачев 1966). Чтобы не усугублять схематизм, не проведены лишь линии векторов, но их каждый может провести мысленно, как предложено выше. Здесь также совмещен (и тоже сознательно) наш вариант ответа на вопрос о центрах индоевропейского и праславянского ареалов<sup>2</sup>.

Локализация центральной или значительной части древнего индоевропейского ареала в придунайских районах не нова, имеет свою значительную традицию, на которой нет возможности останавливаться. Можно сказать, что она выдержала испытание временем. К ней постоянно обращаются, споря с более новыми теориями, см. [44, с. 12; 91, 92].

Традиция обитания славян на Среднем Дунае, видимо, не прерывалась никогда. Об этом может косвенно свидетельствовать немаловажное указание, что «продвижение славян к берегам Дуная и освоение ими огромной цветущей долины дунайского левобережья» прошло «незаметно для глаза историка» [93].

В исследованиях В. Т. Коломпец о славянских названиях рыб [94, 95] постоянно звучит тема раннего проживания славян и других индоевропейцев в южной части Центральной Европы, ср. хотя бы факт знака-ства с форелью и обозначение ее производными от праслав. \**рьstrъ* «шестрый» практически во всех славянских языках.

Поиски паннонскославянских и дакославянских остатков языка, хотя и сатрудняются в высокой степени спецификой венгерского языка и другими трудностями, очевидно, не должны прерываться и могут принести определенный результат, ср. личное имя собственное *Bichor* (Паннония, 1086 г.), сюда же название гор *Buzar* (венг. *Bihar*, рум. *Bihor*) в Трансильвании, а также некоторые соответствия в южнославянской ономастике, при полном отсутствии продолжений апеллативного праслав. \**бухоръ*, реконструируемого на основании этих данных суффиксального

<sup>2</sup> Пользуюсь случаем, чтобы отметить выступление А. В. Десницкой в поддержку моей идеи концентрации расположения праиндоевропейского и праславянского ареалов в Подунавье (при обсуждении моего доклада на IX Международном съезде славистов в Киеве).

производного от \**byti* «быть», ср. польск. *znachor* «знахарь», белорусск. *жыцхар* «житель», ср. [96]; дославянский субстрат предполагает [97].

Еще двадцать лет тому назад Георгиев указывал на соседство праславянского языка с дакским (у Герогиева — дакийский, дако-мизийский), распространенным в Восточной Венгрии и Румынии [98]. Археологи констатируют около начала нашей эры даже дакскую экспансию в Среднем Подунавье [99]. Древнее соседство не могло обойтись без языковых, изоглоссных и других связей. Выше мы коснулись одной из языковых *daso* — *slavica* — общей стадияльной изоглоссы *c (ts) < k*. К конценции центральноиндоевропейского, дунайского положения праславянского возможны, таким образом, подходы и с этой стороны. Вообще существует вероятность весьма большой близости славянского и древних индоевропейских языков Балкан, проявившейся, как полагают, в полной славянизации автохтонного балканского населения [100]. Поиски на этом пути надо продолжать, и нас ждут, возможно, новые находки. Например, довольно убедительно показано, что старое название *лесистого острова Лесбос* — *Ἴσσα* — происходит из \**id-sa* < и.-е. \**ǵidh₂* «дерево», «лес», «лесистая гора», ср. в соседней (фракийской) Троаде гора по имени *Ἰδῆ*, см. [101], с дальнейшими ссылками на работы Л. А. Гиндина. Однако случайно ли при этом остров Исса носит еще и «новое» название *Λέσβος*, Лесбос? Или мы вправе предположить здесь особое, тоже негреческое, индоевропейское название \**ǵēsyo*, \**ǵēsyo* с той же внутренней формой «лесной», что и *Ἴσσα* (выше), идущее с индоевропейских Балкан и удивительно напоминающее праслав. \**ǵesovъ*? Ср. равнооформленный топоним *Berzovia* с территории античной Дакии и праслав. \**berzovъ* «березовый».

В этой связи стоит упомянуть о прослеженной В. А. Городцовым народной орнаментальной композиции (женщина между двумя всадниками), общей для дакских свинцовых табличек и для русских вышивок [102]. Естественно, что, этимологизируя в пограничье, иногда приходишь к выводу о необходимости пересмотреть свои предыдущие толкования в пользу другого языка и этноса. Я имею в виду свое предположение [4, с. 8—9] о происхождении плиниевской глоссы *Morimarusa* «mortuum mare» в конечном счете из раннепраславянского выражения с тем же значением «мертвое, умершее море», о разливах в Потисье. Теперь я думаю, что это, скорее, был остаток дакского языка, ареал которого входил и в Восточную Венгрию, бассейн Тисы. Дакский язык, видимо, располагал также причастиями прошедшего времени на *-ces*, *-cos*, *-us* (*-marusa* «умершее, -ая») подобно индоиранским, греческому, балтийским и славянским. В атрибуции плиниевского *Morimarusa* дакскому языку нас укрепляет довольно вероятная морфологическая параллель дакского топонима *Sarmizegetusa* (Птолемей), столица Дакии, древний город в Южных Карпатах. Название *Sarmizegetusa* не получило удовлетворительного объяснения (ср. попытку прочесть его как «город с частоколом» [103]). Можно попытаться истолковать *Sarmi-zegetusa* как выражение, значившее что-то вроде «горячий источник», с постпозицией определения (как и в *Mori-marusa!*), причем первый компонент — к апеллативно-гидронимическому *serm-/sarm-* «поток», известному в балканскоиндоевропейских языках, а второй — причастие действ. прош. на *-us* от глагола с корнем *zeg-* < \**ǵieg-* < \**deg-* «жечь». В Сармизегетусе, которая была не только царской столицей, но и религиозным центром со святилищами, обнаружены остатки канала, который подводил из близкого источника воду, использовавшуюся при священнодействиях [104]. В деталях близко этимологизирует *Sarmizegetusa* Шаль [105] — через сравнение с эпиграфическим именем *Salmo-deg-ikos* (Истрия) «солевар» (?), откуда якобы *Sarmizegetusa* «солеварный канал», но сомнительность формальных деталей довершает культурноисторическая и социолингвистическая сомнительность целого: у нас нет данных о солеварении в Сармизегетусе, но достоверно известны там культовый центр, храмы, вероятно и культовое назначение источника.

И в малых этюдах и в больших работах по лингвоэтногенезу должна совершенствоваться социоллингвистическая и этнолингвистическая мысль, которая нередко в действительности сильно отстает от формального анализа, отчего последний может получать неверное направление и осмысление. Так, все еще недостаточны учитываются особенности и потребности древнего этнического самознания, для которого главное — идентификация по принципу «мы» — «они» [106, passim], тогда как развитое самообозначение отнюдь не принадлежит к числу наиболее ранних потребностей<sup>3</sup>. В последнее время в целом возобладала этимологическая концепция самоназвания \**slověne* «славяне» как первоначально означавшего «ясно говорящие» [108, 109]. Думается, что она более адекватно отражает древнее этническое самоназвание с его первостепенной актуальностью самоидентификации по принципу «мы» — «они», поэтому другая попытка, исходящая от историка Восточной Европы Г. Шрамма, с осмыслением \**slověne* как \**Sloven(t)-n-* от \**Slovota* «Днепр», т. е. «днепряне» [110], не может встретить нашего сочувствия ни с формальной стороны, ни со стороны этнолингвистической, чем, видимо, и вызвано то, что Шрамм до сего времени, к его огорчению, не получил положительного отклика (Widerhall). Все исследователи интуитивно понимают, что название \**slověne* не было изначальным<sup>4</sup>; значит, был период времени, когда этого названия у славян не было. Что же было тогда? Эта пустота вместо этнического самоназвания у славян действует на исследователей угнетающе, и они — в убеждении, что в этой функции должно было быть что-то еще более древнее — продолжают свои поиски и приходят, например, к тому, что древнейшим именем славян было *Veneti/Venedi* [112]. Примерно такой же точки зрения придерживаются В. Георгиев и И. Дуриданов (выступление на IX Международном съезде славистов). В такой форме это утверждение, конечно, неверно, а верно лишь то, что, как известно, имя венетов — венедов было вторично перенесено на славян главным образом их западными соседями после того, как славяне заполнили «этническую пустоту», оставшуюся после ухода венетов, бывших прежде к востоку от германцев (содержащееся, далее, в статье Голомба отождествление имени венетов и вятичей, наконец, попытка подвести под и.-е. \**yenét-* понятие «воин» в духе трехчастной социальной структуры индоевропейцев по Бенвенисту — Дюмезилю — все это, скорее, сомнительно).

Один из центральноевропейских этносов, лишь значительно позже усвоивший самоназвание \**slověne*, говорил на языке (или группе диалектов), архаичность которого (правда, весьма специфическая, поскольку она представляет собой сочетание продвинутой, т. е. центральности, славянской языковой эволюции со специфически славянским — преобразованным архаизмом) и в наше время вызывает удивление, в том числе и у неславистов: «Так, можно с полным правом удивляться по поводу того, как, несмотря на раннюю письменную фиксацию ст.-слав. *лѣвъ* «левый», русск. *левый* до наших дней не обнаруживает ни малейших признаков забвения, тогда как его латинский родственник, а именно *laeuus*, полностью угас в старой романской речи» [113]<sup>5</sup>.

И последнее — и главное, что упорно забывают, когда говорят в новейших исследованиях о едином и неразделенном праиндоевропейском или даже общиндоевропейском языке: праиндоевропейский с самого начала

<sup>3</sup> Поэтому выглядит поспешным утверждение теоретика-этнографа: «Нет и не было ни племени, ни народности, ни нации, ни национальности, у которых бы оно (само-название. — Т. О.) отсутствовало» (см. [107]).

<sup>4</sup> Хотя, очевидно, не все понимают правильно природу этого явления и его распространения, ср. объяснение искусственным насаждением и распространением названия одного племенного союза — *склавен, славян* — как общего наименования всех родственных этносов «не в последнюю очередь благодаря византийской историографии», см. [111].

<sup>5</sup> Архаичность слав. \**lěvъ* едва ли удачно объясняется в духе новой концепции италийского проникновения, см. [84, с. 73].

был группой диалектов, точно так же с самого начала был группой диалектов и праславянский язык. Это имеет методологическое значение для правильных представлений о праязыковом словаре, лексике, ибо «весь праиндоевропейский лексический фонд не мог возникнуть в одном и том же месте в одно и то же время» (В. Пизани) [цит. по 114]. Важный, как кажется, вывод отсюда — это то, что, скажем, праславянский словарный состав в силу своей естественной полидиалектности не мог и не должен был быть достоянием одного (индивидуального) праславянского языкового сознания. Надо исходить из с о б и р а т е л ь н о г о характера носителя праиндоевропейского, праславянского, как, впрочем, и любого другого лексического фонда.

#### ЛИТЕРАТУРА

60. Баррой Т. Санскрит. М., 1976, с. 18.
61. Shields K. Jr. A new look at the centum/satem isogloss.— KZ, 1981, 95.
62. Трубочев О. И. Лексикография и этимология.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973, с. 305 и сл.
63. Solla G. R. Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateins. Darmstadt, 1980, с. 41.
64. Rădulescu M.-M. Daco-Romanian-Baltic common lexical elements. Ponto-Baltica, 1981, 1, p. 71.
65. Mayer H. E. Zur frühen Sonderstellung des Slavischen.— ZsflPh, 1981, 42, S. 300 и сл.
66. Schmid W. P. Die Ausbildung der Sprachgemeinschaften in Osteuropa.— In: Handbuch der Geschichte Russlands. Hrsg. von Hellmann M. [et al.]. Bd. 1. Lf. 2. Stuttgart, 1978, S. 106.
67. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубочёва О. И. Вып. 10. М., 1983, с. 188 и сл., s. v. \*konopja.
68. Kluge F. Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung.— In: Etymologie. Hrsg. von Schmitt R. Darmstadt, 1977, S. 110.
69. Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908 и сл.
70. Böhligk O. Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Lf. 6, S. 197.
71. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.—Л., 1958.
72. Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956;.
73. Курилович Е. О балто-славянском языковом единстве.— В кн.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1958, с. 33.
74. Горнунг Б. В. Из предистории образования общеславянского языкового единства.— В кн.: V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1963, с. 74.
75. Milewski T. Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego.— In: Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń — czerwiec 1965. Kraków, 1966, с. 134—137.
76. Мартынов В. В. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968, с. 27, 37, 62.
77. Kurnatowska Z. Słowiańszczyzna południowa. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1977.
78. Баран В. Д. Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян.— В кн.: Славяне на Днестре и Дунае: Сб. научн. трудов, Киев, 1983, с. 45.
79. Приходнюк О. М. К вопросу о присутствии антов в карпато-дунайских землях.— В кн.: Славяне на Днестре и Дунае..., с. 187.
80. Вакуленко Л. В. Поселение позднеримского времени у с. Сокол и некоторые вопросы славянского этногенеза.— В кн.: Славяне на Днестре и Дунае..., с. 179.
81. Bialeková D., Tirpáková A. Preukázateľnosť používania rímskych mier pri zhotovovaní slovanskej keramiky.— Slovenská archeológia, 1983, XXXI — 1.
82. Udolph J. Gewässernamen der Ukraine und ihre Bedeutung für die Urheimat der Slaven.— In: Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. Hrsg. von Olesch R. Köln — Wien, 1983, S. 594.
83. Колосовская Ю. К. Паннония в I—III веках. М., 1973, с. 23.
84. Мартынов В. В. Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983, с. 70.
85. Трубочев О. И.— Этимология. 1980, М. 1982, с. 170 и сл.— Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979.
86. Udolph J. Zur frühen Gliederung des Indogermanischen.— IF, 1981, 86.
87. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубочёва О. И. Вып. 9. М., 1983, с. 81.
88. Rusek J. Srednbg. vugnií «kužnia».— Македонски јазик, 1979, XXX, s. 225 и сл.

89. Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. Этимология и опыт групповой реконструкции. М., 1966, с. 331 и сл., рис. 10 на с. 342.
90. Birnbaum H. The original homeland of the Slavs and the problem of early Slavic linguistic contacts.— The journal of Indo-European studies, 1973, 1, p. 415.
91. Янюнайте М. Некоторые замечания об индоевропейской прародине.— Baltistica, 1981, XVII (1), с. 66 и сл.
92. Горнунг Б. В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964, с. 19.
93. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982, с. 50.
94. Коломиец В. Т. Ихтиологическая номенклатура славянских языков как источник для исследования межславянских этнических взаимоотношений. Киев, 1978, с. 8.
95. Коломиец В. Т. Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983, с. 138.
96. Smilauer V. Původ místního jména *Býchory*.— Zpravodaj Místopisné komise CSAV, 1981, XXII, S. 359—360.
97. Schramm G. Eroberer und Eingessessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981, S. 207—208.
98. Георгиев В. И. Праславянский и индоевропейский языки.— В кн.: Славянская филология. Т. III. София, 1963, с. 7.
99. Kuztová K. Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku.— Slovenská archeológia, 1980, XXVIII—2, с. 334.
100. Илиевски П. X. Лексички реликти од стариот балкански јазичен слој во јужнословенските јазици.— В кн.: Реферати на македонските слависти за IX Меѓународен славистички конгрес во Киев. Скопје, 1983, с. 12.
101. Яйленко В. П. *Исса* — «лесистый» остров: к этимологии названия.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1983, с. 66 и сл.
102. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 472.
103. *Notorodean M. Vechea vatră a Sarmizegetusei în lumina toponimiei.* Cluj — Napoca, 1980, p. 51.
104. *Dăicoviciu H. Dacia.* București, 1972, p. 228, 230.
105. *Schall H. Die Kelmis-Sprache. Eine antike Grund-Sprache im Bereich Dakothrakisch: Baltoslawisch.*— *Onoma*, 1978, XXII (1—2), S. 306.
106. *Mahapatra B. P. Ethnicity, identity and language.*— *Indian linguistics. Journal of the Linguistic society of India*, 1980, 41, p. 61 и сл.
107. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 45.
108. *Maher J. P. The ethnonym of the Slavs — Common Slavic \*Slověne.*— *The journal of Indo-European studies*, 1974, 2, p. 143 и сл.
109. Трубачев О. Н. Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на *-jninъ*, *\*-janinъ*.— В кн.: Этимология. 1980. М., 1982, с. 13.
110. *Schramm G.*— *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 30. Wiesbaden, 1982, S. 264.— *Rec.: Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси.* Киев, 1980.
111. *Havlík L. E. Přeměna společenských formací a etnogeneze Slovanů.*— *Československá slavistika*, Praha, 1983, s. 158.
112. *Gotqb Z. Veneti/Venedi — the oldest name of the Slavs.*— *The journal of Indo-European studies*, 1975, 3, p. 321 и сл.
113. *Malkiel Y. Semantic universals, lexical polarization, taboo. The Romance domain of «left» and «right» revisited.*— In: *Festschrift for O. Szemerényi.* Ed. by Brogyanyi B. Pt. II. Amsterdam, 1979, p. 514.
114. *Лелеков Л. А.* К новейшему решению индоевропейской проблемы.— ВДИ, 1982, № 3, с. 36.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КРИВОНОСОВ А. Т.

## «ТЕКСТ» И ЛОГИКА

Человеческое мышление реализуется не только в отдельных предложениях, но и в их связях, образующих некие «сверхфразовые единства», представляющие собой более крупные по сравнению с изолированными предложениями и вполне устоявшиеся в языках различной типологии языковые структуры, в основе которых лежат совершенно определенные мыслительные стереотипы. Любой факт логики мышления должен быть, с одной стороны, как-то воплощен в языке, а с другой стороны, любое осмысленное построение языка есть воплощение какого-либо факта логики мышления. Однако логика, изучая формы и законы правильного мышления, не интересуется конкретными языковыми формами, в которых реализуются соответствующие формы мышления и на основе которых строятся правильные умозаключения. Лингвисты же, изучая формы языка на уровне «сверхфразовых единств», в свою очередь, не вскрывают формы мысли, для выражения которых эти языковые формы существуют. Правильное, т. е. непротиворечивое мышление не является врожденным и не передается по наследству. Ему человек учится в течение всей жизни. Однако человек, не подозревающий о существовании науки, занимающейся законами и формами правильного мышления — формальной логики, мыслит в общем и целом в соответствии с общими законами мышления и делает правильные выводы. В этом случае люди обходятся «естественной» или «стихийной» логикой, которой они пользуются бессознательно. Поэтому естественное логическое мышление и соответствующие языковые формы его выражения есть реально существующий факт. Формальная логика уже давно систематически исследовала то, к чему люди постоянно прибегают бессознательно. В настоящей работе мы имеем возможность применить ее категории к естественному мышлению человека, преследуя лишь одну цель — выявить все языковые формы выражения одной формы простого категорического умозаключения — модуса «Camestres». Объектом исследования послужило «стихийное логическое мышление» немецкого писателя Г. Манна, которое отражено им в художественном тексте на 400 страницах — в сатирическом романе «Земля обетованная» (см.: *Mann H. Im Schlaraffenland. Berlin, 1951*).

Основной логической формой<sup>1</sup>, которую изучает логика, считается дедуктивное умозаключение. Оно состоит из трех суждений — большей посылки, меньшей посылки и заключения. Дедуктивное умозаключение осуществляется по определенным правилам выведения следствий из посылок без обращения к опытным данным («правила вывода»). Логическое умозаключение, которое строится по правилам простого категорического умозаключения, называют также «логическим силлогизмом». Вот пример логического силлогизма, который нас здесь интересует (модус «Camestres»): большая посылка: «Все звезды (S) — светят собственным светом (P)», меньшая посылка: «Юпитер (S) — не светит собственным светом (P)», вывод: «Юпитер (S) — не есть звезда (P)».

Простой категорический силлогизм имеет четкую внутреннюю структуру: в его состав всегда входят три термина, которые содержатся в его двух посылках, — меньший («Юпитер» — субъект будущего заключения),

<sup>1</sup> Форма мысли или логическая форма — это «сложившаяся в процессе многовековой практики структура отображения в человеческом мышлении наиболее общих... отношений вещей объективного мира, связей вещей и их свойств» [1, с. 308].

большой («звезда» — предикат будущего заключения) и средний («светит собственным светом» — термин, не переходящий в заключение и только связывающий в процессе умозаключения два крайних термина, т. е. меньший и большой — «Юпитер», «звезда»). Целью умозаключения является выведение нового суждения (нового знания) («Юпитер — не есть звезда») из суждений, нам уже ранее известных («Все звезды — светят собственным светом». «Юпитер — не светит собственным светом»). Правильное умозаключение ведет нашу мысль дальше того, что мы знаем из посылок, присоединяет к ранее установленному знанию новое знание. Заключение не ново лишь в том смысле, что в нем нет новых терминов, не содержащихся до этого в предшествующих посылках (понятия «Юпитер» и «звезда», содержащиеся в выводе, уже имелись ранее в предшествующих посылках). Но заключение содержит в себе новое знание, поскольку такого рода связи терминов в предшествующих посылках нет (в предшествующих посылках мы еще не обнаруживаем связи терминов «Юпитер» и «звезда»). Дедуктивное умозаключение — это такое «движение мысли», при котором с необходимостью выводится заключение от знания большей степени общности («Все звезды — светят собственным светом») к знанию меньшей степени общности («Юпитер — не есть звезда»). В связи с тем, что каждое суждение одновременно характеризуется двумя свойствами — количеством (общие и частные суждения) и качеством (утвердительные и отрицательные суждения), то различают четыре типа суждений, из которых нас интересуют два: общеутвердительное (А) и общеотрицательное (Е)<sup>2</sup>. Модус «Сamestres» состоит лишь из двух типов суждений: большей посылки — общеутвердительного суждения (А), меньшей посылки и заключения — общеотрицательного суждения (Е) (подробнее о теории силлогистики см. [2—7]).

Таким образом, интересующий нас модус имеет следующую последовательность посылок и заключения: А, Е, Е. Эта последовательность гласных букв, за которыми скрывается тип суждения определенного количества и качества, отображается в логике символом «Сamestres», в котором последовательность гласных воспроизводит последовательность соответствующих суждений в силлогизме и указывает одновременно на их количество и качество. Весь смысл модуса «Сamestres» заключается в следующем: предметы, о которых говорится в меньшей посылке, исключаются из класса предметов, о которых было сделано высказывание в большей посылке. Задача заключения: указать несовместимость признаков предметов двух классов, несовпадение объемов понятий, отображающих данные классы. Модус «Сamestres» широко применяется в спорах, дискуссиях, когда кто-то оспаривает какое-либо утверждение, отстаиваемое другим лицом, когда предметом нашего интереса является именно отрицание, а не утверждение. По модусу «Сamestres» невозможны никакие другие выводы, кроме отрицательных. Поскольку большинство умозаключений, выраженных в формах естественного языка, совершается в виде энтимем («энтимема» — это силлогизм с одним или двумя опущенными суждениями) с опущенной большей посылкой и наличными меньшей посылкой и заключением, то исследуемые здесь языковые построения, репрезентирующие логические энтимемы, должны быть, прежде всего, восстановлены в полные силлогизмы. Для рассматриваемого здесь типа энтимем с двумя общеотрицательными суждениями это восстановление может осуществляться только по правилам второй фигуры простого категорического силлогизма (модус «Сamestres») <sup>3</sup>.

<sup>2</sup> В логике эти суждения обозначаются символами: А, Е. 1) Общеутвердительное (А) — первая гласная буква латинского слова *affirmo* («утверждаю»). Это суждение — общее по количеству («все S») и утвердительное по качеству («суть», «являются»). Формула: «Все S суть P»; 2) Общеотрицательное (Е) — первая гласная буква латинского слова *negō* («отрицаю»). Это суждение — общее по количеству («никто из», «ни один»), и отрицательное по качеству («не есть», «не является»). Формула: «Ни одно S не есть P».

<sup>3</sup> Правда, многие из этих энтимем могут быть одновременно восстановлены в полные силлогизмы и по правилам двух других силлогизмов: по правилам отрицающего модуса условно-категорического силлогизма (*modus tollens*) и по правилам утверждаю-

Так как логические умозаключения, выраженные в естественном языке, лишь в некоторых случаях имеют формальные языковые средства выражения (союзы нем. *weil, da, denn*, русск. *так как, потому что* всегда вводят «причину», т. е. меньшую посылку; логические слова нем. *dann, folglich, deshalb, deswegen*, русск. *поэтому, следовательно* всегда вводят «заключение»), а в подавляющем большинстве случаев таких средств не имеют и распознаются лишь на основе концептуального значения двух и более связанных по смыслу предложений (*Было жарко. Он снял пальто*), то при выявлении способов фактической реализации модуса «*Camestres*» в естественном языке автору пришлось разработать процедуру логического анализа естественного языка, отсутствовавшую до сих пор как в языкознании, так и в логике. Эта процедура анализа текста коренным образом отличается от чисто лингвистического анализа тем, что лингвистическому анализу предшествует сложный логический анализ текста. Вся сложность в том, что лингвисту приходится идти от конкретного значения предложения к «форме мысли», выраженной в данном предложении, и затем к языковой форме этой «формы мысли», т. е. анализировать в с е мыслительное содержание текста и находить среди этого безбрежного моря значений лишь такие, которые представляют собой формы мысли, подпадающие под статус логического силлогизма<sup>4</sup>. Процедура анализа состояла из пяти последовательных этапов, которые мы четко разграничиваем.

I. При первом чтении романа необходимо было каталогизировать все логические силлогизмы<sup>5</sup>.

II. При вторичном чтении романа необходимо было выявить форму мысли каждого силлогизма и на этой основе отнести его к соответствующему модусу (это предполагает знание всех логических модусов и их логических форм). При определении модусов (когда отсутствуют формальные языковые средства выражения отрицания) мы неожиданно столкнулись с очередными трудностями: часто в одном или даже в двух суждениях отсутствуют формальные языковые средства выражения отрицания, но утвердительные модусы (например, «*Barbara*» или «*Darii*») тем не менее не «проходят», т. е. противоречат замыслу автора романа. Поэтому необходимо было доказать принадлежность данных силлогизмов к модусу «*Camestres*», имеющему, как нам уже известно, два общеприцательных суждения. Поскольку, далее, логический модус «*Camestres*» находит выражение в естественном языке не в полном виде, когда наличествуют все три суждения (большая посылка, меньшая посылка, заключение), а, как правило, в сокращенном виде, т. е. в виде энтимемы, в которой пропущено одно из суждений, то необходимо было разработать логическую процедуру определения структуры энтимем, построенных по модусу «*Camestres*», и, следовательно, процедуру восстановления их в полные силлогизмы.

---

щего условно-категорического силлогизма (*modus ponens*) с выделяющим суждением. *Modus tollens* является умозаключением от отрицания следствия условной посылки к отрицанию ее основания. *Modus ponens* с выделяющим суждением является умозаключением от отрицания основания к отрицанию следствия.

<sup>4</sup> Исследователя должны интересовать не значения конкретных предложений в литературном произведении (они важны лишь на первом этапе анализа как средство распознавания формы этого же значения, если для этих целей нет формальных языковых средств), которые не поддаются систематизации и не являются объектом исследования ни лингвистики, ни логики (таких значений столько, сколько предложений в тексте), а форма значений, выраженных в предложении. Это и есть те логические формы, которые необходимо связать с формой их языкового выражения.

<sup>5</sup> Этот этап совершенно неожиданно оказался одним из самых сложных. В основе каждого умозаключения лежит связь основания и следствия, отражающая необходимую связь предметов и явлений самой объективной действительности. Основание (причина) и следствие находятся между собой в строгой временной зависимости: причина предшествует следствию, а следствие следует после своей причины. Но оказалось, что в естественном языке чаще всего именно «следствие» предшествует «причине». Эти трудности усугубляются еще тем обстоятельством, что в естественном языке умозаключения в подавляющем большинстве случаев не выражаются формальными языковыми средствами, а распознаются лишь на основе концептуальных значений двух взаимосвязанных по смыслу предложений.

Используя правила силлогизма, определяем, в первую очередь, отсутствующие элементы (одна из посылок или заключение): а) Если в двух суждениях мы встречаем одно и то же слово и если оно выступает логическим предикатом (Р) в обоих суждениях, то перед нами — средний термин, связывающий две посылки, причем большей посылкой будет та, в которой отсутствует отрицание, а меньшей — та, в которой присутствует отрицание. На основе двух посылок — большей и меньшей — делаем вывод: (1) «Все люди, которым жарко (S) — снимают пальто (P)». (2) «Иван (S) — не снял пальто (P)». Заключение: \* «Ивану (S) — не жарко (P)»<sup>6</sup>. Если это условие не соблюдается, значит, пропущена одна из посылок. В этом случае при восстановлении энтимемы следует различать несколько этапов: надо прежде определить, какая посылка присутствует в энтимеме вместе с заключением. Прделаем эту процедуру. б) Если в двух суждениях повторяется одно и то же слово и оно выступает в качестве субъекта (S) в обоих суждениях, то перед нами — меньшая посылка и заключение. Это подтверждается также тем фактом, что оба суждения — общеотрицательные (по правилам модуса «Camestres» меньшая посылка и заключение — общеотрицательные суждения, а единичные суждения, подобно выше приведенным, включаются в разряд общих, а не частных): «Ивану (S) — не жарко (P)». «Иван (S) — не снял пальто (P)». Но нам пока не известно, где заключение, а где меньшая посылка. Для этого необходимо восстановить большую посылку. Однако для восстановления большей посылки из двух суждений, представляющих собой меньшую посылку и заключение, есть только одно правило: предикат (P) меньшей посылки всегда есть предикат (P) большей посылки («средний термин»). А это нам как раз и не известно: которое из двух суждений — меньшая посылка? Поэтому мы можем построить два полных силлогизма, притом совершенно различных, из одной и той же энтимемы. (1) \* «Все люди, которым жарко (S) — снимают пальто (P)». (2) «Иван (S) — не снял пальто (P)». (3) «Ивану (S) — не жарко (P)». Но большую посылку можно восстановить и так: (1) \* «Всем людям, которые снимают пальто (S) — жарко (P)»; (2) «Ивану (S) — не жарко (P)»; (3) «Иван (S) — не снял пальто (P)». В данном случае меньшая посылка и заключение меняются ролями и, следовательно, местами в силлогизме. Каждое из этих суждений («Ивану — не жарко»; «Иван — не снял пальто») может быть и причиной (меньшая посылка), и следствием (заключением). Такие случаи неоднозначного определения заключения и меньшей посылки на материале естественного языка не редки. Но на помощь исследователю приходят формальные языковые средства, если они есть, или концептуальное значение этих предложений, которое в общем и целом безошибочно позволяет размежевать меньшую посылку и вывод. в) Если в двух суждениях повторяется одно и то же слово, но в одном из суждений оно — субъект (S), а в другом — предикат (P), то перед нами большая посылка и заключение, причем в качестве большей посылки выступает то суждение, в котором отсутствует отрицание (по правилам модуса «Camestres» большая посылка — общеутвердительное суждение): «Ивану (S) — не жарко (P)» (заключение), «Все люди, которым жарко (S) — снимают пальто (P)» (большая посылка). Восстанавливаем полный силлогизм из энтимемы и находим его меньшую посылку (отмечена звездочкой). Для этого соединяем субъект (S) заключения («Иван») и предикат (P) большей посылки («снимает пальто»), превращая все суждение в общеотрицательное: (1) «Все люди, которым жарко (S) — снимают пальто (P)»; (2) \* «Иван (S) — не снял пальто (P)»; (3) «Ивану (S) — не жарко (P)».

<sup>6</sup> В статье приняты следующие обозначения: большая посылка, меньшая посылка и заключение маркируются, соответственно, цифрами в скобках: (1), (2), (3). Знак → обозначает перевод предложений естественного языка на язык логики («силлогистики»). Отсутствующее суждение в энтимеме отмечается звездочкой (\*). Формальные языковые средства, указывающие на причину («меньшая посылка») или на следствие («заключение»), а также модальные частицы и все средства выражения отрицания отмечаются курсивом.

III. При третьем чтении романа устанавливались связи модусов друг с другом (оказалось, что многие силлогизмы строятся говорящим не изолированно, они связаны с другими, соседними силлогизмами сложной системой «взаимопроницаемости»).

IV. При четвертом чтении романа каждый силлогизм модуса «*Camestres*» во всех его логических параметрах выписывался на карточку с подробной фиксацией всех языковых форм его выражения.

V. Пятый этап состоял из непосредственного анализа картотеки.

Представленная здесь схематично «пятиэтажная» процедура анализа языковых построений по правилам простого категорического силлогизма (модус «*Camestres*») может служить, по нашему мнению, достаточной гарантией адекватности анализа языковой реальности. Однако мы не исключаем того, что иногда или в силу нечеткости выражения логических умозаключений в естественном языке (тем более, что большинство умозаключений выражено энтимемами), или в силу наличия нескольких вариантов перевода «стихийного» умозаключения на язык логики возможно отнесение одних и тех же умозаключений к умозаключениям разных модусов (это предмет особого рассмотрения).

В подавляющем большинстве энтимем модуса «*Camestres*» с взаимным расположением суждений (2) — (3) и (3) — (2) отсутствует (1) большая посылка. Каждый из этих двух типов энтимем выражается одной из трех языковых форм сочетания предложений: 1) двумя самостоятельными предложениями; 2) одним предложением (сложноподчиненным, сложносочиненным, простым); 3) тремя самостоятельными предложениями.

1) Энтимему модуса «*Camestres*» образуют два самостоятельных предложения (79 энтимем), каждое из которых может быть представлено тремя различными коммуникативными типами (повествовательными, вопросительными и побудительными и их разновидностями: частновопросительными, общевопросительными и восклицательными), каждое из которых, в свою очередь, может быть предложением авторской или внутренней речи, репликой одного и того же лица или разных собеседников. Каждая из этих языковых форм реализуется в многообразии лексико-грамматических вариантов. Порядок следования суждений (2) — (3): (2) «*Claire!... „Rache“ (ein Schauspielstück. — K. A.) ist ausverkauft, und wir haben keine Loge!*» — (3) «*Dann mußt du eben darauf verzichten*», bemerkte sie... (S. 102) → \*(1) В театр идут люди, имеющие билет. (2) У нее *нет* билета. (3) Она *не* идет в театр («отказаться идти» = *не* идти). Порядок следования суждений (3) — (2): (3) «*Aber so viel hatte ich Ihnen denn doch nicht zugetraut.*» — (2) «*Sie müssen mich doch noch unterschätzt haben*». (S. 282) → →\*(1) Доверяют тому, кого ценят. (2) Его *не* ценят. (3) Ему *не* доверяют.

2) По сравнению с энтимемами, выраженными двумя предложениями, несколько большее количество энтимем представлено одними предложениями (84 энтимемы). В энтимемах типа (2) — (3) выступают союзные и бессоюзные сложноподчиненные предложения: (2) «*Hätten Sie mir ...Ihr Vertrauen geschenkt, (3) alles wäre längst getan*» (S. 309) → \*(1) Делает дело тот, кому доверяют. (2) Ему *не* доверяют. (3). Он *ничего не* сделал. Сложносочиненные предложения: (2) «*Heutzutage muß man... soziale Gefühle haben, (3) anders geht es ... nicht mehr...*» (S. 265) → \*(1) «Твердо стоять на ногах в жизни может только человек, уверенный в своих силах. (2) Он *не* уверен в своих силах. («надо быть уверенным» означает «еще не уверен»). (3) Он *не* может твердо стоять на ногах в жизни. В простом предложении в качестве двух суждений энтимемы могут выступать, во-первых, само предикативное ядро простого предложения и содержащаяся в его составе инфинитивная группа (она может стоять в начале или в конце предложения), во-вторых, два члена предложения. Простое предложение с инфинитивной группой: (2) «*Um die feine Gelegenheit nicht zu verpassen, (3) hatte der Mann seine Fabrik... über und über belastet...*» (S. 72) → \*(1) У кого завод стоит, тот упускает возможность разбогатеть. (2) Он *не* упускает возможность разбогатеть. (3) Его завод *не* стоит. Простое предложение, члены которого выступают в качестве логических суждений: (2) «*Aber ohne Klempner (3) bleibt Ihr Programm unvollständig!*» — rief

Lizzi halb verzweifelt. (S. 179) → \*(1) Программа концерта может быть полной только при участии К. (2) К. не участвует. (3) Программа концерта не полная.

В энтимеме типа (3) — (2), представленной сложноподчиненным предложением, в качестве языкового средства выражения умозаключения служат подчинительные союзы *weil*, *da*, вводящие меньшую посылку: «Ich habe nämlich keine Brennschere mitgebracht.» — (3) «Warum nicht?» — (2) «Weil ich nicht dachte, daß du gleich so heftig sein würdest» (S. 153). В сложносочиненном предложении формальным языковым показателем умозаключения служит сочинительный союз *denn*: (3) Er würde *niemals* daran denken, sie zu verlassen, (2) *denn* er hatte *kein* Geld! (S. 151). Модус «*Camestres*» выражается простым предложением, причем заключением и первой посылкой служат или предикативное ядро простого предложения и его инфинитивная группа, или члены предложения: (3) «Aus lauter Gutmütigkeit habe ich mitgemacht, (2) um den anderen den Spaß *nicht* zu verderben» (S. 263). Как в (2) — (3), так и в (3) — (2) мы наблюдаем весьма любопытный, с точки зрения логики, лингвистический феномен, когда одно простое предложение выражает целое логическое умозаключение, которое, как известно, должно состоять из трех суждений.

3) Наиболее сложным типом языковой репрезентации модуса «*Camestres*» является взаимодействие трех предложений (47 энтимем). Они относятся исключительно к репликам разных собеседников, образующих трехчленные диалогические единства (3-ДЕ) со строго определенной внутренней структурой, причем адекватной в языках различной типологии. 3-ДЕ состоят из исходной реплики первого собеседника и ответной реплики второго собеседника, состоящей, в свою очередь, из двух взаимосвязанных по смыслу предложений: из первичного и из вторичного, различающихся тем, что первичное предложение выражает непосредственную реакцию на исходную реплику (заключение силлогизма), а вторичное предложение — обоснование этой реплики (меньшая посылка силлогизма). Все 3-ДЕ характеризуются логической завершенностью, которая достигается благодаря смысловому «замыканию» между исходной и ответной репликами. В принципе для целей коммуникации было бы достаточно одной исходной реплики и первичного предложения ответной реплики, что часто мы и наблюдаем в диалогической речи, отраженной в тексте. Но в таком случае образуется не умозаключение, а выражается лишь положительная или отрицательная реакция второго собеседника на исходную реплику: «Dat is man 'n Putschinell.» (берлинский диалект: «Да это же пройдоха»). — (3) «Der Jüngling scheint übrigens gar *nicht* von schlechten Eltern» («Юноша, кажется, *не* из плохой семьи»). Но второй собеседник вводит также обосновывающее предложение, причем в качестве обоснования вводится такое предложение, которое в данной ситуации является наиболее убедительным, а значит, логичным. Привести в качестве обоснования логичное предложение — значит высказать мысль, которая служила бы причиной (меньшей посылкой силлогизма), на фоне которой первичное предложение было бы следствием (заключением силлогизма). (2) «Er hat *doch* so 'n großes Portemonnaie» («*Ведь* у него толстый кошелек»). Вот полный силлогизм: \*(1) Человек из плохой семьи имеет мало денег. (2) У него *не* мало денег. (3) Он *не* из плохой семьи. 3-ДЕ, состоящее из исходной реплики, (3) первичного предложения и (2) вторичного или обосновывающего предложения ответной реплики, служит в разговорной речи весьма распространенной языковой формой выражения причинно-следственного умозаключения, т. е. простого категорического силлогизма, образованного по правилам модуса «*Camestres*».

Все 3-ДЕ имеют двоякую логическую структуру: (2) — (3) (меньшинство примеров — 3) и (3) — (2) (большинство примеров — 44). В первом типе 3-ДЕ ответная реплика начинается с обоснования (меньшая посылка, как и положено в логике), затем следует непосредственная эмоциональная реакция (заключение): «Diederich Klempner, natürlich!» — (2) «Er hat *doch* noch *nie* etwas geschrieben? (3) Warum *sollte* er sich plötzlich seinen Ruf durch solch ein Stück *verderben!*» (S. 134) → \*(1) «Портит свою репутацию»

дию пишущий пьесы. (2) Он *не* пишет пьес. (3) Он *не* портит свою репутацию. Во втором типе 3-ДЕ ответная реплика начинается с выводного предложения, затем следует обоснование (т. е. заключение — меньшая посылка) (см. пример выше).

Все 3-ДЕ характеризуются тремя особенностями по сравнению с другими языковыми способами выражения модуса «*Comestres*». Во-первых, они имеют большее разнообразие сочетаний коммуникативных типов предложений, чем, например, в случае выражения этого модуса двумя самостоятельными предложениями. Во-вторых, все без исключения 3-ДЕ принадлежат к области диалогической речи двух собеседников, что, в свою очередь, имеет следствием их третью особенность — частое употребление модальных частиц как неотъемлемых структурных формантов диалогической речи, характеризующейся субъективно-модальными, эмоционально-оценочными и волюнтаривными значениями, средством выражения которых (в строго определенных лексико-грамматических конструкциях) как раз и служат модальные частицы. Например, в модусе «*Comestres*» (в его обеих логических структурах: 2—3 и 3—2), выраженном двумя самостоятельными предложениями, в 79 энтимемах употреблено 16 модальных частиц (также только в предложениях диалогической речи). В 84 энтимемах, выраженных одним предложением (сложноподчиненным, сложносочиненным, простым), нет ни одной модальной частицы, хотя почти половина этих предложений — область диалогической речи. Но в 47 энтимемах, выраженных 3-ДЕ, употреблено (не считая исходных реплик), 37 модальных частиц.

4) Как известно, в модусе «*Comestres*» два суждения — меньшая посылка и заключение — общеотрицательные. Если нет отрицания хотя бы в одном из этих суждений, эти модусы невозможны (а может быть, невозможен и любой другой правильный модус). Тем не менее в энтимемах, построенных по правилам модуса «*Comestres*», мы сталкиваемся с отсутствием отрицания либо в меньшей посылке, либо в заключении. В этом случае речь идет о «неправильных», «противоположных» заключениях или об «а н т и з а к л ю ч е н и я х». Такие умозаключения в логике до сих пор не отражены, хотя они и весьма частое явление естественного языка. Более того, для построения логических силлогизмов с «антизаключениями» естественный язык предоставил в распоряжение говорящего (пишущего) даже специальные языковые средства (союзы: нем. *aber, doch*; предлог: *trotz*; логические слова: *trotzdem, nichtsdestoweniger, dessenungeachtet*; ср. в русском: *но, тем не менее, все же, однако, вопреки*). Например: (3) «...werden Sie *schon* am besten tun, sich an das Theater zu halten» — (2) «*Aber* ich habe noch *kein* einziges Stück geschrieben!» (S. 22) → \*(1) За театр должен держаться пишущий пьесы. (2) Он еще *ничего не* написал. (3) Он *не* должен держаться за театр. (В тексте: «Вы должны держаться за театр»). Эти умозаключения верны с точки зрения логики и отвечают всем требованиям модуса «*Comestres*», но они неверны с точки зрения «здравого смысла» (что не одно и то же), хотя и создаются говорящим (пишущим) преднамеренно. Среди 230 силлогизмов модуса «*Comestres*» (с обеими логическими структурами: 2—3 и 3—2) зарегистрировано 20 «антизаключений».

5) Одним из самых сложных вопросов при изучении языковых средств выражения логического модуса «*Comestres*» остается проблема о т р и ц а н и я. Средства отрицания в языке, как известно, разнообразны. С точки зрения формального лингвистического анализа текста для лингвиста все предельно ясно: в вопросительном предложении «Это меня-то снимать! Ты меня ставила?» (Ф. Абрамов) при формально-лингвистическом анализе мы не обнаружим отрицания. Но с точки зрения логического анализа это предложение — отрицательное суждение: «Ты меня *не* ставила». Напротив, в вопросительном предложении «Не скажет, истинный бог — не скажет...» — «Как это *не* скажет?» (Ф. Абрамов) формальный лингвистический анализ обнаруживает отрицание. Но с точки зрения логики это предложение — утвердительное суждение: «Она скажет». Если с этой точки зрения рассматривать интересующие нас логические энтимемы, то они относятся к модусу «*Comestres*» именно на том основании, что как

меньшая посылка, так и заключение содержат отрицание, совершенно не зависимо от того, какими языковыми средствами оно выражено.

В 46 обнаруженных энтимемах с последовательностью суждений (2) — (3) и в 184 энтимемах с последовательностью суждений (3) — (2), т. е. в 230 энтимемах модуса «*Camestres*», мы находим, естественно, 230 меньших посылок и 230 заключений, т. е. 460 общеотрицательных суждений и, следовательно, 460 средств выражения отрицания, которые можно разбить на пять групп, объединяемых нами в два типа: эксплицитные и имплицитные средства выражения отрицания. Эксплицитные средства: 1) отрицательные слова: *nicht, nichts, kein, nie, niemand, nirgends, niemals* и др., ср. русск.: *не, ни, никто, нигде, никогда, никакой* и др. (их частотность функционирования — наибольшая); 2) отрицательные прилагательные с префиксом *un-* (*unausführbar, unbekannt, unsicher, unschuldig, unmittelbar, unscheinbar*, ср. русск. *невыполнимый, неизвестный, невинный* и др.), отрицательные прилагательные с суффиксом *-los* (*kraftlos, mittellos*, ср. русск. *бессильный, бездарный*). Имплицитные средства: 3) замена соответствующего слова антонимом с отрицанием по принципу «холодно» = «не тепло», «сыт» = «не голоден». Существительные: *wenig Wert = низко ценится* («не ценится»), *die Verzweiflung = отчаяние* («не в настроении»), *die Sackgasse = тупик* («нет перспектив»); прилагательные: *gleichgültig = равнодушный* («не переживает»), *sehnsüchtig = страстный* («не холодный»); глаголы: *den Skandal scheuen = бояться скандала* («не желать скандала»), *versäumen = упускать* («не повторяться вновь»), *fehlen = отсутствовать* («не присутствовать»); 4) риторические вопросы, несущие в себе субъективно-модальные и эмоционально-оценочные значения; 5) скрытое отрицательное значение предложений. Все эти пять групп средств выражения отрицания сочетаются в меньшей посылке и в заключении самым различным образом, создавая множество разнообразных структурно-семантических типов сверхфразовых единств, выражающих модус «*Camestres*».

В современном языкознании средством выражения отрицания в предложении фактически считаются лишь отрицательные слова типа *nicht, nie, kein* (1-я группа). В современной логике, кроме этих слов, к средствам выражения отрицательных суждений отчасти относятся также средства, представленные здесь во 2-й и в 3-й группах. Что же касается последних двух групп средств выражения отрицания, то в логике они не рассматриваются. Покажем здесь фрагментарно, как участвуют в формировании общеотрицательных суждений модуса «*Camestres*» лишь имплицитные средства выражения отрицания.

а) На основе третьего типа отрицаний (антоним с отрицанием) строится немало (108 из 460) суждений, служащих или меньшей посылкой (30), или заключением (78). Нам известно, что в модусе «*Camestres*» меньшая посылка и заключение — отрицательные суждения. Но в естественном языке два взаимосвязанных по смыслу предложения, образующие умозаключение, часто или в первом предложении, или во втором предложении сверхфразового единства, или одновременно во всех этих предложениях отрицания не имеют. И тем не менее умозаключение строится по модусу «*Camestres*», имеющему в своем составе, как нам известно, два общеотрицательных суждения. В чем тут дело? Не нарушает ли естественный язык правила модуса «*Camestres*», или, может быть, перед нами другой модус, который содержит лишь одно отрицание или вообще не имеет отрицаний? Ни то, ни другое. Например: (2) «*Claire!... „Rache“ ist ausverkauft und wir haben keine Loge!*» — (3) «*Dann mußt du eben darauf verzichten*», bemerkte sie... (S. 102). В первом предложении (меньшая посылка) содержится отрицание *kein*. Во втором предложении (заключение) нет отрицания. Из известных в логике 19 правильных модусов простого категорического силлогизма нет ни одного, в котором меньшая посылка была бы общеотрицательным суждением (с отрицанием), а заключение — общеутвердительным суждением (без отрицания). Следовательно, надо или изъять отрицание из меньшей посылки (тогда мы получим правильный, но уже иной модус — модус «*Barbara*»), или вставить отрицание в вывод (тогда мы полу-

чим правильный модус — модус «*Camestres*»). По первому пути идти нельзя, так как будет искажен смысл предложения (в предложении речь идет о том, что «у нас *нет* билета в театр»). Поэтому мы должны идти только по второму пути — преобразовать утвердительное предложение в отрицательное без искажения первоначального смысла предложения. Оказывается, нам не нужно этого делать, т. к. говорящий (он не только тонкий знаток своего языка, но и «стихийный» логик) сам нашел способ выразить общеотрицательное суждение, не прибегая к эксплицитным средствам выражения отрицания (первая группа средств выражения отрицания): словосочетание *darauf verzichten* означает «отказаться от него» (билета), что, в свою очередь, означает «не иметь билета», «не идти в театр». Мы, таким образом, при преобразовании данного сверхфразового единства в силлогизм заменяем глагол-сказуемое на его антоним с отрицанием. Следовательно, два указанных выше взаимосвязанных предложения выражают умозаключение по правилам модуса «*Camestres*»: \*(1) В театр идет имеющий билет. (2) У нее *нет* билета. (3) Она *не* идет в театр.

Еще сложнее обстоит дело, когда ни в меньшей посылке, ни в заключении нет отрицаний, и тем не менее умозаключение строится по правилам модуса «*Camestres*». Перед нами энтимема, состоящая из двух общеутвердительных суждений: (2) *Es kamen nur Spitzenwolken zum Vorschein*, (3) *was einige Ausrufe der Enttäuschung veranlaßte* (S. 217) → \*(1) Показавшиеся у танцовщицы кружева вызывают разочарование. (2) Кружева у танцовщицы оказались. (2) Это вызвало разочарование. В данном случае построено силлогизм по модусу «*Barbara*», в котором меньшая посылка и заключение всегда — общеутвердительные суждения. Однако нельзя не заметить, что силлогизм, правильно построенный по модусу «*Barbara*», отражает лишь внешнюю, лингвистическую форму двух связанных предложений. Что же касается формы мысли двух связанных по смыслу предложений, т. е. логической формы силлогизма, лежащего в основе этих двух предложений, то модус «*Barbara*» ее исказил. Смысл умозаключения, построенного по модусу «*Barbara*», таков: публика на балу была столь «благовоспитанной», что ее шокировало даже красивое кружевное платье, одетое на танцовщице. Напротив, автор сатирического романа развенчивает светские нравы и вкладывает в это умозаключение только один смысл: публику разочаровало то, что она увидела у танцовщицы лишь красивое кружевное платье (*nur Spitzenwolken*), а не нечто большее. Следовательно, оба суждения выражают умозаключение, построенное по модусу «*Camestres*»: \*(1) Восторг вызывает красивый танец. (2) Публика *не* увидела красивого танца (увидела «только красивое платье»). (3) Это *не* вызвало у публики восторга («она была разочарована»).

Возможность построения на основе одного и того же сверхфразового единства (сложного предложения) двух взаимоисключающих логических модусов «*Barbara*» и «*Camestres*», только один из которых в данной ситуации является верным, объясняется, по-видимому, только фактом разграничения двух совершенно различных уровней членения одного и того же предложения — синтаксического и логико-грамматического, и связанной с этим разграничением различной степенью участия средств выражения отрицания в формировании этих уровней. Как показал В. З. Панфилов, уже простейшая эксплицитная форма отрицания *не* (*nicht*), относимая нами к первой группе средств выражения отрицания, может маркировать или лишь синтаксический уровень, или одновременно синтаксический и логико-грамматический уровни [8]. Что же касается имплицитных средств выражения отрицания, то на синтаксическом уровне предложения они, по-видимому, не выступают как средства выражения отрицания, а являются таковыми лишь на логико-грамматическом уровне предложения, т. е. «делают» отрицательным не предложение, а суждение, причем не изолированные суждения, а суждения, входящие в состав умозаключений. Таким образом, несовпадение роли различных средств выражения отрицания в конституировании синтаксического и логико-грамматического уровней предложения простирает свое влияние на более высокий уро-

вень — сверхфразовое единство (сложное предложение) и на лежащее в их основе умозаключение.

б) Риторические вопросы, несущие в себе субъективно-модальные и эмоционально-экспрессивные значения, надо рассматривать как скрытое, имплицитное средство выражения суждения: отрицательного, если в вопросе нет отрицания («Bin ich denn ein Klotz? «Разве я чурбан?» = «Я не чурбан»), или утвердительного, если в вопросе есть отрицание («Habe ich es dir denn nicht immer gesagt?», «Разве я не говорил тебе всегда об этом?» = «Я всегда тебе говорил об этом»). Очень часто модус «Camestres» строится именно по этому принципу: (3) «Aber warum soll ich sie schonen? (2) Würde sie mich schonen?» (S. 234) → \*(1) Щадить надо тех, кто щадит других. (2) Она не щадит меня. (3) Ее не надо щадить.

в) Наконец, надо отметить особые случаи построения умозаключений в естественном языке по правилам модуса «Camestres» — отсутствие любых отрицательных языковых средств, но наличие скрытого отрицания. Имплицитное отрицание в предложении создается соответствующими формами глагола-сказуемого: сослагательное наклонение способствует выражению действия нереального, действия, которое могло бы совершиться при определенных условиях, но фактически не совершилось. (2) «Hätten Sie mir... Ihr Vertrauen *geschenkt*, (3) alles wäre längst *getan*.» (S. 309) («Если бы вы мне доверяли, все было бы давно сделано») → \*(1) Все делает тот, кому доверяют. (2) Ему не доверяют. (3) Он ничего не делает. Сложнее обстоит дело, когда в предложении нет сослагательного наклонения. В предложении «Natürlich glaubt er alles, was ich ihm erzähle» («Он, конечно, верит всему, что я ему рассказываю») скрыто общеотрицательное суждение «Он не может отличить правды от лжи.» (3) «Natürlich glaubt er alles, was ich ihm erzähle. (2) Er ist ja immer noch so *unschuldig* wie damals...» (S. 366) → \*(1) Откуда она достает ему деньги, знает только тот, кто опытен. (2) Он не опытен. (3) Он не знает, откуда она достает ему деньги.

Необходимо отметить, что взаимодействие различных способов выражения отрицаний в разных языковых типах энтимем, построенных по правилам модуса «Camestres», различно. Например, в энтимемах с последовательностью суждений (3) — (2) количественное соотношение отрицательных слов в заключении (*nicht*, *kein*) (1-я группа) и антонимов с отрицанием в энтимемах (3-я группа), выраженных одним предложением: 16—38, а в энтимемах, выраженных двумя предложениями — обратное: 31—25. Этому, разумеется, еще предстоит найти объяснение. Еще более своеобразно сочетаются в меньшей посылке и в заключении средства выражения отрицаний в 3-ДЕ, в основе которых лежат энтимемы с той же последовательностью суждений: (3) — (2). Например, в 70 энтимемах, выраженных двумя предложениями, т. е. в 140 суждениях (в каждой энтимеме — два отрицательных суждения), отрицательное значение выражено в 71 случае отрицательными словами (половина всех случаев), в 35 — антонимами с отрицанием и лишь в 4-х предложениях — скрытым отрицательным значением, а в 3-ДЕ в 88 суждениях (44 энтимемы) употреблено только 25 отрицательных слов (лишь немного более четверти всех случаев). В противоположность же энтимемам, выраженным двумя самостоятельными предложениями, общеотрицательное суждение выражено в 3-ДЕ риторическими вопросами (21) и предложениями со скрытым отрицательным значением (29). Если посмотреть на заключение в 3-ДЕ, то из 44 предложений в 32 отрицание выражено риторическим вопросом и скрытым отрицанием. Это свидетельствует о том, что диалогическая речь обладает большим потенциалом языковых средств для выражения отрицательных суждений: кроме обычных средств выражения (отрицательные слова) в 3-ДЕ для тех же целей служат риторические вопросы, интонация, ситуация, тип исходной реплики, которая часто уже сама по себе выражает отрицательное суждение (оно в ответной реплике лишь подтверждается утвердительным предложением). Таким образом, в конституировании общеотрицательных суждений, лежащих в основе модуса «Camestres», принимают участие не только и даже не столько отрицательные слова, сколько другие средства, не несущие в себе никакого отрицательного значения.

Это одна из проблем языкознания, разработка которой уже начата на уровне соотношения структуры предложения и структуры суждения [8], но совершенно не затронута на уровне соотношения структуры сверхфразового единства и структуры умозаключения.

Логический модус «*Camestres*» реализуется в естественном языке также энтимемами, состоящими из другого набора составляющих их посылок. Энтимема модуса «*Camestres*» состоит из (1) большей и (2) меньшей посылок (отсутствует заключение): (1) «*Aber ohne Klempner bleibt ihr Programm unvollständig!*» rief Lizzi halb verzweifelt. (2) «*Wir müssen eben auf Vollständigkeit verzichten*», entgegnete Adelheid gelassen. (S. 179) → (1) Только при участии К. программа вечера считается завершенной. (2) Она не хочет иметь завершенную программу. \* (3) Она не хочет, чтобы на вечере выступал К. <sup>7</sup>. Энтимемы с отсутствующим заключением, хотя и редко встречаются (4 энтимемы с отсутствующим заключением против 230 энтимем с отсутствующей большей посылкой), обладают большей экспрессивностью, чем энтимемы с отсутствующей большей посылкой, т. к. вынуждают собеседника самостоятельно сделать невысказанное «заключение». Но энтимема может состоять и из одной, например, большей посылки: (1) «*Und wer bei der Premiere nicht dabei ist, zählt überhaupt nicht mehr mit*» (S. 103) → (1) К числу избранных относятся присутствующие на премьере. \* (2) Он не присутствует на премьере. \* (3) Он не относится к числу избранных.

В естественном языке встречаются также полные логические силлогизмы, построенные по правилам модуса «*Camestres*». Из общего количества умозаключений (239) лишь два выражены полным силлогизмом. Но порядок следования посылок и заключения в них различный. Полный силлогизм с правильной последовательностью посылок — (1) — (2) — (3): (1) «*Ich glaubte, er wollte mich vergewaltigen*. (2)...*Und daß er dann bloß mein Geld wollte*, (3) *das konnte ich ihm nicht verzeihen*» (S. 346) → (1) Женщины довольны, когда они правятся другим. (2) Она не понравилась. (3) Она была недовольна. Меньшая посылка здесь — утвердительное предложение, но оно выражает общеприцательное суждение, т. к. словосочетание «*wollte bloß mein Geld*» («хотел только деньги») означает «не хотел ничего другого». Полный силлогизм с неправильной последовательностью посылок — (2) — (1) — (3): (2) «*Aber ich irren sich, Verehrter*» — (1) «*...ich erbiere mich zu jeder... Genugtuung für meinen Eingriff in Ihre Rechte*». — (3) «*Eingriff? Bitte greifen Sie mal ein! Erst können!*» (S. 351) → (1) Принести извинения должен тот, кто нарушает правила игры. (2) Он не нарушил правила игры. (3) Он не должен извиняться.

Результаты анализа текста на стыке языка и логики мышления, в частности анализ языковых форм выражения лишь одного логического модуса «*Camestres*» состоят в основном в следующем. а) В логике модус «*Camestres*» предполагает лишь одну языковую форму выражения — сочетание трех простых предложений, выражающих простые суждения, с обязательным наличием логического квантора всеобщности во всех трех суждениях («*esse*»), а также двух отрицаний («*ne*») в меньшей посылке и в заключении («*Alle* звезды светят собственным светом. *Ни одна* планета не светит собственным светом. *Ни одна* планета не есть звезда»). Естественный же язык не знает этой жесткой формальной унификации, в нем господствует безбрежное богатство языковых форм для выражения одной-единственной логической формы. В 239 силлогизмах (сокращенных и полных), выражающих одну и ту же логическую форму мысли, обнаружено 197 различных язы-

<sup>7</sup> Выше первое предложение фигурировало в качестве примера целого умозаключения, в котором составляющие его суждения выражены отдельными членами предложения («*ohne Klempner*» — меньшая посылка, «*bleibt Ihr Programm unvollständig*» — заключение). Теперь же это простое предложение, выражающее целое умозаключение, становится более «низкой» логической единицей — лишь частью умозаключения, суждением, а именно большей посылкой, но уже другого, «пересекающегося» с ним умозаключения. Таким образом, мы подошли к одной из сложнейших проблем соотношения языка и логики мышления в тексте, когда элементы одного умозаключения становятся элементами соседнего или «территориально» более удаленного умозаключения, образуя сложную сеть пересекающихся суждений, общих для нескольких умозаключений.

ковых форм, и лишь 42 из общего количества — унифицированы, т. е. 42 раза повторяются одни и те же языковые формы. Но и они ни разу не повторяют ту единственную языковую форму умозаключения, которая известна логикам. Таким образом, ни один из 239 силлогизмов модуса «Camestres», обнаруженных в естественном языке, не имеет той языковой формы, которая нам известна из учебников и исследований по логике.

б) Из 239 силлогизмов, построенных по модусу «Camestres», 237 представлены в естественном языке в форме энтимемы, т. е. с одним опущенным суждением (это, как правило, большая посылка: 230 из 237), и лишь 2 силлогизма — в полной форме. Естественный язык, как видим, не терпит полных умозаключений, стремится к легкости, простоте, элиминации известных для говорящего и слушающего суждений. В естественном языке мы наблюдаем регулярное выпадение строго определенных звеньев логической цепи (большей посылки), что свидетельствует о движении реально-го мышления также вне эксплицитно выраженных языков форм.

в) Синтаксические построения, служащие для выражения энтимем с отсутствующей большей посылкой, имеют свои законы: последовательность суждений, противоположная правильным логическим построениям, а именно «закл<sup>ю</sup>чение — меньшая посылка», в естественном языке употребляется почти в пять раз чаще, чем «логическая» последовательность «меньшая посылка — зак<sup>ю</sup>чение» (184 против 46). Говорящий (пишущий) начинает (это очень важно подчеркнуть) с заключения и лишь затем подбирает для своего заключения соответствующее «обоснование». Это значит, что представленная в естественном языке синтаксическая форма для выражения логической формы (модус «Camestres») не нейтральна, не чисто рациональна, а имеет или субъективно-модальную, или эмоционально-оценочную окраску. Следовательно, рациональное, логическое выражается в естественном языке, по крайней мере, в художественном тексте, преимущественно его «эмоциональными» средствами, что в логике не нашло пока никакого отражения.

г) Этот тезис находит свое подтверждение также в том, что подавляющее большинство таких энтимем — предложения прямой и внутренней речи, в значительной мере отражающей разговорную речь (из 230 умозаключений 155 образованы предложениями прямой и внутренней речи, и лишь 75 — предложениями авторской речи), характеризующейся (кроме экспрессивной интонации, наличия в ней особых синтаксических конструкций, особого набора лексических средств) также д) употреблением модальных частиц, которые во взаимодействии с соответствующими синтаксическими формами и лексическим составом предложений выражают в предложении субъективно-модальные и эмоционально-оценочные значения (соотношение количества модальных частиц в энтимемах с последовательностью суждений (2) — (3) и (3) — (2) : 5—51).

е) Меньшая часть энтимем, отражающих модус «Camestres», имеет формальные языковые средства выражения либо меньшей посылки (союзы *weil, da, denn*), либо заключения (логические слова *dann, folglich*). Среди 239 умозаключений лишь 26 меньших посылок и 10 заключений распознаются на основе формальных языковых средств, остальные 203 — на основе концептуального значения двух взаимосвязанных по смыслу предложений (типа: *Стало жарко. Он снял пальто*).

ж) Обнаруженные пять способов выражения отрицания в меньшей посылке и в заключении взаимодействуют друг с другом самым различным образом. В меньшей посылке энтимем (2) — (3) и (3) — (2) наиболее часто употребляются отрицательные слова (136 отрицательных слов в 230 общеотрицательных суждениях), в заключении наблюдается замена членов предложения на антонимы с отрицанием (78 антонимов с отрицанием в 230 общеотрицательных суждениях). Вопрос, почему для выражения отрицания обычные отрицательные слова употребляются в меньшей посылке модуса «Camestres» в два раза чаще, чем в заключении (136 против 66), а в заключении, напротив, в два раза чаще, чем в меньшей посылке, выражаются антонимами с отрицанием (78 против 30), ждет еще своего ответа.

Учение о связи языка и логики мышления (форм мышления) — один из главных разделов общего языкознания, занимающегося проблемами

соотношения языка и мышления. Что дает изучение текста с точки зрения логики<sup>8</sup>? Не изучая текст с предложенных здесь позиций, мы бы не знали, как человек делает умозаключения в естественном языке. Теперь мы знаем, например, а) количество языковых вариантов для выражения лишь одной-единственной логической формы мысли, б) соотношение энтимем и полных силлогизмов в естественном языке, т. е. соотношение мышления в языковых формах и вне языковых форм, в) порядок следования суждений в каждом умозаключении в естественном языке по сравнению с последовательностью суждений, известной из логики, г) взаимодействие различных типов предложений по стилю речи, д) сферу употребления модальных частиц и их роль в конституировании силлогизмов, е) соотношение специальных языковых средств и концептуального значения в формировании умозаключения в естественном языке, ж) соотношение различных средств выражения отрицания в языке и соотношение тех же средств в логике, з) наконец, общее количество умозаключений данного типа для всего обследованного текста. Короче, нам стала понятной логико-лингвистическая структура текста в объеме обследованного модуса. Мы видим, как «накладывается» на эту логическую структуру структура естественного языка. Оказывается, человек задает текст на основе мышления<sup>9</sup>, облекая его в соответствующие языковые формы. Но язык не является единственным ингредиентом текста. Текст — это объект многих наук, главными из которых являются языковедение и логика. Текст, следовательно, подразумевает одновременно и взаимодействие их единиц — форм мыслей и языковых форм их выражения («форм форм»). Текст может изучаться в языковедении без всякой спекуляции лишь с точки зрения интеграции языковедения и логики, языка и логики мышления, т. е. с точки зрения выявления мыслительных категорий, в частности умозаключений, и языковых форм их выражения. Этот путь — г е н е р а л ь н о е направление в изучении структуры текста, поэтому изучение в нем любого другого лингвистического явления, хотим мы того или нет, необходимо подчинено первому и может быть правильно понято только на фоне первого. Описание всех лингвистических явлений находит объективное место в системе текста лишь тогда, когда эти лингвистические явления получают объяснение с точки зрения соотношения мыслительных и языковых форм. Если лингвист исследует лингвистические вопросы текста вне главного — вне соотношения мыслительных и языковых категорий, вне взаимодействия «форм мысли» и «форм языка», а лишь на основе субъективно понимаемых условий коммуникации, то это не ведет к исчерпывающему анализу текста.

---

<sup>8</sup> «Логик», как известно, существует несколько: традиционная формальная логика, логика отношений, логика предикатов, символическая логика и др. Для целей исследования логического умозаключения и форм его выражения в естественном языке необходимо опираться лишь на одну логику — традиционную формальную логику как науку о формальном построении нашего мышления, вполне достаточную для целей лингвистического анализа текста с точки зрения логики. Во-первых, уже традиционная формальная логика рассматривает мысли, приемы рассуждения с формальной точки зрения, безотносительно к их конкретному содержанию, систематизирует объективные правила (знаки общности и переменные) и распространяет их на частные случаи. Эти правила позволяют в бесконечном множестве мыслей увидеть повторяющиеся формы. Во-вторых, традиционная формальная логика, например, в отличие от символической логики, содержательна, т. е. будучи наукой чисто формальной, она постоянно «держит на прицеле» некоторое общее содержание мыслей (предложений). Понятие «формальный» не означает независимый от содержания вообще, а лишь независимый от единичного, частного содержания. В-третьих, традиционная формальная логика, лишенная некоторых преимуществ, например, символической логики как наиболее формализованной, т. е. науки об исчислении суждений, именно в силу этого в наибольшей степени отвечает задачам анализа соотношений между умозаключениями и формами их выражения в естественном языке. Говорящий (нищущий) не строит в голове «алгебру высказывания», а пользуется в повседневной и научной практике простыми умозаключениями и их связями, что и подтвердил анализ естественного языка с точки зрения традиционной формальной логики.

<sup>9</sup> Если внимательно проанализировать многие зарубежные и отечественные лингвистические работы по проблеме текста, то мы обнаружим, что эта мысль не самоочевидна.

Разумеется, результаты проведенного здесь исследования нужно считать предварительными, ибо в структуре текста нам неизвестно еще многое, в частности: какова логическая структура остальной части текста, не исследованной в данной статье, по каким модусам она построена, каковы языковые способы их выражения, каковы соотношения всех обнаруженных модусов и языковых средств их выражения, каковы соотношения и взаимоотношения между умозаключениями и простыми суждениями, не входящими в состав умозаключений, и, самое главное, — как различные модусы в а и м о д е й с т в у ю т друг с другом, перекрещиваются друг с другом, создавая сплошную логико-грамматическую (шире: логико-языковую) канву текста.

Выше был проведен логико-лингвистический анализ текста определенного объема и определенного характера. Хотя данное исследование поставило, может быть, больше вопросов, чем дало на них ответов, однако нам теперь более или менее известна структура этого исследованного текста с точки зрения соотношения языка и логики мышления (только в части языковых форм выражения одного логического умозаключения — модуса «*Camestres*»)<sup>10</sup>. Было бы в высшей степени интересно узнать: а что мы могли бы обнаружить, если бы удалось провести п о л н ы й логико-лингвистический анализ с данных позиций, например, романов «Война и мир» Л. Толстого или «Тихий дон» М. Шолохова, или, предположим, романа «Евгений Онегин» А. Пушкина (весьма заманчивым было бы познать законы выражения логического в поэзии)? Анализ этих, а также многих других «текстов» с логико-языковых позиций привел бы, по-видимому, не только к познанию их логической структуры и способов их языковой презентации, что само по себе имело бы большую научную перспективу, но и позволило бы заглянуть в творческую «кухню» великих мастеров слова, познать степень и формы использования стихийной логики и ее категорий в художественных целях.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975, с. 308.
2. Горский Д. П. Логика. М., 1958, с. 143—211.
3. Субботин А. Л. Традиционная и современная формальная логика. М., 1969.
4. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959.
5. Формальная логика. Л., 1977, с. 87—138.
6. Логика. 2-е изд. М., 1967, с. 114—158.
7. Логика. Минск, 1974, с. 150—231.
8. Панфилов В. З. Отрицание и его роль в конституировании структуры простого предложения и суждения. — ВЯ, 1982, № 2.
9. Гальперин И. Р. Грамматические категории текста (опыт обобщения). — ИАН СЛЯ, 1977, № 6, с. 522.

<sup>10</sup> И. Р. Гальперин правильно считает, что если текст есть качественно новое образование по сравнению с изолированными предложениями, то становится очевидной необходимость «выявить особые категории, по которым строится текст» [9]. Этими категориями, как здесь было показано, являются мыслительные категории, т. е. формы мысли определенного качества и определенного количества, в зависимости от которых находится в тексте многое, если не все, в том числе, по-видимому, его художественные и эстетические ценности.

БОЛДЫРЕВ А. Н.

«СЕМЬ ВТОРЯЩИХ»

(к истории одного арабо-персидского стиховедческого термина)

Исследователи текстов Абдаррахмана Джами́ Е. Э. Бертельс и А. Афсахзод — первый издатель всех трех его лирических диванов отметили три стихотворения Джами в форме кыт'а («отрезок, фрагмент»), в которых Джами энергично порицает небрежных и недобросовестных переписчиков его стихотворений за грубое искажение текста [1; 2, с. 16]. К этим трем кыт'а можно присоединить и четвертый «отрезок», видимо, не замеченный издателем и оставленный им без перевода, как, впрочем, лишены перевода и три предыдущих кыт'а. Даю перевод четвертого «отрезка»:

1. В саду Слова птица таланта моего большей частью  
В семи бейтах ведет наневы и проверяет рифму.
2. В «Семи красавицах» казначей из Гянджи каждая газель  
Образец смысла, в котором спрятано сто сокровищ.
3. Коль скоро из бейта в бейт все семь двухстишны,  
Не гневайся, если назовут их «семь вторящих»<sup>1</sup>.
4. Пусть из семи членов [тела] на одия или два будет

меньше у того,

Кто из моих семи бейтов напишет [только] шесть или

пять<sup>2</sup>.

В этом четвертом «отрезке» (последний бейт) идет речь о произвольном сокращении недобросовестными писцами числа бейтов в газелях Джами, т. е. о нарушении семибейтной их структуры, которой Джами, как видно, придавал особое значение.

Другими словами, Джами хочет сказать, что излюбленная им семибейтная структура его газелей определяется примером «казначей из Гянджи», т. е. Низамі, чья поэма «Семь красавиц» состоит из семи прекрасных «газелей» (т. е. из семи любовных повестей о царе Бехраме и семи его возлюбленных царевнах, причем с каждой царевной связан определенный цвет, определенный день недели и определенная планета-покровительница). Заметим, что здесь слово *газель* представлено в своем первом, широком смысле, т. е. всякий любовный сюжет, всякая поэтическая форма любовного содержания<sup>3</sup>. Коль скоро, продолжает Джами, все семь бейтов «газелей» Низамия имеют по паре [рифмующих] полустийши (*мисра'*), не следует негодовать, если их назовут «семь вторящих» (*саб' маcānī*). Последние слова являются цитатой из Корана, где они образуют сочетание *саб'ан мин аль-маcānī*, встречающееся всего один раз (сура 15, аят 87) и принадлежащее к числу неясных, по-разному толкуемых коранических выражений. Согласно одному из толкований, а его, как будет показано ниже, видимо, придерживался и Джами, этими словами обозначается первая сура аль-Фатиха («Открывающая»). Слова «не гневайся», очевидно,

<sup>1</sup> С точки зрения персидского словообразования возможен здесь и композит «семиповторные» в адъективно-субъективном значении.

<sup>2</sup> Текст фрагмента см. [2, с. 583, № 31]. Размер муджтасс. В опубликованном русском стихотворном переводе В. Державина смысл стихотворения совершенно искажен. См. [3].

<sup>3</sup> Так начинается определение понятия *газель* («газель») во всех персоязычных поэтиках. Ср. значение *gazel* в турецком глагольном словосочетании *gazel okumak* в) расказывать байки (сказки, небылицы)... [4].

обращены к читателям, религиозное чувство которых могло бы быть оскорблено кощунственным применением (в качестве высшей похвалы) этих священных слов к светской (или суфийской) любовной лирике Джами.

В переводе Г. С. Саблукова *саб'ан мин аль-маṣānī* — это «семь повторяемых стихов» (весь контекст аята 87: «Мы дали тебе семь повторяемых стихов и великое чтение»), без дальнейшего уточнения; в переводе И. Ю. Крачковского — это «семь повторяемых» (весь контекст аята: «И Мы дали тебе семь повторяемых и великий Коран») с подробным примечанием, в котором дана сводка важнейших толкований: «[„Семь повторяемых,“ может означать:] семь стихов ал-Фātiхи; семь больших сур... «многое из „обоих“ (— иудейского и христианского откровений) и др...» (с. 554, примеч. 40).

В более новом немецком комментированном переводе Корана Р. Парета также дается сводка различных толкований загадочных слов, со следующим выводом: «Для комментаторов Корана на первом месте стоят два объяснения. Согласно одному, под семью „масани“ имеются в виду семь самых длинных сур (сура 2 и т. д.), по другому — семь аятов первой суры». Однако Р. Парет отдает предпочтение еще одному толкованию, выдвинутому Хоровицем и Беллом, согласно которым под *маṣānī* имелись в виду «коранические рассказы, точнее рассказы о наказаниях, обрушившихся на древние народы. Число семь „масани“ определяется (в таком случае) семью наиболее часто встречающимися и подробными рассказами» [5, II<sup>4</sup>, с. 279, примеч.].

Такое толкование представляется несколько надуманным и, главное, лишенным лексического обоснования — ведь слово *маṣānī* и корень его *С-Н-Й* никак не связаны с семантикой понятий «сказ, повествование» и т. п.

Слово *маṣānī* встречается в Коране еще один раз, но уже без контекста с числительным семь: *Аллāху наззала ахсана-ль-хадīси китабан муташāбихан маṣāнийя* ... (сура 39, аят 23). Перевод Г. С. Саблукова: «Бог ниспослал самое лучшее учение — писание с иносказательными, с повторяющимися чтениями...». Перевод И. Ю. Крачковского: «Аллах ниспослал лучший рассказ — книгу со сходными, повторяемыми частями...». Перевод Р. Парета: «Господь ниспослал лучшую [чем можно себе представить в качестве откровения благасть (хадис)], равномерно повторяющееся писание...». Примечание 30: «или же: „в распорядке частей равномерное писание“» [5, I, с. 383].

Легко заметить, что в обоих русских переводах и даже в одном из четырех толкований Парета четко отражается семантика (идея) повторения, имеющая прямую связь с корнем *С-Н-Й*, тогда как в трех других своих переводах Парет полностью пренебрегает исходным корневым значением слова, что и уводит его, как сказано выше, к беспочвенной, предположенной его предшественниками, глоссе «рассказы» и «рассказы о наказаниях» [5, II, с. 279].

Столь же необоснованным представляется и другое предложение Парета — понимать связанный с *маṣānī* эпитет *муташāбих* в приведенном аяте не в первоначальном, обычном значении «подобный, схожий» (как это видим у И. Ю. Крачковского), а как «равномерно повторяющийся; стереотип» или, вслед за Хоровицем, «равномерный в распределении частей», откуда даже «многозначный, неясный» (ср. в переводе Г. С. Саблукова: «иносказательные, повторяющиеся чтения»).

Дополнительный материал для более точного понимания рассматриваемого контекста дает его ранее (XI в.) персоязычное «тефсирное» толкование, в котором арабское слово *муташāбих* передано персидским *bā yak-digar mānand* (т. е. «похожие друг на друга»), а слово *маṣānī* передано персидским *dūgānī*, т. е. «повторный, вторящий»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Здесь же обширная литература вопроса. Перевод немецкого текста здесь и ниже мой.

<sup>5</sup> Перевод Корана из Музея Парса неизвестного переводчика, издал д-р Али Реваги [6]. На это издание любезно указал мне М. Н. Боголюбов.

Вернемся к приведенному выше 3-му бейту стихотворения Джами, смысл которого таков: «Поскольку все „газели“ Низами состоят из парнорифмующих („двухмисрбых“) бейтов, то ежели назовут их *саб' маṣānī*, не гневайся (на такое кощунство, как применение священного прозвища аль-Фтаихи к светской поэзии)».

Видимо, можно не сомневаться в том, что для Джами, а он был одним из авторитетнейших богословов и комментаторов Корана для своего времени, слова *саб' маṣānī* означали суру аль-Фатиху. Остается выяснить, семикратная повторность каких именно элементов текста дает основание обозначать аль-Фатиху символом *саб' маṣānī*? Другими словами, что такое реально *саб' маṣānī*?

В аль-Фатихе, состоящей, как известно, из басмалы и семи стихов, повторяющимся элементом является только грамматическая рифма (окончание косвенного падежа мн. числа *-īn*), стихоразделительно звучащая в конце басмалы и в конце 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го (с неполным чередованием *н/м*) и 7-го стихов. В итоге — семикратный повтор рифмующего элемента, особенно эмфатически звучащий в клаузуле при громогласной, проповеднической артикуляции аята. Именно эту силу эмоционального воздействия рифмы имеет, вероятно, в виду сам Мухаммад во второй, ранее опущенной нами при цитировании части аята 23 суры 39. Приводим этот аят целиком: «Аллах ниспослал лучший рассказ — книгу с сходными, повторяемыми частями, от которой съезживается кожа тех, которые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа и сердце к упоминанию Аллаха. Это — путь Аллаха, ведет Он им, кого пожелает, а кого сбивает Аллах, тому нет водителя!» (перевод И. Ю. Крачковского; разрядка наша. — Б. А.)

Пользуясь полученными значениями, можно предложить следующий уточненный перевод второго коранического контекста со словосочетанием *саб' ан мин аль-маṣānī* (сура 15, аят 87): «И мы дали тебе семь [аятов] из [числа аятов с] повторяющимися (вторящими. — Б. А.) монорифмами и великий Коран»<sup>6</sup>.

В этой связи возникает вопрос: не продолжена ли тема рифмы в рифмованной прозе (*садж'*), излюбленной Мухаммадом, в непосредственно следующем за рассмотренным, т. е. в 88-м, аяте той же суры 15, гласящем: «Не простирай же своих глаз к тому, что Мы дали в пользование их п а р а м (*азвāджан мин-хум*) и не печалься за них и преклони крыло твое перед верующим» (перевод И. Ю. Крачковского; разрядка наша. — Б. А.). В переводе Г. С. Саблукова *азвāдж* — с е м е й с т в а, что, как видим, не принято во внимание И. Ю. Крачковским, вероятно, ввиду полного несоответствия смыслу подлинника. Столь же неудачно понимание Парета: «Некоторым из вас (*einzelnen von ihnen*)» или в другом его варианте: «группе (*einer Gruppe*)» [5, I, с. 215].

Однако в Коране *азвāдж* (мн. ч. от *завдж*) не раз встречается в значении «пáры». В то же время причастие VIII породы от этого же корня *муздавадж* — «парный, спаренный» как термин поэтики синонимичен термину *маṣна'ī* («месневи») в значении парнорифмующий (по полустилиям бейта) стих. Воспринимая аят 88 как непосредственное продолжение аята 87 и подставляя стиховедческие и контекстные значения, получаем: «(87). И мы дали тебе семь [аятов] из [числа аятов с] повторяющимися монорифмами и великий Коран. (88). Не заглядывайся на то, что мы дали из них в пользование парнорифмующими стихами и не тужи о них и заботься о верующих».

Другими словами, не исключено, что в аяте 88 выражено предостережение верующим от излишнего увлечения такими фундаментальными действенными средствами художественной изобразительности, как саджевая рифмовка речи, которая должна оставаться прерогативой вероучителя Мухаммада.

<sup>6</sup> Т. е. «дали тебе аль-Фатиху и Коран». Персидский перевод этого аята, к сожалению, не сохранился.

Опосредованная связь семантики *масъанî* с рифменно-метрическим аспектом слова проявляется, на наш взгляд, и в таких — разумеется, позднейших, словарных значениях слова *масъанî*, зарегистрированных лексикографами, как, например, «двустишие» (*distique*) у Дози [7] или «Мелодия или род мелодии, который у персов называется *дубайтî*»<sup>7</sup>.

Как известно, дубайти — четверостишие монорим, т. е. с «вторящими» (*масъанî*) окончаниями в трех и даже четырех строках. И если в современном арабском литературном языке *аль-масъанî* обобщающе означает «стихи Корана», то в этом значении фиксирован весь путь развития понятия «стих» от эмбрионального его состояния в виде вторящих созвучий саджа до высокоразвитой рифменно-метрической структуры современной поэзии. Соответственным образом, коренное значение древнего термина *масъанî* обретает неожиданную близость к современному определению рифмы, как всякого звукового повтора, несущего организующую функцию в стихе.

Однако не «семь [из числа] вторящих», т. е. не семирифменная структура священной аль-Фатихи послужила образцом для Джами при выборе оптимальной семибейтовой структуры его газелей, а семичастное построение «газельной» поэмы «Семь красавиц» его великого предшественника «казначей из Гянджи» Низами. В этой связи особый интерес приобретают слова Низами о причинах, побудивших его придать своей поэме именно семичастное построение. Приводим филологический перевод соответствующих строк из вступительной части поэмы [9]:

Обитель сего писания, подобного Зенду магов,  
Для того украсил я семью невестами,  
Чтобы невесты неба, когда  
На моих невест взглянут,  
От соукрашенности и общности  
Каждая бы своей оказала помощь.  
Ведь когда семь линий сойдутся  
На грамоте дела, образуется точка [счастья].

Как авторитетно разъясняет издатель поэмы В. Дастгардî, семь невест неба — это семь планет, покровительство которых принесет, по мысли Низами, удачу каждой из семи новелл поэмы, так же как схождение семи линий в древнем гадании «рамль» образует точку счастливого предзнаменования.

Таким образом, не суры Корана, а древние домусульманские поверья, языческая ворожба вдохновили поэтический замысел Низами, а вслед за ним и верного его последователя и почитателя<sup>8</sup>, богослова и поэта Абдаррахмана Джами, в котором на этот раз поэт победил богослова.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бертельс Е. Э. Навои и Джами. М., 1965, с. 260.
2. Джами Абдаррахман. Фатихат аш-шабаб. Критический текст и предисловие Афсахзода А. М., 1978.
3. Джами. Избранные произведения. 2-е изд. Л., 1978, с. 125, № 183.
4. Турецко-русский словарь. М., 1977, с. 318.
5. Der Koran. Übersetzung von Paret R. Stuttgart, I, 1962; II, 1971. Kommentar und Konkordanz.
6. Тарджоме-йе Гор'ан-е мûзе-йе Парс аз мотарджмеи нâшенâс ба кûшеш-е д-р 'Алî Ревâгî. Тегрân, 2535 (=1977), с. 220.
7. Supplement aux dictionnaires arabes par Dozy R. V.I. Leiden, 1881, p. 165.
8. Freytag G. W. Lexicon arabico-latinum. Halle, 1830.
9. Низâmî. Хафт пайкар. Изд. В. Дастгардî. Тегрân, 1315 (=1936), с. 17, бейты 8—11.
10. Джâmî. Нафахât ал-'онс фî ҳадарât ал-'одс. Изд. М. Тоухîдî. Тегрân, 1336 (=1957), с. 608 и сл.

<sup>7</sup> Cantus vel modus cantis qui apud Persas دو بیتى appellatur [см. 8 под словом

۱. شبات

<sup>8</sup> Ср. восторженную оценку Низами, данную Джами в его «Энциклопедии суфийских шейхов» [10].

ШМИДТ К. Х.

## ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМ КАРТВЕЛЬСКОГО И ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ГЛАГОЛА

Настоящая статья содержит не столько типологическое сравнение отдельных фактов, засвидетельствованных в картвельских/южнокавказских и/или индоевропейских (далее — и.-е.) языках, сколько сопоставление моделей, возникающих в результате исторического сравнения и генетической реконструкции так называемых индоевропейского языка-основы (ИЕ) и картвельского языка-основы (К), или праиндоевропейского и пракартвельского. Структурное сопоставление языков-основ исходит из признания того факта, что результат реконструкции, как и любая другая языковая система, соответствует определенному языковому типу. «Всякая генеалогическая классификация, устанавливая факт и степень родства между данными языками, определяет в то же время и некоторый общий для них тип. Материальные отождествления форм и элементов форм приводят к выявлению формальной и грамматической структуры, присущей определенной семье. Отсюда следует, что генеалогическая классификация является одновременно и типологической» [1].

Понятия преиндоевропейский (ПИЕ) и прекартвельский (ПК) представляют собой модификацию понятий ИЕ и К и означают результат типологической интерпретации языков-основы, или праязыков, реконструированных с помощью сравнительно-исторического метода. Из-за большей временной отдаленности при такого рода интерпретирующей реконструкции, вообще говоря, гораздо труднее определить процессы языковых изменений, или диахронические трансформации, чем при полученной применением сравнительно-исторического метода прямой реконструкции<sup>1</sup>. Иногда, впрочем, трудно решить, следует ли считать реконструкцию прямой или же интерпретирующей, так как прямая реконструкция языковых структур, опирающаяся на исторически засвидетельствованные факты, тоже должна удовлетворять типологическим принципам. Так, например, модифицированную реконструкцию системы праиндоевропейских смычных Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова [3, 4; ср. также 5] можно признать как прямой, так и интерпретирующей, что фактически в большей или меньшей степени зависит от того, какую из гипотез предпочтет читатель.

Границы между прямой и интерпретирующей реконструкцией праиндоевропейской глагольной системы определяет реконструкция диатезы: в то время как прямая реконструкция приводит к номинативно-аккузативной синтагме, различные факты (общий vs. средний род, неопределенный падеж, разграничение действия и состояния) указывают на более раннюю эргативную или активную<sup>2</sup> систему. За исключением диатезы, весь материал, привлекаемый нами для типологического сравнения, получен с помощью прямой реконструкции. Рассматриваются следующие категории: 1) диатеза; 2) вид и время; 3) наклонение. Обсуждение категорий лица и числа требует, как кажется, иной постановки проблемы<sup>3</sup>. Для картвельских языков, личная флексия которых представляет собой вариацию западнокавказского языкового типа, здесь остается в основном два нерешенных вопроса: а) отношение немаркированного или суффикс-

<sup>1</sup> Термины см. в [2].

<sup>2</sup> О языках активного строя см. в особенности [6].

<sup>3</sup> Ср. хотя бы [7].

рованного 3-го лица к префигированным 1-му и 2-му лицу; б) отношение инкорпорирующего типа к флективному.

### 1. Диатеза.

Как ПИЕ, так и ПК относятся к эргативному (или активному) типу переходного построения с пациенсом в неопределенном падеже (или номинативе) и агенсом в эргативе. В картвельских языках этот тип сохранился до настоящего времени в системе перфективного (совершенного) аориста, в то время как система имперфективного (несовершенного) презенса фактически преобразовалась в номинативную (с формой деятеля в неопределенном/номинативном падеже и объектом в дативе вместо отсутствующего аккумулятива):

(1) др.-груз. аорист *mgelman* (эрг.) *šečama cxovari* (ном.) «волк съел овцу» vs. презенс *mgeli* (ном). *šečams cxovarsa* (дат.); ср. перфект *mgelsa* (дат.) *šeučamies cxovari* (ном.) [8, с. 172].

Различие презенса и аориста, так же как переходность и непереходность, может дополнительно реализоваться с помощью аблаута:

(2)	переходный	непереходный
Презенс (ед. ч.)	<i>v-dreḳ</i> <i>s-dreḳ</i> <i>dreḳ-s</i>	<i>v-drḳ-ebi</i> <i>s-drḳ-ebi</i> <i>drḳ-ebi-s</i>
Аорист (ед. ч.)	<i>v-driḳ-e</i> <i>s-driḳ-e</i> <i>driḳ-a</i>	<i>v-derḳ</i> <i>s-derḳ</i> <i>drḳ-a</i> (см. [9].)

Употребление эргатива с аористом непереходного глагола, например, груз. *zaylma daiḡera* «собака залаяла» включает глаголы, обозначающие движение в пределах одного места..., звукопроизводство..., передвижение с одного места на другое..., и другие действия» [10]. Г. Деетерс объясняет этот тип «переносом по аналогии» [11, с. 98], в то время как Г. А. Климов усматривает в этом реликты имевшего место ранее активного типа [6, с. 223 и сл.]. Очевидно, возникшая под действием аналогии конструкция в мегрельском языке (в работе [12] к ней приведен и лазский материал) распространила функции падежа, маркированного эргативной морфемой *-k*, на непереходные построения в пределах системы аориста:

(3) мегр. перех. аорист *xuro-k* (эрг.) *‘ude* (ном.) *kodaagu* «плотник дом построил» > неперех. аорист *tiši tuta-k* (эрг.) *doḡuru* «его отец умер»<sup>4</sup>.

Типологическую параллель переносу по аналогии агенса переходного глагола на непереходную синтагму при «семантически активных» глаголах движения [15] представляет собой генитивное оформление агенса в древнеармянской перфективной конструкции [16]:

(4) *ew anḡeal and ayn Yisusi* (ген.) *etes zayr mi* (Мф. 9,9) «проходя оттуда, Иисус увидел человека»; *sneal Ormazdi* (ген.) ... *ekn ekaḡ aḡaji Zruanay* (Езн. 114) «когда Ормизд родился, ... пошел он и предстал перед Зрваном» [17, с. 177].

Обнаруживаемые в картвельских языках тенденции к переносу морфемы эргатива с транзитивного на интранзитивный контекст указывают на дальнейшее ослабление эргативной конструкции, и без того уже ограниченной пределами системы аориста. Они коррелируют с личными субъектными префиксами, которые в контексте непереходного глагола относятся к грамматическому субъекту в неопределенном/номинативном падеже, а в контексте переходного глагола — к древнегрузинскому агенсу в эргативе:

(5) неперех. *da-v-št-i* «я остался» vs. перех. *v-po-ve igi* «я напел его» (с одинаковым личным префиксом *v-* в обоих контекстах<sup>5</sup>, хотя личный префикс — как, например, в западнокавказских языках, — должен согласовываться с эргативом при переходных глаголах как с косвенным падежом, а с неопределенным/им. падежом при непереходных глаголах — как с падежом пациенса при переходных глаголах:

<sup>4</sup> Ср. [13, с. 104; 14].

<sup>5</sup> Ср. [18; 19; 20, с. 452].

(6) адыгейск. перех. *se we wə-se-š'e* «я (*se, -se-*) веду тебя (*we, -wə-*)» vs. неперех. *se we sə-qə-we-že* «я (*se, ! sə-*) жду тебя (*we-, -we-*)» [21, с. 97; 20, с. 450 и сл.].

Как уже было сказано, наличие эргативной или активной конструкции предполагается также и для ПИЕ. Эта гипотеза опирается на принятие трех соотносительно трансформированных дихотомий:

(7) 1) одушевленное vs. неодушевленное > общий [соответственно мужской (m.) или женский (f.)] vs. средний род; 2) эргатив (m. + f.) и, соответственно, актив vs. неопределенный падеж > номинатив (m. + f.) vs. аккузатив<sup>6</sup>, номинатив, вокатив, коммеморатив, форма основы в композитах, локатив без окончания; 3) глаголы действия vs. глаголы состояния > переходные/непереходные vs. непереходные.

Автор по разным поводам касался трех фаз этого процесса языковых переходов<sup>7</sup>, так что в данном случае считает возможным удовлетвориться лишь ограниченным комментарием: а) маркирующая и.-е. номинатив морфема *-s* восходит к древнему аффиксу эргатива, который уже в доисторическую эпоху был перенесен из переходных контекстов на непереходные; типологические параллели к этому процессу, который сначала мог происходить в «семантически активных» глаголах системы настоящего несовершенного [25], приведены выше<sup>8</sup>; б) в классах непереходных глаголов состояния заложены основы как и.-е., так и южнокавказского перфекта<sup>9</sup>: «в и.-е. в классе стативных глаголов, из которого через перфект презентного состояния (тип 1) и перфект достигнутого состояния (тип 2) развились результативные перфекты отдельных языков; в южнокавказском, напротив, они развились в непереходных описательных конструкциях состояния (аффективные конструкции в широком смысле, пассивы состояния в узком смысле) с субъектом-стимулом в дативе и тем, что аффицируется, в номинативе»<sup>10</sup>. Различение действия и состояния относится к признакам активных и раннеэргативных языков, таких, как, например, западнокавказские<sup>11</sup>; в) вследствие древнего активного или эргативного характера ПИЕ и ПК в них отсутствует категория пассива, которая, однако, развивается в обеих языковых семьях независимо друг от друга на базе имеющихся категорий (отглагольные прилагательные, конструкции с основами состояния, супплетивные пары, к тому же еще медиум в и.-е., категория субъектной версии в картвельском), ср. [39]; г) интересное совпадение между и.-е. медиумом и картвельской субъектной версией состоит в том, что обе категории предполагают направленность высказывания на субъект, причем в картвельском, как правило, а в и.-е. часто в высказывание включается объект:

(8) груз. субъектная версия: *ṭani daibana* «он вымыл свое тело», ср. греч. медиум: *ῥίψατο ἑαυτοῦ χεῖρας* (ил. 16, 230) «он мыл свои руки»<sup>12</sup>; д) в связи с категорией диезисы следует указать на каузатив, который в картвельском и в и.-е. развился как способ транзитивизации непереходных глагольных основ [42].

## II. Вид — время.

Как ИЕ, так и К характеризуются флексийным аспектом (в терминологии Й. Хольта), т. е. «способом, при котором определенная форма

<sup>6</sup> -т аккузатива, перенесенное затем по аналогии на основы на -о среднего рода, возводимо к древнему постфиксу аллативного значения (ср. [22]).

<sup>7</sup> См. [23—27] и др. работы.

<sup>8</sup> Ср. приведенный выше грузинский, лазский, мегрельский и древнеармянский материал. На типологическую мегрельскую параллель указывал, в частности, Г. А. Климов (см. [14]).

<sup>9</sup> Е. Курилович [28, с. 61 и сл.] различает для и.-е. «с о с т о я н и е (перфект) vs. д е й с т в и е (в медиопассиве...)».

<sup>10</sup> [29], ср., наконец, дискуссию об и.-е. перфекте, хеттском *hi-* спряжении и о проблеме так называемых стативов [30—38] и др.

<sup>11</sup> Ср. различение динамических и статических глаголов [24, с. 104 и сл.]; первичные стативные глаголы ограничены по своему количеству и в отношении релевантных категорий. В западнокавказских языках, однако, и отыменные глаголы получают стативные флексии: адыгейск. *se sə-č'al* «я — юноша» как *se sə- š'ə-s* «я сижу», *se sə- š'ə-t* «я стою» и т. д.

<sup>12</sup> Ср. [40], а также [41].

всегда обозначает одновременно и вид, и время» [43, с. 35]. Кроме бинарной оппозиции перфективной системы аориста и имперфективной системы презенса существуют еще и категории перфекта и глаголов состояния<sup>13</sup>. Ряды (груз. *mǝḡivebi*) картвельской системы перфекта, объединяемые в так называемую третью серию, определяются по синтаксическим и семантическим признакам; синтаксически — инверсией (по отношению к синтагме презенса): у переходных глаголов агенс стоит в дативе, пациенс в неопределенном падеже/номинативе, см. (1)<sup>14</sup>; семантически — перфект обозначает «состояние в настоящее время, представляемое как результат прошедшего действия» [11, с. 178]; термины грузинской грамматики *turmeobiti*, т. е. категория *turme* «оказывается, что» и *spaxavi akti* «действие, которое сам не видел», подчеркивают типичные способы применения перфекта<sup>15</sup>.

В древних и.е. языках употребление перфекта как высказывания о состоянии вначале ограничивается сферой соответствующих субъектов. Так называемый результирующий перфект как предварительная ступень развития претерита встречается, например, в греческом только в послегомеровскую эпоху, ср. [46]. В противоположность перфекту картвельских языков, и.-с. перфект в период развития отдельных языков проявляет тенденцию к функциональному и формальному совпадению с аористом [28, с. 94 и сл.].

Как картвельская, так и древняя и.-е. видовая оппозиция может быть описана как противопоставление точки и линии: в др.-груз. перфектив соответствует аспекту со значением «прерванности, внезапности, единичности» (*ḡvetili ertbaši ertgzisi aspekti* [47, с. 127])<sup>16</sup>, имперфектив определяется как «аспект со значением протекания, непрерывности» (*gangrǝobiti ucḡveteli aspekti* [47, с. 125])<sup>17</sup>. В картвельских и в древних и.-е. языках перфективный аорист соответствует немаркированному члену бинарной оппозиции видовой системы (ср. также [49, с. 21]), так что описание, данное А. Мейе двум аспектам древнегреческого, применимо и к древнегрузинскому: «...основа презенса обозначает процесс, рассматриваемый в своем развитии, в своей длительности; основа аориста — процесс сам по себе; первый можно обозначить линией, второй — точкой» [50]<sup>18</sup>.

Среди производных от перфективной основы аориста особое место занимает др.-груз. пермансив:

(9) др.-груз. 3-е л. ед. ч. аор. *mo-ḡl-a* «он убил»; перм. *mo-ḡl-is* (с гласным основы *i*), конъюнкт.-фут. II *mo-ḡl-a-s*, императив II *mo-ḡal-n* [8, с. 113 и сл.].

Отнесение пермансива к имперфективному виду [48, с. 79 и сл.; 47, с. 123 и сл.] требует уточнения: под пермансивом понимается древнее значение совершенного вида как в примере (9), которому в видовой оппозиции в качестве несовершенного вида соответствуют категории перман-

<sup>13</sup> О глаголах состояния см. [44].

<sup>14</sup> Здесь можно не рассматривать особое развитие лазского языка, отличающееся экспансией эргативной конструкции (с агенсом в эргативе и пациенсом в неопределенном падеже/номинативе): лазск. аор. *usta-k* (эрг.) *dokodu ozori* (неопр./нсм.) «плотник построил дом» > през. *usta-k ḡodums ozor-i*, перф. *usta-k dokodudoren ozor-i* [13, с. 103].

<sup>15</sup> О сопоставимых категориях в других языках см. [45].

<sup>16</sup> Ср. также [48, с. 77]: «прошедшее совершенное — однократного, точечного, завершенного вида».

<sup>17</sup> Здесь мы не вдаемся в дискуссию об аспекте в новых картвельских языках, когда речь идет о сопоставимом с русским материалом «синтагматическом аспекте» (о термине см. [43, с. 60 и сл.]): видовая оппозиция, базируется на глагольном словообразовании — морфологически сложный глагол со значением будущего времени как перфектив и маркированный член оппозиции, который (в отличие от древнейших точечных функций перфектива, еще сохранившихся в отдельных примерах) указывает на окончание действия: новогруз. *vcer* = русск. *пишу*; новогруз. *da-vcer* = русск. *напишу*, но русск. *перепишу*; груз. *gada-vcer* = русск. *перепишемся*; груз. *vcer* (в подобных приставочных глаголах картвельских языков отсутствует систематическое построение презентных конструкций с имперфективным значением).

<sup>18</sup> Ср. также [49, с. 16]: «Перфективность обозначает взгляд на ситуацию как на единое целое, без различия отдельных фаз, ее составляющих; при имперфективе особое внимание уделяется внутренней структуре ситуации», ср. [51; 52; 47; с. 128].

сивного (или итеративного) презенса и пермансивного имперфекта, вероятно, развившиеся позднее:

(10) 3-е л. ед. ч. перм. през. *klav-n*, 3-е л. мн. ч. *klv-ed*, перм. имперф. 3-е л. ед. ч. *klv-id-i-s*, 3-е л. мн. ч. *klv-id-i-an* [8, с. 108].

Древнейшая функция пермансива — гномическая: «Пермансив выражает общие истины, справедливые безотносительно ко времени, следовательно, встречается в сентенциях и — в соответствии с природой текста — особенно часто в высказываниях о боге» [11, с. 111 и сл.]. Гномическая функция пермансива находит типологическую параллель в гномическом аористе древнегреческого:

(11) ὅς κὲ θεοῖς ἐπιπέθῃται, μάλα τ' ἔκλυον (аор.) (Ил. 1, 218) «Кто послушен богам, того они снова услышат» (в перев. Н. И. Гнедича — «Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют» — примеч. переводчиков)<sup>19</sup>.

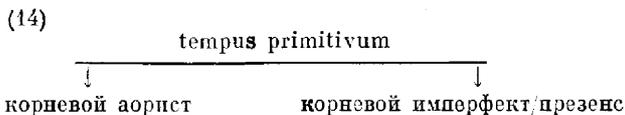
Гномический аорист, в противоположность др.-груз. пермансиву, не является формальным производным основы аориста, а совпадает с ней. Другая функция пермансива — «обозначение обычных действий», «повествование о нравах и обычаях» [11, с. 112], повторение — может привести к взаимозаменяемости с презенсом; ее следует рассматривать в противоположность гномическому употреблению как результат позднейшего развития.

Как показывает пример (10), 3-е л. перм. презенса характеризуется личными окончаниями *-n* (ед. ч.) и *-ed* (мн. ч.), которые употребляются также для образования форм императива и ингибитивного прохибитива 3-го л.:

(12) 3-е л. ед. ч., мн. ч.: императив I *kl-ev-d-i-n*, *klv-id-ed*; императив II *mo-kal-n*, *mo-kl-ed*; ингибитив *Nu iqopin čemda, tumca veziare saktmeta da codvata varskeništa* (Шуш. 3,23 и сл.) «Больше не должно ко мне относиться то, что я участвую в (злых) делах и грехах Варскена»; 2-е л. ингибитива *ni čarseqmed saxlsa amas sadedoplosa* (Шуш. 5,20) «Не разрушай больше этот царственный дом» vs. превентив *ara kac hkla* (Мф. 5,21) «не убивай (человека)».

Видовое деление прохибитива на имперфективный ингибитив (образованный от прохибитивной частицы *ni* + презенс) и перфективный превентив (образованный от отрицания *ara* + конъюнктив отражается и в других картвельских языках<sup>20</sup> и имеет типологические параллели в и.-е. языках, особенно в ведийском:

(13) превентив (*Mā pūnar gāh* (RV, X, 108, 9) «Не возвращайся!») vs. ингибитив *Parehi kṛtye mā tiṣṭhaḥ* «Уйди, колдун, не медли (дольше)!»<sup>21</sup>. Категория, принятая И. Швицером [53, I, с. 645] в качестве исходного пункта возникновения праиндоевропейской видовой системы, так называемое *tempus primitivum*, в той же форме можно реконструировать для пракартвельского:



Процесс дифференциации основ аориста и имперфекта/презенса, описанный Швицером [53, I, с. 640] и Каугиллом [31, с. 35], следует основной формуле: а) от корня перфективной семантики развивается система маркированного имперфекта/презенса; б) напротив (хотя и реже), корень им-

<sup>19</sup> Ср. [53]: «Исходное применение базируется на древнейшем вневременном употреблении аориста».

<sup>20</sup> Ср. [11, с. 153; 54].

<sup>21</sup> Ср. [55]: «В Ведах при прохибитивном отрицании *mā* ... регулярно стоит инъюнктив. Около 4/5 этих инъюнктивов образовано от основы аорист, остальные — от основ презенса или перфекта»; ср. с другой стороны преобладание ингибитивов в славянских языках [56]; в древнеармянском мы находим оппозицию совершенного императива и несовершенного ингибитива: *mi berer* «не неси» vs. *ber* «неси» [17, с. 94, 100].

перфективной семантики развивает маркированную систему аориста:

(15) а) др.-инд. аор. *ádhat* «посадил»: през. *dádhati* греч. (гомер.) аор. βλήτο бросил: през. βάλλω; б) санскр. s- аорист *ávāṭ* «вел, переправлял»: през. *vahati*<sup>22</sup>.

«При формальном тождестве решающую роль играет место в системе: так, архаич. греч. *ἔφα* и *ἔστα* одинаково образованы от глагольных основ *φα* и *στα*, ко *ἔφα* — имперфект, соотносимый с презенсом *φατι*, а *ἔστα* — аорист (как др.-инд. *asthāt*) от презенса *ἵσταται* (с имперфектом *ἵστατο*); *ἔστα* и по значению — только аорист, а *ἔφα* объединяет функции имперфекта и аориста» [53, I, с. 640]<sup>23</sup>.

В других случаях перфективный или имперфективный характер глагольного корня способствует образованию супплетивной парадигмы<sup>24</sup>. Легко привести картвельские параллели этих праиндоевропейских процессов:

(16) а) др.-груз. (сильный корневой) аорист vs. (маркированный) презенс: *b-* «привязывать»: *b-am-*, *kal-* «убивать»: *kl-av-*; *pgar-* «хватать, схватывать»: *pgar-ob-*; б) др.-груз. (сильный корневой) презенс vs. (слабый) аорист: *v-drek* «склоняю, гну»: *v-drik-e*; *v-čmed* «очищаю»: *čgalman gan-čmid-a igi* «вода его очистила».

Супплетивная флексия хорошо засвидетельствована (ср. [57, 58]).

(17) сванский презенс vs. аорист: *i-zb-i* «ест»: *la-l-ēm*; *i-tr-e* «пьет»: *la-iš*, *la-l-āš*; *an-γri* «приходит»: *an-qad*, фут. *ān-qd-en-i*, *an-qed-en-i*.

Что касается структуры имперфекта, то в и.-е. она включает три типа, а в картвельском — только два:

1) В древнейшем типе, засвидетельствованном для греческого и индоиранского, реликты которого можно обнаружить и в армянском, древнеиранском и старославянском, основы имперфекта и презенса совпадают:

(18) *\*(e)bheret* «он нес»: др.-инд. *abharat*, греч. *ἔφερε*, арм. аорист < имперф. *eber*, др.-ирл. *bered* < *\*bhereto*; ст.-слав. аорист < имперф. *ide* «пошел»: презенс *idetъ*.

В сванском, где нет единообразного оформления имперфекта (ср. [59]), этот тип сохранился лишь в остаточном виде<sup>25</sup>:

(19) ед. ч. 1-го, 2-го, 3-го л. през. *ṭwex-en-i* «я возвращаюсь», *ṭex-en-i*, *ṭex-en-i* vs. имперф. *ṭwex-en*, *ṭex-en*, *ṭex-en*.

2) В более позднем типе основа имперфекта образуется от не всегда ясно определяемой базы:

(20) лат. *amā-ba-t*, оскск. *ju-fa-ns* «они были», литов. *darý-dav-o* (ед., дв., мн. число) «делал».

В картвельском (за исключением упомянутого выше сванского) имперфект соответствует этому типу, приведенному к единой форме на *-d* в грузинском, лазском и мегрельском. Древнее зерно этого имперфектного *-d*, возможно, представлено в сванских стативных и метастативных глагольных формах:

<sup>22</sup> Примеры по [31, с. 35]. Что касается *vahati*, то здесь во всяком случае речь идет о тематическом образовании.

<sup>23</sup> Каугилл [31, с. 36] выдвинул относительно анатолийских языков гипотезу, согласно которой имперфективный вид перфективных («предельных») глаголов образуется с помощью именных производных, например, перфектив *\*dheH<sub>1</sub>-t* «посадил»: имперфектив анатол. *\*dhóH<sub>1</sub>-e* (= хеттск. *da-a-i*) vs. и.-е. *\*dhe-dheH<sub>1</sub>-ti* (др.-инд., греч.). Это положение, однако, недостаточно принимает во внимание также засвидетельствованные в хеттском образования основы презенса (ср. [30, с. 564 и сл.; 33, с. 249 и сл.]). Каугилл [31, с. 36] пытается обойти эти сложности с помощью аргумента (вряд ли доказуемого), что эти образования в хеттском «не имеют тенденции становиться видовыми показателями, как в праиндоевропейском, но скорее сохраняют семантическую полнозначность».

<sup>24</sup> Ср., наконец, [41, с. 16], где предлагается три критерия супплетивности глагольной парадигмы в древнегреческом: а) все формы синхронно выступают в (гомеровском) корпусе; б) ни один из ...супплетивных глаголов не появляется в аспективной или временной сфере другого (дополнительное распределение в парадигме); в) лексические (т. е. остающиеся за вычетом грамматически-категориальных компонентов) значения всех форм должны пересекаться.

<sup>25</sup> В верхнебалльском и лентехском диалектах — в непереходных глаголах с аблаутом.

(21) 3-е л. ед. ч. *ar-d* «был», *sgur-d* «сидел», *γar-d* «шел» (диалектн. наряду с *arda*, *sgurda*, *γarda*)<sup>26</sup>.

3) Третий тип, характеризуемый отсутствием различия претерита и имперфекта, в и.-е. ограничен хеттским (и другими анатолийскими языками), а в картвельском, как кажется, вовсе не засвидетельствован. Во всяком случае, хеттский демонстрирует класс итеративов на *-šk-* [60, с. 74 и сл., с. 95], которые могут образовываться «от любой глагольной основы» [60, с. 74] и тем самым в известной степени представляют вариант (архаический) типа 2, но их функции шире функций имперфекта:

(22) *da-* «братъ»: *dašk-* «снова братъ», *pāi-* «даватьъ»: *rešk-* «снова даватьъ» и т. д.

### III. Наклонение.

Если не считать хеттского, в котором категория наклонения ограничена индикативом и императивом, то и в и.-е., и в картвельском языках образование наклонений выходит за рамки двух названных; в и.-е. имеются конъюнктив и оптатив, а также различные футуральные образования; в картвельском — модальные производные от основ аориста и презенса, совпадающие с аспектуально дифференцированным футурумом, — закономерность, которую, возможно, воспринял под картвельским влиянием древнеармянский; в других и.-е. языках (например, латинском и древнеирландском) обнаруживаются параллели к переходу проспективного конъюнктива в футурум [61]. «Основа конъюнктива в и.-е. языке состоит из первичной основы и суффикса *\*-e/o-*, идентичного тематическому гласному по форме и по распределению /e/ и /o/» [62, с. 230]. «Основа оптатива в и.-е. языке-основе состоит из первичной основы и подверженного аблауту суффикса *\*-iēa<sub>1</sub>/iē<sub>2</sub>-* . . . со вторичными окончаниями...» [62, с. 231]. Кроме того, существует спорный по происхождению конъюнктив на *-ā*<sup>27</sup>. Среди картвельских конъюнктивных образований следует рассматривать производные от сильной основы аориста как первичную основу; рефлекс конъюнктива на *e-* имеются во всех картвельских языках [11, с. 149 и сл.]. Сам материал показывает, что конъюнктив на *-a* и конъюнктив на *-i* — более позднего происхождения, не говоря уже о продуктивном образовании от основы на *-o* [11, с. 148]; их возникновение (в результате монофтонгизации) типологически сходно с распространенным конъюнктивом и.-е. тематических глаголов: др.-груз. *\*v-qaw-a* > *\*vqua* > *vgo* «делал» vs. и.-е. *\*bhere-e-t(i)* > *\*bherēt(i)* [63, с. 238]. В более позднем слое с ним соотносим картвельский «имперфектный конъюнктив», или конъюнктив I [11, с. 146]. Особенно четко это выявлено в сванском, где образование конъюнктива I на *de-* предполагает два процесса:

а) развитие картвельского конъюнктива II на *-e* как производного от бессуффиксальной основы аориста сильных аблаутных глаголов:

(23) 3-е л. ед. ч. аор. *adig* «он погасил» vs. 1-е, 2-е, 3-е л. ед. ч., 3-е л. мн. ч. конъюнктива II: *odag-e* (лентехск. *adug-e*), *adag-e*, *adag-e-s*, *adag-e-x* [65, с. 164];

б) экспансию морфемы *-d*<sup>28</sup>, соединившейся с *-e* в *-de*, если только *-de* вообще не перенесено в сванский из грузинско-занского. В случае с конъюнктивом I речь идет о переносе конъюнктива по аналогии с первичной основы на основы презенса и имперфекта. Надежные типологические параллели этому процессу представлены в и.-е.<sup>29</sup>, например:

(24) др.-лат. *advenat* > класс лат. *adveniat* наряду с оскск. *fakiiad*, умбр. *façia*, лат. *faciat* [37, с. 150].

### IV. Выводы.

И.-е. и картвельский выказывают примечательные типологические совпадения в категориях диатезы, вида, времени и наклонения, но не в категориях лица и числа, где картвельский типологически сближается с

<sup>26</sup> Тенденция перенесения морфемы *-d* на сванские имперфектные [классы] относится, конечно, к более позднему времени.

<sup>27</sup> Литературу см. [63, с. 243] и о тохарском — [64].

<sup>28</sup> Ср. выше (21) и примеч. 26.

<sup>29</sup> Ср. [66; 63, с. 239]: «Первоначально для каждого глагола была, вероятно, лишь одна форма конъюнктива».

более древней западнокавказской моделью. В случае с категорией диктаты совпадения видны особенно отчетливо, если для обеих языковых семей исходить из древнейшей эргативной или активной системы, которая объясняет ряд особенностей и в и.-е.: общий vs. средний род, неопределенный падеж, отсутствие в языке-основе пассива, перфект с собственной системой окончаний как древняя конструкция состояния и т. д. Видо-временные категории в обеих языковых семьях базируются на древнейшей категории (*tempus primitivum*), которая в зависимости от семантики глаголов разделилась на а) совершенный аорист vs. б) несовершенный имперфект/презенс. В случае (а) произошло дополнительное развитие маркированной несовершенной основы презенса, в случае (б) — наоборот (хотя и реже) — маркированного совершенного аориста. Др.-груз. пермансив типологически сопоставим с греческим гномическим аористом. Имперфект либо (а) совпадал с основой презенса, либо (б) был маркирован особым способом образования. Тип (а) в и.-е. встречается еще в индоиранском и греческом, а кроме того, хотя и фрагментарно — в старославянском, древнеармянском и древнеирландском, в картвельском этот тип достаточно засвидетельствован в сванском. Что касается склонения, то индикатив и императив засвидетельствованы повсюду; интересное параллельное развитие выказывает прохобитив. Наряду с этим в и.-е., кроме хеттского, существуют образования от первичной основы (конъюнктив, оптатив), типологическую параллель которым в картвельском представляет конъюнктив II. Картвельский конъюнктив I, совпадающий с основой имперфекта, напротив, так же является результатом позднейших трансформаций, как и включенные в систему образований от основы презенса и.-е. презентные конъюнктивы (см. [24]).

Перевели с немецкого *Журиная М. А., Тестелец Я. Г.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Benveniste E.* La classification des langues. — In: *Problèmes de linguistique générale.* Paris, 1966, p. 107 (русск. перев. Классификация языков. — В кн.: *Новое в лингвистике.* Вып. III. М., 1963).
2. *Schmidt K. H.* Zur Typologie des Vorindogermanischen. — In: *Linguistic Reconstruction and Indo-European Syntax.* Ed by Ramat P. Amsterdam, 1980, p. 96.
3. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных. — В кн.: *Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы.* М., 1972.
4. *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemein-indogermanischen Verschlüsse. Vorläufiger Bericht. — *Phonetica*, 1973, 27.
5. *Hopper P. J.* Glottalized and murmured occlusives in Indo-European. — *Glossa*, 1973, 7.
6. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
7. *Schmidt K. H.* Miscellanea Svanica. — В кн.: *Ежегодник иберийско-кавказского языковедения.* Т. IX. Тбилиси, 1982.
8. *Schanidze A.* Grammatik der altgeorgischen Sprache. Tbilisi, 1982.
9. *Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.), с. 430.
10. *Harris A. C.* Georgian and the unaccusative hypothesis. — *Language*, 1982, v. 58, p. 294.
11. *Deeters G.* Das khartwelische Verbum. Leipzig, 1930.
12. *Климов Г. А.* Аномалии эргативности в лазском (чанском) языке. — В кн.: *Восточная филология. IV. Памяти академика Г. В. Церетели.* Тбилиси, 1976.
13. *Чикобава А. С.* Грамматический анализ чанского диалекта с текстами. Тбилиси, 1936 (на груз. яз.).
14. *Климов Г. А.* К эргативной конструкции предложения в занском языке. — В кн.: *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов.* Под ред. Жирмунского В. М. Л., 1967.
15. *Trost K.* Die Perfektperiphrase im Altkirchenslavischen und Altarmenischen. Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax. — *IF*, 1968, 73, S. 107.
16. *Schmidt K. H.* Perfekt, Haben und Übergang von Ergativ- zu Nominativ-Konstruktion im Armenischen und Südkaukasischen. — *Revue de Kartvelologie Bedi Kartlisa*, 1982, 40, p. 286f.
17. *Jensen H.* Altarmenische Grammatik. Heidelberg, 1959.
18. *Deeters G.* Die Stellung der Khartwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen. — *Revue de Kartvelologie Bedi Kartlisa*, 1957, 23, p. 15.

19. *Deeters G.* Die kaukasischen Sprachen.— In: Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. 7. Bd. Leiden/Köln, 1963, S. 59.
20. *Schmidt K. H.* Probleme der Typologie (Indogermanisch/Kaukasisch).— In: *Home-naje a Antonio Tovar.* Madrid, 1972.
21. *Розаса Г. В., Керашева З. И.* Грамматика адыгейского языка. Краснодар — Майкоп, 1966.
22. *Martinet A.* A Functional view of language. Oxford, 1962, p. 22.
23. *Schmidt K. H.* Probleme der Ergativkonstruktion.— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1977, 36 (на англ. яз.: *Schmidt K. H.* Reconstructing Active and Ergative Stages of Pre-Indo-European.— In: *Ergativity. Towards a theory of gram-matical relations.* Ed. by Plank F. London, 1979).
24. *Schmidt K. H.* Zur Vorgeschichte des indogermanischen Genus-systems.— In: *Festschrift für Oswald Szemerényi on the Occasion of his 65-th Birthday.* II. Ed. by Brogyani B. Amsterdam, 1979.
25. *Schmidt K. H.* Ergativkonstruktion und Aspekt.— In: *Studia Linguistica in hono-rem Vladimiri I. Georgiev.* Sofia, 1980.
26. *Schmidt K. H.* Casus indefinitus bei Eigennamen.— *Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa*, 1980, 38.
27. *Schmidt K. H.* Kaukasische Typologie als Hilfsmittel für die Rekonstruktion des Vorindogermanischen.— *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.* Vorträge und kleinere Schriften, 1983, 31.
28. *Kurylowicz J.* The Inflectional Categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
29. *Schmidt K. H.* Die vorgeschichtlichen Grundlagen der Kategorie «Perfekt» im Indo-germanischen und Südkaukasischen.— В кн.: Арнольд Степанович Чикобава. Сборник, посвященный 80-летию со дня рождения. Тбилиси, 1979, с. 89 и сл.
30. *Cowgill W.* More Evidence for Indo-Hittite: The Tense-Aspect System.— In: *Pro-ceedings of the Eleventh International Congress of Linguists.* II. Ed. by Heilmann L. Bologna, 1974.
31. *Cowgill W.* Anatolian *hi*-Conjugation and Indo-European Perfect. Instalment II.— In: *Hethitisch und Indogermanisch.* Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.
32. *Eichner H.* Die Vorgeschichte des hethitischen Verbalsystems.— In: *Flexion und Wortbildung.* Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
33. *Risch E.* Zur Entstehung des hethitischen Verbalparadigmas.— In: *Flexion und Wortbildung.* Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Hrsg. von Rix H. Wiesbaden, 1975.
34. *Neu E.* Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems.— In: *Studies in Greek, Italic, and Indo-European Linguistics.* Offered to L. R. Palmer on the Occasion of his Seventieth Birthday. Innsbruck, 1976.
35. *Oettinger N.* Der indogermanische Stativ.— *Münchener Studien zur Sprachwissen-schaft.* 1976, 34.
36. *Meid W.* Keltisches und indogermanisches Verbalsystem.— In: *Indogermanisch und Keltisch.* Wiesbaden, 1977.
37. *Rix H.* Das keltische Verbalsystem auf dem Hintergrund des indo-iranisch-grie-chischen Rekonstruktionsmodells.— In: *Indogermanisch und Keltisch.*
38. *Иванов В. В.* Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропей-ские истоки. М., 1981, с. 46 и сл.
39. *Schmidt K. H.* Zum Passivum im Georgischen und in indogermanischen Sprachen.— *Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa*, 1962, 13—14.
40. *Schmidt K. H.* Indogermanisches Medium und Sataviso im Georgischen.— *Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa*, 1965, 19—20 (на груз. языке: Индоевропейский медиум и субъектная версия в грузинском языке.— *Мимомхилвели*, 6—9, Тби-лиси, 1972).
41. *Strunk K.* Überlegungen zu Defektivität und Suppletion im Griechischen und In-dogermanischen.— *Glotta*, 1977, 55.
42. *Schmidt K. H.* Zur Syntax des Kausativums im Georgischen und in indogermanischen Sprachen.— *Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa.* 1966, 21—22. Paris.
43. *Holt J.* Etudes d'aspect.— *Acta Jutlandica.* Aarskrift for Aarhus Universitet. 1943, XV, 2.
44. *Шанидзе А. Г.* Основы грамматики грузинского языка. I. Морфология. 2-е изд. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.), с. 265.
45. *Lohmann J.* Ist das idg. Perfektum nominalen Ursprungs?— *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung* auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begr. von A. Kuhn, 1937, 64.
46. *Schwyzler J.* Studien zum griechischen Perfektum.— In: *Programm zum akademischen Freisverteilung.* Göttingen, 1904.— In: *Kleine Schriften*, Bd. 2. Göttingen, 1953.
47. *Мачавариани Г. И.* Категория вида в картвельских языках.— В кн.: Вопросы структуры картвельских языков. Вып. 4. Посвящается памяти акад. АН ГССР В. Т. Топуриа. Тбилиси, 1974 (на груз. яз.).
48. *Чикобава А. С.* Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1948 (на груз. яз.).
49. *Comrie B.* Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and related prob-lems. Cambridge, 1976.
50. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. Paris, 1903 = Alabama, Copur. 1964; 4th ed., 1969, p. 249 (русск. перев.— *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.— Л., 1938).

51. *Gonda J.* The Aspectual Function of the R̥gvedic Present and Aorist. 's-Gravenhage, 1962, p. 19f.
52. *Schmidt K. H.* Zu den Aspekten im Georgischen und in indogermanischen Sprachen.— *Revue de Kartvéologie Bedi Kartlisa*, 1963, 15—16, S. 107—115.
53. *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. I. 2. Aufl. München, 1953. II (Hrsg. von A. Debrunner). München, 1950, S. 285.— *Handbuch der Altertumswissenschaft*. 2.1.1., 2.1.2.
54. *Schmidt K. H.* Probleme des Prohibitivsatzes.— In: *Studia Classica et Orientalia A. Pagliaro oblata*. V. III. Roma, 1969.
55. *Hoffmann K.* Der Injunktiv im Veda. Heidelberg, 1967, S. 45, 78, 43.
56. *Galton H.* The Main Functions of the Slavic Verbal Aspect. Skopje, 1976, p. 234—238.
57. *Кастарадзе И. И.* К истории основных грамматических категорий глагола в древнегрузинском языке. Тбилиси, 1954 (на груз. яз.).
58. *Гагуа К.* Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
59. *Мачавариани Г. И.* Прошедшее несовершенное в сванском языке и его место в системе спряжения картвельских языков.— *ИГЯ*, 1980, т. XXII (на груз. яз.).
60. *Friedrich J.* Hethitisches Elementarbuch. 1. Tl. Kurzgefasste Grammatik. Heidelberg, 1960.
61. *Schmidt K. H.* Konjunktiv und Futurum im Georgischen und in indogermanischen Sprachen.— *Revue de Kartvéologie Bedi Kartlisa*, 1964, 17—18.
62. *Rix H.* Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. Darmstadt, 1976.
63. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970 (русск. перев.— *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980).
64. *Schmidt K. T.* Spuren tiefstufiger *set*-Wurzeln im tocharischen Verbalsystem.— In: *Serta Indogermanica*. Festschrift für Günter Neumann. Hrsg. von Tischler J. Innsbruck, 1982, S. 366.
65. *Топура В. Т.* Труды. I. Тбилиси, 1967, с. 164.
66. *Renou L.* A propos du subjonctif védique.— *BSLP*, 1932.

ВЕРНЕР Г. К.

ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Наименее разработанной областью енисейских языков, несомненно, является синтаксис. Имеется лишь две специальные диссертационные работы по данной проблеме [1, 2] и ряд статей [3—6], выполненных в терминах традиционного понятийного аппарата описания на уровне членов предложения. Вопросы типологии енисейского предложения, кроме одной статьи общего характера [7], не исследовались в должной мере, а между тем именно типологическая характеристика позволяет раскрыть и понять специфику енисейского синтаксиса. Предлагаемая статья посвящена типологии элементарного предложения в кетском, югском и коттском языках.

Исходя из характеристики ядра енисейского предложения (предиката и его актантов), можно заключить, что синтаксической доминантой предложения в кетском, югском и коттском языках является финитное глагольное сказуемое, которое в соответствии с ранговой квалификацией членов предложения обладает рангом первой величины. Его специфика определяется наличием в енисейских языках классно-личного субъектно-объектного спряжения, в силу которого финитное глагольное сказуемое уже само по себе представляет минимальную модель предложения, а именные члены конкретизируют различные глагольные показатели [8, с. 196]; в глагольной словоформе наблюдается, таким образом, тенденция к отражению в ее составе всех элементов предложения: югск. *t-fallax-atindaxn* «они-его-(руками) схватили», ср.: югск. *d'eʔq baŋgal t-fallax-atindaxn* «люди осетра (руками) схватили». В целом лексическая наполняемость енисейского простого предложения, прежде всего число актантов при предикате, определяется содержательной валентностью глагола; ею же задается и синтаксическая структура соответствующего предложения, однако последний вопрос осложняется тем, что до сих пор нет единого мнения относительно места енисейского языкового типа в типологической классификации языков (по схеме, данной в [9]; т. е. не установлено, в какой мере соотносятся в енисейских языках черты номинативности и эргативности, а также реликтовые черты активного строя). Решение этого вопроса затрудняется следующими обстоятельствами: (1) енисейские языки обнаруживают большое многообразие типов глагольного спряжения [10, 11], выражающееся в первую очередь в различных комбинациях субъектно-объектных глагольных показателей серии Б и серии Д [12]; (2) позиционные падежи не получают в енисейских языках формального выражения на морфологическом уровне, и кодирование актантов осуществляется поэтому прежде всего при помощи их согласования с предикатом; (3) относясь в соответствии с формально-типологической классификацией языков к языкам полисинтетическо-агглютинативным [13], енисейские языки, особенно кетский и югский, широко используют в глагольной морфологии как префиксацию, так и инфиксацию с суффиксацией [14], что осложняет общую схему кодирования актантов предиката. В данных условиях необходимо было в качестве первого шага по преодолению многообразия енисейского глагольного формообразования разработать морфологическую классификацию глагольных слов. Эту задачу попытался решить Е. А. Крейнович, положивший в основу такой классификации типы глагольных основ. Автор предложил различать в кетском языке: (1) тип глаголов, имеющих непрерывную корневую основу в конце

слова; (2) тип глаголов, имеющих сложную прерывную основу, образованную двумя корневыми морфемами; (3) тип глаголов, имеющих простую прерывную основу с корневой морфемой в начале слова и деривационной морфемой в конце; (4) тип глаголов, имеющих простую прерывную основу с деривационной морфемой в начале слова и корневой морфемой в конце [15, с. 11—13]. «Глаголы с основой в конце слова представляют собой... наиболее ранний и наиболее древний тип глаголов кетского языка. Только став на эту точку зрения, можно представить себе, как развивались другие типы глаголов этого языка» [15, с. 97]. Думается поэтому, что именно этот тип глаголов как в кетском, так и в других енисейских языках, представляет наибольший интерес для определения типологического состояния енисейских языков.

Глагольные формы с непрерывной корневой основой в конце слова в кетском и югском языках неоднородны. Среди них различаются: (1) формы с субъектными показателями Б: югск. *bo-ade* «иду, пойду», *bo-o:nde* «пошел»; (2) формы с субъектными показателями Д: югск. *di-fyn* «стою», *d-o:rfyn* «стоял»; (3) формы с теми и другими субъектными показателями одновременно: югск. *di-ba: -ŋso* «я-смотрю», *di-ba-ŋero* «я-смотрел»; (4) формы с двумя субъектными показателями Д одновременно: кет. *di-d-duk* «я-подвинусь», *di-l'-di-duk* «я-подвинулся»; (5) формы с субъектными показателями Б и объектными Д: кет. *ba-ŋa-v-uk* «в меня (искра) влетит» < «мое-влетание-этого (искры)», где *-v-* — объектный показатель вещного класса, югск. *ba-xu-b-der* «ношу-это (одежду)»; (6) формы с субъектными показателями Д и объектными показателями Б: югск. *d-ba-tuŋ* «он-меня-видит»; (7) формы, имеющие в своем составе субъектные и объектные показатели Д: югск. *du-t-tet* «он-меня-бьет», *d-in-di-tet* «он-меня-бил»; (8) формы, имеющие в своем составе субъектные показатели Д + Б и объектные показатели Д: югск. *di-bo-bb-xos* «я-понесу-это», *di-bu-ddi-xos* «он-понесет-меня»; (9) формы, имеющие в своем составе субъектные показатели Д + Б и объектные показатели Б: югск. *d-bu-a-xos* «он-понесет-его». Не зафиксированы лишь формы, в которых в качестве и субъектных и объектных выступают показатели Б. В целом получаем, таким образом, 9 типов форм глаголов с основой в конце слова, которые в зависимости от комбинации показателей Б и Д можно словно представить в следующем виде:

Одноместные предикаты

Д ————— 0  
 Б ————— 0  
 Д + Б ——— 0  
 Д + Д ——— 0

Двухместные предикаты

Д ————— Д  
 Б ————— Д  
 Д ————— Б  
 Д + Б ——— Д  
 Д + Б ——— Б

Само собой разумеется, что прежде чем говорить об элементарных предложениях, структура которых задается данными типами предикатов, необходимо внести ясность в характер соответствующих глагольных форм, определить сходство и различие в их семантике.

В современных енисейских языках — кетском и югском — показатели Б и Д могут выступать как в роли субъектных, так и в роли объектных [8, с. 210]; порой они свободно взаимозаменяются, например, южн.-кет. *en-ba-s'uk* ~ *en-di-s'uk* «я-забуду». Факты подобной функциональной неотдифференцированности глагольных форм с показателями Б и Д уже сами по себе позволяют предполагать, что различие между ними связано с определенными реликтовыми явлениями в морфологии глагола. Опираясь на материальное сходство показателей Б ряда *ba-a-i* с формантами род. падежа имени и местоимений, с одной стороны, и показателей Д ряда *di-du-da* с предикативными суффиксами ед. числа *-di?*, *-du?*, *-da?*, с другой, мы выдвинули в свое время предположение о том, что в основе различия между показателями Б и Д лежала оппозиция активный : инактивный, отражавшая активное состояние енисейских языков в прошлом [7, с. 38—39]: показателями Б оформлялись активные глаголы, а показателями Д — стативные, выражавшие то или иное состояние субъекта. С изменениями

в типологическом состоянии енисейских языков происходит переосмысление показателей Б и Д. Продуктивными остаются фактически только модели с показателями Д, что снимает всякие ограничения на участие показателей Д в глагольном формообразовании: они могут теперь в субъектной функции оформлять любые глаголы независимо от семантики<sup>1</sup>.

Ряды показателей Д в целом однотипны: только в двух рядах инфиксов они во мн. числе совпадают с показателями Б, а в ед. числе в 3-м лице муж. и жен. классов либо вообще отсутствуют, либо совпадают с показателями Б [15, с. 23].

Иную картину обнаруживаем в серии показателей Б: здесь отчетливо различаются четыре ряда: *ba-a-i*, *bo-o-u*, *ba-bu-bu*, *bo-bu-bu* [15, с. 23] (нами приведены здесь показатели 1-го и 3-го лица ед. числа муж. и жен. классов), среди которых выделяются ряды *ba* и ряды *bo*. Изученные нами факты современных енисейских языков позволяют выдвинуть предположение о том, что в свое время, при активном типологическом состоянии енисейских языков в прошлом, основу различий между этими рядами составляли явления версионного характера. Примеры типа южн.-кет. *ba-tsaq* «сбегаю (туда и назад)» — *bo-ŷävitn* «выбегу, убегу», югск. *ba-ksa:r* «ночую» — *bo-ade* «пойду», южн.-кет. *ej-vä-gboRus* «вскочу» — югск. *bo-gojbej* «я-улетел», южн.-кет. *ba-ŷävuk* «влетит в меня [искра]» (букв. «я-это-влетит» или: «мое-влетание-этого») — *bo-ks'ivij* «уносит-меня-ветром» (букв. «я-несет-ветер») и др. до сих пор сохраняют черты этих различий, суть которых состояла в наличии оппозиции центростремительной и центробежной версий. Центростремительные версионные формы (с показателями рядов *ba*) обозначали действие, замкнутое на активном актанте или происходящее на месте его пребывания, центробежные же версионные формы (с показателями рядов *bo*), напротив, обозначали действие, направленное за пределы активного актанта или от места его пребывания.

Поскольку семантической детерминантой активного строя является противопоставление активного и инактивного начал в отличие от агентивно-фактитивной детерминанты языков эргативного строя и субъектно-объектной — языков номинативного строя [16; 11, с. 45—47; 17, с. 80], то на рассматриваемой стадии развития енисейских языков в них, понятно, еще не выразались, во всяком случае эксплицитно, субъектно-объектные отношения. С появлением признаков выражения этих отношений, что было связано с перестройкой енисейского языкового типа, с развитием в енисейских языках черт номинативности (возможно, под воздействием окружающих номинативных алтайских и самодийских языков) исконная оппозиция центростремительной и центробежной версий начинает переосмысляться: если у интранзитивных глаголов версионные показатели рядов *ba* по-прежнему обнаруживают в качестве семантического инварианта замкнутость действия в его носителе (например, южн.-кет. *ba-ŷsuRo* «смотрю», *ba-tavaRo* «соглашусь», *ba-ttok* «вздвогну», югск. *a:b-ba-čaxan* «потею», *sig-ba-ta:x* «рожусь» и т. д.), а показатели рядов *bo* — указание на направленность действия за пределы места пребывания его носителя (югск. *bo-gojbej* «я-улетел», южн.-кет. *dataj-bo-ks'a* «скачусь», югск. *bo-ksyxy:n'* «несет меня/уносит меня течением» и т. д.)<sup>2</sup>, то в структуре транзитивных глаголов эти же показатели в роли объектных получают дополнительные оттенки значения: за редким исключением, показатели рядов *ba* встречаются тогда, когда действие, направленное на объект, совершается прежде всего в интересах производителя действия, тогда как при наличии показателей рядов *bo* внимание скорей заостряется на объекте действия безотносительно к позиции производителя действия. Сравним следующие

<sup>1</sup> Полагаем, что случаи отбрасывания субъектных показателей Д, кроме ряда *di-du-dl* и показателя 3-го лица жен. класса *da* в других рядах в кетском языке, особенно в южнокетском диалекте, являются поздней инновацией.

<sup>2</sup> Сходное различие сохраняют эти показатели в структуре переходных глаголов, когда выступают в роли субъектных, ср. югск. *ba-xybder* «я-ношу-это (одежду)» — *di-bo-bbyn* «я-несу-это» (во втором примере к показателю *-bo-* префигируется еще дополнительно показатель *di-* серии Д).

примеры (южн.-кет.):

	Формы с <i>ba</i>		Формы с <i>bo</i>
<i>daŋ-ba-γsit</i>	«он-меня привяжет»	<i>syŋ-bo-γāvāt</i>	«он-меня завязывает»
<i>ba-ss'ivil'</i>	«меня-он-догонит»	<i>sug-bo-ksuRut</i>	«встретит-он-меня»
<i>ba-γistog</i>	«на-меня-он-набросится»	<i>bo-gdāptāŋ</i>	«меня-тащит (на нарте)»
<i>ba-γivraq</i>	«в меня-он-выстрелит»	<i>bo-gbitaŋ</i>	«меня-венчает»
<i>ba-lāptāt</i>	«пристает-он-ко мне»	<i>det-bo-ksuRo</i>	«меня-он-лечит»
<i>ba-tpi</i>	«он-меня-спросит»	<i>dataj-bo-ks'a</i>	«он-меня-скатит»
<i>ba-γar'o</i>	«он-на меня-смотрит»	<i>dil'ubit-bo-aget</i>	«любит-он-меня» п. т. д.

Приведенные факты напоминают в известной мере типологически сходное явление в картвельских языках, различающих субъектную и объектную версии [11, с. 152—154; 18, с. 170], тем более, что показатели ряда *ba-a-i*, оформляющие формы субъектной версии, совпадают с притяжательными префиксами имени и показателями род. падежа, т. е. показателями, выражающими обладание и принадлежность. Интересно отметить некоторое материальное сходство между кетско-югскими показателями ряда *ba-a-i* (субъектная версия) и ряда *bo-o-u* (объектная версия) (югск.):

<i>d-ba-tuŋ</i>	«он-меня-видит»	<i>di-l'ubit-bo-aget</i>	«он-меня-любит»
<i>d-a-tuŋ</i>	«он-его-видит»	<i>di-l'ubit-o-aget</i>	«он-его-любит»
<i>d-i-tuŋ</i>	«он-ее-видит»	<i>di-l'ubit-u-aget</i>	«он-ее-любит» —

и показателями *i* (субъектная версия), *u* (объектная версия) в груз. примерах типа *mezobel-i saxb-s išeneb-s* «сосед строит дом для себя», *tata saxb-s ušeneb-s švil-s* «отец дом строит для сына» [18, с. 170].

В связи с тем, что глагольные показатели Б исторически связаны с формой род. <sup>3</sup> (т. е. активного [19, с. 30]) падежа и оформляли активные глаголы [7, с. 38], их появление в объектной функции не увязывается с категорией транзитивности; из этого может следовать вывод, что эти глаголы, даже если они выражали действие, направленное на объект, не были исторически переходными глаголами в строгом смысле этого слова [20], и при решении вопроса о транзитивности енисейских глаголов и, соответственно, вопроса об эргативном прошлом енисейских языков [21] следует поэтому исходить прежде всего из глагольных форм с субъектными и объектными показателями Д, восходящими к форме основного падежа соответствующих личных местоимений [19, с. 30—31].

Большинство современных кетских и югских непереходных глаголов, в том числе простых глаголов с основой в конце слова, оформлено субъектными показателями Д (югск. *di:-jo* «умру», *di:-jut'* «шаманю», *di-toŋ* «вижу», *di-jadaŋ* «живу», *di-jax* «схожу», ср.-кет. *d-e:s'ij* «кричу», южн.-кет. *di-ren* «плачу», *di-loŋ* «трясусь», *di-jaRa* «торгую» и т. д.). В объектной функции показатели Д встречаются только в 1-м и 2-м лице ед. числа и в 3-м лице ед. числа вещного класса, например: югск. *du-di-čay* «он-меня-тащит (волоком)», *du-b-čay* «он-это-тащит (волоком)», *d-kor-d-ε'it'* «он-меня-гнал», *di-in-d-tet* «он-меня-бил», *di-b-tet* «я-это-бью», южн.-кет. *du-r-is'* «он-меня-оденет», *du-t-ta:n* «он-меня-одеясывает», *di-v-git* «он-это-ищет» и т. д. Именно данные формы можно исторически считать собственно переходными, и только такие формы позволяют говорить о некоторых чертах эргативности в енисейских языках в историческом плане, так как показатель объекта в этих переходных формах совпадает с показателем субъекта в непереходных формах, ср. югск. *di-jadaŋ* «я-живу», *du-di-čay*

<sup>3</sup> Точка зрения Е. А. Крейновича, согласно которой в енисейских языках, в частности в кетском и югском, нет родительного падежа [15, с. 130], нам представляется совершенно не обоснованной (ср. [7, с. 43]).

«он-меня-тащит (волоком)». Хотя в кетском и югском языках подлежащее при таких парах предикатов имеет совершенно одинаковое падежное оформление (югск. *bu xetraj duadax* «он с женой живет», *bu at dudičay* «он меня тащит»), использование одних и тех же показателей Д в качестве объектных у глаголов непереходной семантики и в качестве объектных (1-е лицо ед. числа) у глаголов переходной семантики напоминает ситуацию в эргативных абхазском и абазинском языках [22, с. 12], с той лишь разницей, что у глагола переходной семантики при объектном показателе Д появляется в этих языках субъектный показатель Л, выполняющий синтаксическую функцию эргативного падежа [22, с. 13—15]. Функции, выполняемые в таких случаях в абхазском языке показателем Л, могли бы в кетском и югском языках выполнять показатели Б, но единичные формы типа югск. *ba-xu-b-der* «ношу-это (одежду)», южн.-кет. *ba-γä-v-uk* «в меня (искра) влетит» в этом отношении не показательны. Тем не менее наличие в современных енисейских языках — кетском и югском — форм типа *di-jadax* «я-живу» и *du-di-čay* «он-меня-тащит» напоминают эргативное состояние абхазского языка<sup>4</sup>. Подобная тенденция в развитии енисейских языков не приобрела, однако, устойчивого характера вследствие более интенсивного развития черт номинативности. Тот факт, что в современных енисейских языках доминируют черты номинативности, подтверждается, кроме всего прочего: (а) смещенностью агента в главную синтаксическую позицию [17, с. 90], согласующейся с явной субъектной ориентированностью парадигматических элементов в структуре глагольных слов, особенно в югском языке; в этом отношении следует отметить наличие четких рядов субъектных показателей, включая и последовательное выражение неодушевленного субъекта 3-го лица; (б) стиранием прежних различий между глагольными словоформами, оформленными показателями Б и Д; это подтверждается не только колебаниями типа югск. *d-ba-gato:š//du-t-to:š* «он-меня-воспитывает», южн.-кет. *en-ba-s'uk//en-di-s'uk* «забуду», но и наличием целых парадигм спряжения типа

<i>di-γar'o</i>	«смотрю»	<i>ba-γsuRo</i>	«смотрю»
<i>ku-γar'o</i>	«смотришь»	<i>ku-γsuRo</i>	«смотришь»
<i>du-γar'o</i>	«он-смотрит»	<i>bu-γsuRo</i>	«он-смотрит» и т. д.

(в) употребление не оформленного объектными показателями глагола в роли транзитивного (*saRijis'ay baysu Ro* «гнездо белки высматриваю» [15, с. 87], югск. *ad ir bʔn' pade* «я песню не знаю») при употреблении транзитивного глагола, наоборот, в роли интранзитивного (*dbaysuRo*, *bʔn' dituy* «смотрю, но не вижу» [15, с. 87]); (г) оформление прямого объекта формой основного падежа при использовании в соответствующей глагольной форме объектного показателя серии Б, а не Д (югск. *čib at dasay-ba-tona:x* «собака меня узнала»); (д) появление в кетском языке конструкций типа *l'aʔm abäbät* «стол вытирается (кем-то)» из *at l'aʔm dabbät* «я стол вытираю», указывающих на возможность пассивного преобразования, при котором наблюдается переход в позицию подлежащего лексемы из ликвидированной позиции прямого дополнения (с элиминацией агента), причем лексема, перешедшая из позиции прямого дополнения в позицию подлежащего, занимает маргинальную левую позицию в предложении (т. е. при активной конструкции эту позицию занимает агент, а при пассивной пациенс)<sup>5</sup>. В пользу выдвинутого тезиса о доминирующем характере номинативного компонента в строе современных енисейских языков можно привести еще много фактов, находящихся на лексическом, синтаксическом и морфологическом уровнях (они более подробно рассмотрены нами в специальной статье), но самый важный аргумент состоит в том, что

<sup>4</sup> Правда, в кетском и югском языках, в отличие от абхазского, имеется развитая система склонения, но наличие эргативного состояния типа абхазского не предполагает неперемещения отсутствия падежной системы [23].

<sup>5</sup> Еще более показательны в данном случае примеры типа *qimn duniγ dovil'dan* «женщины дымокуры положили», но: *duniγ davär'ij qimna l'aγynas'* «дымокуры положены женскими руками» [15, с. 250].

современный енисейский языковой тип ориентирован на передачу субъектно-объектных отношений, о чем свидетельствует отмеченная в кетском и югском языках категория транзитивности-интранзитивности [10, с. 140; 15, с. 9], а это как раз является семантической детерминантой номинативного строя языка. Из этого следует, что различия между глагольными формами, оформленными показателями Б и Д, носят в целом реликтовый характер; эта общая посылка и является для нас определяющей при рассмотрении вопроса о типологии элементарного предложения в современных енисейских языках. Ниже рассмотрим предложения с указанными 9 типами предикатов.

1) Одноместные предикаты с субъектными показателями Д, несомненно, образуют номинативную конструкцию предложения. Соответствующие глагольные лексемы называются состояния или процессы, которые протекают при участии только их носителя, т. е. не выходят из сферы субъекта [24, с. 30]: югск. *at di:ty:r* «я мерзну», *at di:d'e* «я плачу», *at dijfuɣ* «я опускаю».

2) Точно такую же конструкцию предложения образуют и одноместные предикаты, оформленные показателями Б (югск. *at boor:de* «я шел», *at bagynsa:r* «я ночевал», южн.-кет. *bu oks'iRin* «он//его течением несет»); подлежащие при них, как и при предикатах, оформленных показателями Д, получают форму основного падежа, и, таким образом, только морфология сохранила старое понимание этих глагольных форм как активных (ср. сходное переосмысление значения глагольных форм в картвельских языках [18, с. 169]). Число подобных одноместных предикатов в кетском и югском языках невелико, и данная модель занимает в системе этих языков периферийное положение.

3) Сложнее вопрос с моделями Д+Б — ∅ и Д+Д — ∅, которые также причислены к моделям с одноместными предикатами. Так, сравнивая примеры типа кет. *taɣaj-bu-ks'a* (<*d-taɣaj-bu-ks'a*) «он-потянется» и *taɣaj-o-ks'a* (<*d-taɣaj-o-ks'a*) «его-потянет (кто-то)», Е. А. Крейнович противопоставляет их соответственно как непереходную и переходную формы [15, с. 225]. Можно предполагать, что формы типа Д+Б — ∅ поначалу указывали на то, что действие совершается субъектом над самим собой (рефлексивные формы), и примеры, типа южн.-кет. *da-tuyun'-bu-tayit* «она-причесывается» (но: [*d*]-*tuyun'-i-tayit* «он-ее-причесывает») еще хорошо сохранили это исконное значение. Несомненно, такого же происхождения и формы типа кет. *da-bu-ns'ivil'* «она-вздрыгнет», *da-bu-ɣsoRo* «она-смотрит» («всматривается»), югск. *d-bu-ttoɣ* «он-вскочит», кет. *da-bu-tsaq* «она-сбегает» («пробежится туда и назад») и т. д. Подлежащее при таких предикатах всегда оформлено основным падежом.

4) То же самое можно сказать о предикатах, оформленных по схеме Д+Д — ∅, но с той разницей, что они встречаются лишь в 1-м и 2-м лице ед. числа<sup>6</sup> (южн.-кет. *di-d-duk* «я-подвинусь», *d-il'-di-ruk* «я-подвинулся», *ku-ɣu-ruk//ku-ɣ-ruk* «ты-подвинешься», *k-il'-ɣu-ruk* «ты-подвинулся», югск. *d-ir-di-si'ɣ* («я-обулся», *k-ir-gi-si'ɣ* «ты-обулся» и т. д.), а также в 3-м лице вещного класса (югск. *bi-m-b-ata* «слышится-это», *bi-m-b-e* «делается-это» [10, с. 262], *bi-m-b-a-xo:r* «заживает-это» < «заживляется-это»; *tuda l'es-diɣɣ:r bim-bata* «это из леса слышится»).

По своему морфологическому оформлению подобные одноместные предикаты ничем не отличаются от двухместных, ср. югск. парадигмы:

<i>di-t-si'ɣ</i>	«обуваюсь»	<i>du-t-si'ɣ</i>	«он-меня-обувает»
<i>ku-k-si'ɣ</i>	«обуваешься»	<i>du-k-si'ɣ</i>	«он-те(я)-обувает» и т. д.;

но лексическая наполняемость соответствующих предложений совершенно различна, ср.: *at di-t-si'ɣ* «я обуваюсь» — *bu at du-t-si'ɣ* «он меня обувает».

<sup>6</sup> Показатели 2-го лица ед. числа однотипны во всех рядах показателей Д и Б см. [15, с. 23]; поскольку модель Б+Б — ∅ нами не зафиксирована в енисейских языках, то формы 2-го лица типа югск. *ku-k-si'ɣ* «обуешься», оформленные по тому же принципу, что и формы 1-го лица типа *di-t-si'ɣ* < *di-di-si'ɣ* «обуюсь», следует относить к модели Д+Д — ∅.

5) К модели Д—Д относятся типичные двухместные предикаты, которые имеют при себе субъект и прямой объект, оформленные основным падежом, причем в роли прямого объекта могут выступать только личные местоимения 1-го и 2-го лица ед. числа и имена вещного класса: югск. *baxat oksy di:ptiŋ* «старик палку крутит», *op at dudibak* «отец меня найдёт», *bu u dukto:š* «он тебя воспитывает».

В связи с реализацией в предложениях подобного типа актантов двухместного предиката возникает проблема позиционных падежей в кетском и югском языках. Приведенные примеры показывают, что кодирование актантов осуществляется при помощи согласования с предикатом, имеющим субъектные и объектные показатели. Важно при этом отметить, что порядок расположения этих показателей в составе словоформ простых глаголов с основой в конце слова точно соответствует порядку расположения именных членов данных предложений. Этот порядок можно представить в виде общей схемы S—O—V: югск. *at u di-k-to:s* «я тебя воспитываю».

Разумеется, порядок слов в кетском и югском предложении может варьироваться в зависимости от различного актуального членения предложения [25, 26], но в обычной ситуации подлежащее занимает маргинальную левую, а сказуемое — маргинальную правую позицию: между ними, непосредственно перед сказуемым, располагается прямой объект.

Таким образом, хотя позиционные падежи — номинатив и аккузатив — в плане выражения на уровне морфологии совпадают в так называемом основном падеже, на синтаксическом уровне эта падежная оппозиция может быть выражена посредством порядка слов именных членов предложения. Мы исходим, следовательно, из того, что предложения модели Д—Д имеют в основе своей номинативную конструкцию, хотя по особенностям субъектно-объектного оформления соответствующих предикатов приближаются к эргативному построению.

6) Как уже отмечалось выше, к эргативной конструкции типа абхазской очень близка кетско-югская модель предложения Б—Д, предикаты которой имеют субъектные показатели Б и объектные Д, причем в роли объекта нами отмечены лишь имена класса вещей: югск. *at suiŋat ba-xu-b-der* «я рубашку ношу». Данная модель представлена немногими примерами и может рассматриваться как архаизм. Заметим, что по формальному оформлению к этой модели должны бы относиться и предикаты, представляющие собой финитные формы глагола «слышать», но объект при таких предикатах оформлен не основным, а исходным падежом: *at ugaŋu:r ba-ga-b-de* «я тебя слышу». Это объясняется тем, что такие формы, поначалу имевшие значение «я это от тебя слышу», о чем свидетельствует показатель класса вещей *-b-* в составе глагольной словоформы, были позднее переосмыслены по образцу предикатов типа югск. *aseradiŋu:r u xoskide* «кого ты боишься?» (букв. «от кого ты боишься?»), хотя переводятся на русский язык как формы переходного глагола. Подобное же несоответствие между русскими и кетскими глаголами наблюдаем в случаях типа югск. *at dibad'is daŋ//budaŋ* «я ругаю его», *at dibad'is diŋ//budiŋ* «я ругаю ее», *at disaŋsygit daŋ* «я ищу его», кет. *abaŋ traŋavatbogol' betin* «меня оштрафовали» (букв. «мне штрафовали»), когда объект стоит не в основном, а в дательном падеже, или кет. *s'el' desij ollastat* «олень зовет олененка» [27] (букв. «олень кричит для олененка»), когда объект стоит в назначительном падеже. Понятно, такие случаи не дают оснований для выделения у данных падежных форм кетского и югского языков аккузативных функций [28]. Если в случае *at bagabde ugaŋu:r* «я тебя слышу» предикат исторически характеризуется фактически как трехместный (< «я это от тебя слышу»), то в других рассмотренных случаях представлен двухместный предикат, при котором объект оформляется не основным падежом, а дательным, исходным или назначительным.

7) Модель Д—Б, в отличие от модели Б—Д, встречается в кетском и югском языках довольно часто во всех трех лицах, а в качестве именных членов при таких предикатах (в роли субъекта и объекта) отмечены субстантивы всех трех классов: *bop at d-ba-taba:x* «мой отец меня оставляет»,

*kaʃ ket bu: ʃ d-aŋ-toŋ* «охотник их видит», *d-ba-gafout* «он-меня-ждет», *d-ba gade* «он-на-меня-смотрит (букв. «он-меня-смотрит») и т. д. Так же, как и во всех предыдущих случаях, субъект и объект оформлены основным падежом.

8) Совершенно особый случай представляют собой модели  $D+B-D$  и  $D+B-B$ , предикаты которых, будучи двухместными, оформлены двумя субъектными и одним объектным показателем.

При модели  $D+B-D$  предикат оформлен объектным показателем  $D$  1-го и 2-го лица, а также 3-го лица вещного класса, и в качестве объекта в предложениях подобного типа могут выступать только личные местоимения 1-го и 2-го лица ед. числа или имена класса вещей: *d-ba-xaboŋ* «я-надену-это», *d-bu-xaboŋ* «он-наденет-это», *da-bu-xaboŋ* «она-наденет-это», *di-bo-bbyn* «я-это-несу», *di-bu-bbyn* «он-это-несет», *di-bu-ddi-xos* «он-меня-несет», *di-bu-kku-xos* «он-тебя-несет» и т. д. Данная модель, как и модель  $B-D$ , представлена немногими примерами и может рассматриваться как архаизм.

9) Модель  $D+B-B$ , напротив, широко распространена в кетском и югском языках, и объект при предикатах данной модели в 3-м лице может быть представлен именем муж. или жен. класса: *di-bo-a-xos* «я-его-несу», *d-bu-oŋ-one* «он-их-нес», *di-bo-kaŋ-ŋos* < *di-bo-kaŋ-xos* «я-вас-несу» и т. д.

Необычность последних двух моделей состоит в том, что соответствующие двухместные предикаты оформлены двумя субъектными показателями. Сходное явление было выше отмечено у одноместных предикатов моделей  $D+B-\emptyset$ ,  $D+D-\emptyset$ ; учитывая, что эти предикаты по происхождению могут быть охарактеризованы как рефлексивные формы, следует, очевидно, и для предикатов моделей  $D+B-D$ ,  $D+B-B$  предполагать наличие в прошлом рефлексивного значения, например, по образцу немецких предикатов типа *sich schämen*, *sich bedienen*, *sich entsinnen* и т. д., требующих объекта в род. падеже [24, с. 42—44], или по образцу транзитивных рефлексивов литовского языка, которые характеризуются как посессивно-объектные [29], хотя прямой аналогии в данных примерах с енисейскими фактами нет.

Таким образом, рассмотренные кетские и югские модели элементарного предложения, несмотря на различную аранжировку субъектно-объектных показателей в составе предикатов, указывающую на типологическое состояние енисейских языков в прошлом, обнаруживают совершенно явный номинативный характер и при предикате, выраженном интранзитивным глаголом, и при предикате, выраженном транзитивным глаголом. Это подтверждается, во-первых, рядом существенных морфологических проекций данных синтаксических структур (например, однотипное оформление подлежащего, что свидетельствует о наличии номинатива как падежа формального субъекта), а во-вторых, такими особенностями синтаксиса, как дифференцированность прямого и косвенного объектов (и в плане содержания, и в плане выражения) и наличие конструкций, различающихся залоговыми признаками.

Факты коттского языка, приведенные М. А. Кастреном [30], в целом подтверждают данный общий вывод, хотя этот язык и обнаруживает некоторые специфические черты. Так, если в кетском и югском при нормальной речевой ситуации порядок слов в элементарном предложении соответствует порядку расположения субъектных и объектных показателей в соответствующей глагольной словоформе, о чем выше говорилось, то в коттском языке такого соответствия нет: как правило, в нем субъектные показатели суффицируются к глагольной словоформе, а объектные — префицируются (*b-aruk-ŋ* «это-найду-я», *b-aruk-u* «это-найдешь-ты» и т. д.) или инфигируются (*hama<sup>2</sup>-a-t<sup>1</sup>a:k-u* «любишь-его-ты», *hama<sup>2</sup>-an-t<sup>1</sup>a:k-u* «любишь-меня-ты», *hama<sup>2</sup>-u-t<sup>1</sup>a:k-ŋ* «люблю-тебя-я» и т. д.), тогда как в коттском предложении, насколько позволяют судить материалы М. А. Кастрена, подлежащее занимает маргинальную левую позицию как при интранзитивном, так и при транзитивном предикате: *uji urkolok* «он умылся», *aj šum fo:rak-ŋ* «я бы взял», *ajoŋ hapit<sup>1</sup>a:gantŋ* «мы купили» и т. д.

Другая важная отличительная особенность коттского языка состоит в том, что в нем, как правило, и субъектные, и объектные глагольные показатели — это показатели серии Б; субъектный ряд отличается от объектного лишь тем, что в нем нет показателей 3-го лица. Кроме того, в объектном ряду в 3-м лице вещного класса может появляться, по аналогии с кетским и югским языками, показатель серии Д: *b-agi:t-aŋ* «это-ищу-я», *b-alagi:t-aŋ* «это-искал-я». Впрочем, можно допустить, что в примерах *b-ari* «это-зреет», *m-anari* «это-созрело» [30, с. 118] этот же самый показатель *b-* выступает в роли субъектного.

Учитывая, что в коттском языке, как и в кетском и югском, показатели Б исторически восходят к форме родительного падежа соответствующих личных местоимений, а показатели Д — к форме основного падежа этих же местоимений, можно, опираясь на словоформы типа *b-agi:t-aŋ* «это-ищу-я», предполагать в коттском языке наличие посессивной конструкции<sup>7</sup> как разновидности эргативной в период перестройки языкового строя от языка активной типологии к языку номинативной типологии. Это, несомненно, рудиментарные черты, так как субъект при таких предикатах оформляется, по данным М. А. Кастрена [30], формой основного падежа, и, следовательно, коттские факты напоминают скорей положение, существующее в некоторых самодийских языках [32], обнаруживающих посессивное оформление переходных глаголов, но являющихся языками номинативной типологии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гришина Н. М. Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1979.
2. Кабанова Т. А. Синтаксис простого предложения кетского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Новосибирск, 1975.
3. Белимов Э. И. К вопросу о порядке слов в кетском предложении. — В кн.: Языки и топонимия. Томск, 1977.
4. Белимов Э. И. Неполные предложения в енисейских языках. — В кн.: Полипредикативные конструкции и их морфологическая база. Новосибирск, 1980.
5. Белимов Э. И. Способы выражения минимального и осложненного вариантов простого глагольного сказуемого в енисейских языках. — В кн.: Синтаксис алтайских и европейских языков. Новосибирск, 1981.
6. Белимов Э. И. Сложное и составное сказуемое в енисейских языках. — В кн.: Грамматические исследования по языкам Сибири. Новосибирск, 1982.
7. Вернер Г. К. Реликтовые признаки активного строя в кетском языке. — ВЯ, 1974, № 1.
8. Успенский Б. А. О системе кетского глагола. — В кн.: Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
9. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
10. Дульзон А. П. Кетский язык. Томск, 1968.
11. Климов Г. А., Алексеев М. Е. Типология кавказских языков. М., 1980.
12. Voids K. Die Sprache der Jenissejer. — Anthropos, 1957, Ed. 52, 1—2, с. 98—106.
13. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 111.
14. Дульзон А. П. Аффикация как метод передачи грамматических значений: Лекция по общему языкознанию. Томск, 1962, с. 4.
15. Крейнкович Е. А. Глагол кетского языка Л., 1968.
16. Кибрик А. Е. Структурное описание арчинского языка методами полевой лингвистики. Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1976, с. 34—35.
17. Кибрик А. Е. Эталон эргативности и дагестанские языки. — В кн.: Актуальные вопросы структурной и прикладной лингвистики. М., 1980.
18. Гецадзе И. О., Гайдарова Ф. А. О выражении субъектно-объектных отношений в иберийско-кавказских языках. — В кн.: Категории субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982.
19. Валл М. Н., Вернер Г. К. Об истоках падежной системы в енисейских языках. — В кн.: Происхождение аборигенов Сибири и их языков: Материалы Всесоюзной конференции 14—16 июня 1973 г. Томск, 1973.
20. Вернер Г. К. Об эргативности в енисейских языках (кетском, югском, коттском). — In: Soome-Ugri rahvad ja idamaad (Финно-угорские народы и Восток). Etekanpette teesid. Tartu, 1975, lk. 13—15.
21. Успенский Б. А. Замечания по типологии кетского языка. — В кн.: Вопросы структуры языка. М., 1964, с. 148—156.

<sup>7</sup> Известно, что мысль о возможном существовании в кетском языке в древности посессивной конструкции предложения была впервые высказана акад. И. И. Мещаниновым [31].

22. *Гецадзе И. О.* Очерки по синтаксису абхазского языка. Л., 1979.
23. *Климов Г. А.* Очерк общей теории эргативности. М., 1973, с. 42.
24. *Абрамов Б. А.* Типология элементарного предложения в современном немецком языке. М., 1972.
25. *Панфилов В. З.* К вопросу о логико-грамматическом уровне языка. — ZPSK, 1962, № 3—4.
26. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 116—117.
27. *Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Об изучении имени в кетском (некоторые результаты и перспективы). — В кн.: Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968, с. 244.
28. *Топоров В. Н.* Заметки по лингвистической географии Енисея. I. Из наблюдений над структурой падежной парадигмы. — В кн.: Лингво-типологические исследования. I. М., 1973.
29. *Генюшене Э. Ш.* Бенефактивные транзитивные рефлексивы в литовском языке. — В кн.: Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978, с. 157.
30. *Castrén M. A.* Versuch einer jensisei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre. Spb., 1858.
31. *Мещанинов И. И.* Палеоазиатские языки. — ИАН ОЛЯ, 1948, № 6, с. 509.
32. *Мещанинов И. И.* Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967, с. 50, 112.

СОКОЛЯНСКИЙ А. А.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОДНОГО ФОНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАДОКСА  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Предметом настоящей статьи является фонологический парадокс, отмечаемый в формах прилагательных мужского рода единственного числа именительного падежа (типа *красный*). Суть парадокса состоит в том, что фонемный состав морфемы в ударном и безударном положении не совпадает. Действительно, под ударением имеется окончание  $-|oj|$ <sup>1</sup>, на что указывает сильная позиция (больн[би]), а без ударения  $-|ij|$ , так как звук [ы] (красн[ьи], сильн[ьи]) может представлять только фонему |и|. Еще одним доказательством в пользу именно такой интерпретации безударной флексии является поведение перед ней заднеязычных, где отмечается произношение высб[к'и], т[х'и], полб[г'и], а, как известно, появление мягких заднеязычных возможно было до последнего времени только в позиции перед гласными переднего ряда (хотя в настоящее время уже имеются отступления от этой закономерности).

Такая необычная фонологическая ситуация требует своего объяснения. Тем более, что в языке существовала (и существует в речи представителей старшего поколения) система, в которой безударная флексия прилагательных вела себя «по правилам». Это так называемая «старомосковская» норма, для которой характерно произношение больн[би], красн[ьи], т[х[ь]], и где фонологическое содержание безударного окончания не вызывает недоумения. Победа же новой, асимметричной нормы, происходящая на наших глазах, требует своего объяснения. Почему русский язык выбрал именно такую систему употребления, которая в целом ему несвойственна? Оставаясь в рамках синхронной фонологии русского языка, трудно получить на этот вопрос исчерпывающий ответ.

Синхронная фонология может только констатировать для морфологии следующий факт: «В формах им. и вин. п. мужск. р. ед. ч. морфы  $-|ij|$  /  $-|oj|$  распределяются в зависимости от ударения: при ударении на основе — морф  $-|ij|$  (красн-  $|ij|$ , си[н'- $ij|$ ]), а при ударении на флексии — морф  $-|oj|$  ...» [1]. Однако и морфология не в состоянии объяснить столь необычное поведение морфов, хотя может напомнить о том, что такое акцентологическое их распределение полностью не исключено для русского языка (ср. формы, употреблявшиеся в литературной речи до недавнего времени: ле[т'-át], по выле[т'-ут], где распределение морфов  $-|at|$  /  $-|ut|$  также зависело от места ударения). Наблюдение над современным состоянием языка (ни на уровне фонологии, ни на уровне морфологии) не дает решения поставленной задачи, поэтому необходимо обратиться к языковому состоянию недавнего прошлого.

Традиционно возникновение употребления [ьи] и [к'и], [г'и], [х'и] в безударном положении связывается с влиянием орфографии. Так, Р. И. Аванесов писал: «Под влиянием правописания в настоящее время широко распространилось произношение [ьи]...» [2]. Такое же мнение находим у Л. А. Булаховского, Г. О. Винокура, М. В. Панова и других. Однако в XIX в. графическое написание этой флексии было такое же, а ярко выраженной тенденции к замене  $-|oj| \rightarrow -|ij|$  не было.

Широкое распространение нового произношения прилагательных с  $-|ij|$  совпадает во времени с периодом после Великой Октябрьской со-

<sup>1</sup> При обозначении звуков мы используем [ ], при обозначении флексии — | |. При этом термин «фонема» употребляется нами в соответствии с учением Московской фонологической школы.

циалистической революции, когда происходило приобщение к литературному языку широких масс населения. Действительно, вновь приобщающиеся к русскому литературному языку должны были целиком довериться графической одежде языка — письменности. Кроме того, важнейшим фактором закрепления нового произношения явилась реформа русской графики и орфографии, проведенная в декабре 1918 г. Эта реформа, не затронувшая правописание безударных окончаний прилагательных муж. р. ед. ч. им.-вин. п., способствовала изменению их произношения. «...До реформы 1917—1918 гг. в русском письме был очень значительный перевес к сторону традиционно-исторических написаний» [3], т. е. письмо принципиально не совпадало со звучащей речью. Это и различие *е* и *ѣ*, *ѣ* и *ѳ* и *ѳ* и *ѳ*, написания типа *живаго*, *ея*, *черныя*, *онѣ* и т. п. Такие написания лишний раз напоминали о том, что произношение и написание — два отличных друг от друга явления, что буква не равна звуку. В результате реформы 1918 г. русское правописание из этимологического зрелищем в фонематическое, т. е. оно максимально сблизилось с произношением. Если раньше написание *-ий(иі)* воспринималось в одном ряду с *-аго*, *-ья*, *ея* и т. п., то теперь оно оказалось чуть ли не единственным написанием, которое не соответствовало фонематической структуре речи того периода. А если это так, то вновь осваивающие нормы литературного языка воспринимали такое написание как отражение образцового произношения. Написания типа *собака* не противоречат фонемной структуре слова, потому что гиперфонема  $\left| \frac{o}{a} \right|$  в русской орфографии может обозначаться буквами *и* и *о* и *а*. Разнобой в этих написаниях может осложнить обучение правописанию, но не изменить произношение, так как действует правило: все *о* в первом предударном слоге звучат как [а]. Это правило всеобъемлюще, и его использованию нисколько не мешает, осознают ли говорящие и пишущие его или нет. Что касается написаний *красный* и *легкий*, то они прямо указывали на произношение, отличное от норм литературной речи начала XX в. Здесь переплетаются два фактора: с одной стороны, происходит массовое приобщение к литературному языку через его письменную форму, с другой стороны, сама письменность вплотную «подкрадывается» к звучащей речи, создавая иллюзию их полного единства.

Однако все сказанное не исчерпывает поставленного вопроса: влиянием орфографии и ее реформы, а также общей неустойчивостью норм русского литературного языка после революции можно объяснить только широкое и быстрое распространение нового произношения, но не само его происхождение.

Обращает на себя внимание то, что произношение с [иј] отмечалось еще до реформы орфографии и тех социальных изменений, которые произошли в послереволюционный период. Уже к началу XX в., когда возникает интерес к вопросу о взаимодействии устной и письменной форм языка, две системы произнесения безударных окончаний прилагательных ясно осознаются лингвистами. Одна из них воспринимается как «неправильная». В. И. Чернышев писал: «церковнославянское правописание сообщило русскому (языку.— С. А.) многие особенности, которые не согласны с формами живого русского языка» и «по недоразумению слышится иногда и в говоре современных грамотеев» [4]. К числу таких форм В. И. Чернышев относит и написание окончаний прилагательных, резко выступая против их орфографического произнесения. Две системы произнесения отмечает и Р. Кошутич: «Под влиянием письменной речи окончания *-ий*, *-иі* проникли в живую речь, и в языке образованных людей сейчас слышим: *добрый* как *добр<sup>иі</sup>* и *добр<sup>иі</sup>*» [5]. В отличие от В. И. Чернышева Р. Кошутич не дает оценки тому или иному варианту, а просто констатирует их существование в речи.

Таким образом, В. И. Чернышев и Р. Кошутич отметили «орфографическое» произнесение флексии прилагательных *-ий* еще до реформы орфографии и приобщения к литературной речи широких масс населения через письменную форму языка. Поэтому происхождение произне-

сения прилагательных с флексией -|иј| необходимо связывать не с XX в., а со временем более ранним.

О том, что произнесение с -|иј| существовало уже в XIX в., говорит наблюдение над рифмами поэтов. Так, у А. С. Пушкина отмечены рифмы: *волны — полный, лики — великий*, хотя в целом для его поэзии характерна рифмовка, отражающая произношение с флексией -|ој| (*Ленский — геттингенской, шумной — благоразумный* и др.). Но нас в данном случае интересует не то, что произношение с -|ој| было более распространено в XIX в., чем с -|иј| (факт, не вызывающий сомнений), а то, что произношение с -|иј| в определенных ситуациях было возможно. В стихах другого поэта XIX в., П. А. Вяземского, рифмовка значительно чаще показывает произношение с -|иј|: *краткий — палатки, посильный — Вильны, ошибки — зыбкий, русский — отголоски, юный — перуны, нервы — первый* и др. [6]. Л. А. Булаховский отмечал в поэзии Вяземского рифмы с ударным -|иј|: *вековой — стихий, слепой — топы* [7]. Конечно, наблюдение над поэзией не может дать сведений о степени распространенности произношения с -|иј| в XIX в., однако, думается, вывод о том, что такое произношение существовало, не может вызвать возражений.

К сожалению, наблюдения над рифмами поэтов — один из немногих источников, которые могут дать представление о реальном произношении. Грамматики того времени, как правило, не фиксируют внимание на произносительной стороне речи, не различая столь щепетильно, как это делается в наши дни, букву и звук. Так, в грамматиках А. Х. Востокова и Н. И. Греча даются рекомендации писать ударное -*ой*, безударное -*ый*. А. Х. Востоков отмечал: «Окончание мужского рода *ой* употребляется вместо *ый, жий, чий, ший, щий, гий, кий, хий*, когда на оных есть ударение, напр. *прямой* (вместо *прямбый*), *чужой* (вместо *чужбый*), *сухой* (вместо *субый*)» [8]. Примечательно, что для А. Х. Востокова закономерным является окончание -*ый*, а -*ой* употребляется вместо него в позиции под ударением. Это говорит о том, что процесс замены правописания с -*ый*, на -*ой* под ударением в то время был относительно недавним. Это подтверждает рекомендация, которую находим в грамматике А. А. Барсова: «Показанная пред сим перемена окончательных слогов *ый* и *ий* на *ой* особливо нужна, когда на те слоги сила ударяет, как *прямбый, иный, глухий* и проч., которые по большей части как выговариваем, так и писать должно» [9]. То есть для А. А. Барсова еще было актуальным указание на недопустимость правописания подударного -*ый*, а это говорит о том, что в книжной речи того времени было возможно произнесение -*ый* под ударением (ср. сохранившееся до XX в.: *Мы, Николай вторбый*), хотя сфера употребления ударного -*ый* уже тогда была крайне ограниченной. Поэтому для того, чтобы решить вопрос о соотношении -*ой* и -*ый*, необходимо обратиться к рассмотрению состояния литературного языка XVIII в., так как, судя по всему, XIX в. во многом уже заимствовал те отношения, которые сложились ранее.

Поиски истоков произнесения безударного -|иј| привели к тому времени, когда оно было возможно под ударением. «Трудно сомневаться в том, — писал А. А. Шахматов, — что в книжной речи Москвы говорили некогда *пробый, себый, младый* после *г, к, х: глухий, строгий, великий, долгий*» [10]. Это очень важно, так как трудно предположить, что взаимодействии морфов -|иј| и -|ој| изначально ограничивалось только безударным положением, не затрагивая ударного. А если это так, морфы -|иј| и -|ој| первоначально не были алломорфами одной морфемы, а являлись ее вариантами, т. е. было допустимо употребление в слове как -|иј|, так и -|ој| независимо от места ударения (см. рифмы у П. А. Вяземского). Как правило, варианты морфемы различаются стилистически. Попытки противопоставить флексии -|ој| и -|иј| в рамках теории трех штилей делались в последней трети XVIII столетия. В. П. Светов писал: «Которое окончание из сих правее, в том не можно согласиться: ибо обоих употребление в Российском языке необходимо нужно кажется... Кажется, что в высоком слове высокие особливо слова лучше кончить на

ый и на ий, оставив окончания ой и ей просторечию и низкому, каков Комической, роду сочинения» [11, с. 15—16]. Однако противопоставить эти флексии стилистически не удалось, что связано с двумя причинами — общей и частной. Общая состоит в том, что к тому времени стилистическая система М. В. Ломоносова, сыгравшая огромную роль в становлении норм русского литературного языка, начинает распадаться. Поэтому предложение В. П. Свєтова не могло найти себе места, так как система, для которой оно предназначалось, находилась уже в стадии упадка. Частная причина заключается в том, что к этому времени ударное -ый начинает заменяться на -ой не только в живой, но и в книжной речи, что связано, вероятно, с тем, что различие между ударными [о] и [ы] было слишком разительным. В безударном же положении произношение с -ый сохранялось благодаря тому, что разница между [ъ] и [ы] не воспринималась так ярко. Таким образом, сложилась система, когда под ударением употреблялся морф -|ој|, а без ударения и -|ој|, и -|иј|. Отличие ее от современной состоит в частотности употребления морфов: раньше чаще употреблялось -|ој|, а сейчас для нас более привычно -|иј|.

Обращение к творчеству поэтов XVIII в. подтверждает мысль о том, что употребление флексии -|иј| в то время имело большее распространение, чем в XIX в. Так, отмечены следующие рифмы, указывающие на произношение -ый. У В. В. Капниста: *державы — кровавый, могилы — унылый, наследный — победы, великий — клики, напрасный — ясны*; у В. И. Майкова: *оний — миллионы, сердечный — бесконечны*; у М. В. Ломоносова: *Анны — протранный, раздражены — раскаленный*; у А. Д. Кантемира: *дниы — лственный, салы — немалый, удобны — способный, Петровы — новый* [12]. Обращает на себя внимание то, что чем ближе к началу XVIII в., тем настойчивее заявляют о себе формы с -|иј|. Если у большинства поэтов XVIII в. имеются также рифмы, отражающие произношение с -|ој| (*мастер первой — Минервой, красы безвестной — верх небесной* и т. п.), то в поэзии А. Д. Кантемира таких случаев нет. Еще более яркую картину произношения на -|иј| дает поэзия Феофана Прокоповича. В его стихах рифмуется: *славы — величавый, ополудны — трудный, крики — превеликий, обманный — Анны, стрелы — белый, полный — волны* [13]. Обращаясь к еще более раннему поэтическому творчеству в русской литературе, к творчеству Симеона Полоцкого, находим формы только на -|иј| [14]. А ведь Симеон Полоцкий «явился основоположником в русской литературе поэтического и драматического жанров» [15]. В лице Симеона Полоцкого Москва обрела придворного поэта, основоположника силлабического стихосложения, первого по времени поэта России вообще. Поэтому его творчество, творчество его последователей не могло не повлиять на дальнейшее развитие поэзии. Правда, язык его сочинений вряд ли можно признать русским, скорее церковнославянским, на что обратил внимание еще Г. Лудольф: «Не так давно — при последнем царе Федоре Алексеевиче — некий монах, Симон Полоцкий, перевел славянскими стихами Псалмы Давида и псалм их... Он избегал, насколько мог, употребления трудных славянских слов, чтобы быть понятным для большинства читателей, и тем не менее язык у него славянский и много таких слов и выражений, которые в народной общей речи неизвестны» [16]. Однако в данном случае важно не то, что поэзия С. Полоцкого была далека от разговорной речи (это не вызывает сомнений), а то, что его поэтическая практика существенно повлияла на нормы складывающейся поэтической речи.

Установление широкого употребления флексии -|иј| в поэтической (и шире — книжной) речи XVII—XVIII вв. до конца не решает вопроса о путях ее проникновения в русский литературный язык. Это можно установить, если рассмотреть взаимодействие русского и церковнославянского языков в этот период.

Возникновение произнесения с -|иј|, как уже отмечалось, традиционно связывается с влиянием письменной церковнославянской традиции. Попытка проследить истоки этого взаимодействия привела к эпохе

XVII в., т. е. к эпохе, когда, по мнению В. В. Виноградова, происходит «распад системы церковно-славянского языка» и «расширение литературных функций живой русской речи и письменно-делового языка» [17, с. 47]. Получается, что закрепление флексии  $-|иј|$  совпадает по времени с кризисом церковнославянского языка. Эту странность можно объяснить, сославшись на то, что в поэтической речи (а сейчас ведется речь фактически о ней) роль старославянской стихии была весьма значительна, а следовательно, не должно удивлять и то, что в поэзии использовались и церковнославянские формы на  $-|иј|$ . Но ссылка на ограниченность употребления сферы  $-|иј|$  не помогает объяснить другую странность: большинство грамматик XVIII в. не указывает на церковнославянский характер флексии  $-|иј|$ , ограничиваясь простой фиксацией написания *-ий*. Первой грамматикой русского языка на русском языке является грамматика В. Е. Адогурова. Б. А. Успенский, описавший и издавший ее, характеризует ее следующим образом: «Уже первое знакомство с данной рукописью не оставляет сомнения в том, что дело идет о грамматике именно русского языка, совершенно оригинальной и во многом революционной» [18]. Однако уже в этой грамматике подавляющее число форм рассматриваемых прилагательных имеет флексию  $-|иј|$ : *лесный, приметный, прилежный*. Правда, отмечено и употребление словоформы *выборной*.

В «Российской грамматике» М. В. Ломоносова при употреблении флексий и на *-ой*, и на *-ий* предпочтение отдается последним: *битый, приведенный, ужасный, чудный, затретый, ночный*. Отмечена и флексия *-ой*: *всякой, маленькой, премудрой, точной*. В некоторых случаях формы с *-ой* и с *-ий* употребляются при одних и тех же корнях: *светлый, студеный* и тут же: *пресветлой, пресуденой*. Иногда можно предположить стилистическую дифференциацию. Так, изолированно употребляется *великой*, но *великий Петр*. Однако последовательно М. В. Ломоносовым это не проведено, и сам он такое стилистическое употребление не оговаривает.

Только в последней трети XVIII в. В. П. Световым делается попытка стилистически противопоставить флексии  $-|иј|$  и  $-|ој|$ . Однако уже Словарь Академии Российской (1789—1794) показывает, что их стилистическое противопоставление остается только на уровне теории и, по мнению Г. О. Винокура, «очень плохо оправдывается фактическим языковым употреблением» [19].

❖ Столь запоздалая попытка (в целом неудачная) противопоставить флексии  $-|ој|$  и  $-|иј|$  стилистически вызывает сомнение в чисто церковнославянском происхождении окончания  $-|иј|$ . Фактическое отсутствие окраски «высокого штиля» у флексии  $-|иј|$  требует дальнейшего уточнения ее происхождения. Без учета того, в какой форме во второй половине XVII в. происходило влияние церковнославянского языка на формирование норм русского литературного языка, трудно объяснить, почему флексия  $-|иј|$  сразу не оказалась в числе церковнославянских форм, а была принята за «свою».

Специфика воздействия во второй половине XVII в. церковнославянского языка на русский состоит в том, что это воздействие осуществлялось через посредство украинского языка. Об этом писал В. В. Виноградов: «В XVII в. киевская традиция церковно-славянского языка возобладала над московской» [17, с. 7]. И далее: «Так называемая Юго-Западная Русь становится во второй половине XVII в. посредницей между Московской Русью и Западной Европой, и русский литературный язык подвергается сильному влиянию украинского литературного языка (церковно-книжного, светско-делового и художественного)» [17, с. 18]. А, как известно, в украинском языке в аналогичных формах прилагательных употребляется флексия *-ий*, воспринимаемая русскими как  $[иј]$ . Отсюда становится понятным, почему  $-|иј|$  не осознавалось в XVIII в. как высокое — оно соотносилось в первую очередь с украинским языком, а не церковнославянским. Поэтому и происхождение самой флексии  $-|иј|$  необходимо связывать скорее с украинским влиянием. О том, что употребление флексии

-|ij| связано с украинским языком, писал В. П. Светов: «Многие, а особливо Малороссияне (разрядка наша.— С. А.) вм. на ой кончат всякое слово на *ий*» [11, с. 15]. Здесь уместно напомнить о том, что первые русские поэты (С. Полоцкий, Ф. Прокопович) были выходцами именно с Юго-Западной Руси, поэтому-то в их поэзии безраздельно и господствует флексия -|ij|: она для них была не столько церковнославянской, сколько своей, украинской и белорусской.

Воздействие на русский литературный язык со стороны украинского шло не только через практику поэтического творчества. Огромное влияние на русский литературный язык оказали грамматики славянского языка Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого, Федора Максимова, которые издавались на территории современных Украины и Белоруссии. Имя их в виду, Б. Унбегаун высказывал сожаление, что еще недостаточно изучено их влияние на грамматику русского языка позднейшего времени [20]. Наиболее авторитетной грамматикой в Москве была Грамматика М. Смотрицкого, изданная в 1648 г. и впоследствии неоднократно переиздававшаяся (последнее издание в 1721 г., в Москве). Ее рекомендации «стали у консервативных групп „восточников“ (т. е. сторонников византийских традиций) непререкаемой нормой литературности» [17, с. 12—13]. В Грамматике Смотрицкого находим формы прилагательных только па -|ij|: *жельзныи, древдныи, каменныи, вторыи, благии* [21]. Для М. Смотрицкого эти флексии были, вероятно, не только церковнославянскими, но и украинскими. В Букваре Кариона Истомина, изданного в Москве в 1649 г., имеются формы только на -*ий*: *юный, благий, желанный, босый, тетеревъ бездълный* [22]. Причем употребление флексии -*ий*, как указывают примеры, не ограничивается безударным положением. Конечно, эти грамматики не отражают живого произношения того времени, однако они формировали книжные нормы русского литературного языка. Что касается живой речи, то ее сопоставление с книжными формами должно быть признано некорректным, так как для XVII—XVIII вв. устная речь остается за пределами литературному языку. Формирование устной разновидности литературного языка происходит только в XIX в., а в XVII—XVIII вв. устная речь образованных слоев общества была крайне неустойчивой и вариативной, строгих норм в современном понимании не было, «многие из образованных людей, особенно из среды духовного сословия, щеголяя ученостью, даже разговаривали на церковно-славянском языке» [17, с. 65]. При таком положении дел не приходится говорить о том, что живая речь противостояла книжным формам единым фронтом.

Таким образом, для конца XVII — начала XVIII вв. необходимо констатировать сильное влияние на русский литературный язык украинско-белорусской языковой стихии. Это влияние способствовало прочному закреплению в русской литературной речи флексии -|ij|, причем ее употребление отражало не просто графическую традицию, но и реальное произношение, существовавшее в речи определенного круга образованных людей.

Таковы основные причины и истоки того фонологического парадокса, который имеется в современном русском литературном языке при употреблении окончаний прилагательных мужского рода единственного числа именительного падежа. Однако такая фонологическая асимметрия, возникшая в результате «морфемного супплетивизма», не может быть устойчивой: для русского языка характерно совпадение фонемного состава ударной и безударной морфем. В настоящее время, как нам представляется, в русском литературном языке идет процесс, направленный на ликвидацию сложившегося фонологического парадокса. М. В. Панов пишет: «...волна усиливающейся редукции дошла и до <и>... В [ъ] стало совпадать большее число фонем, чем прежде. Разумеется, форма *новый*, с <и> в окончании, стала произноситься и с [ыи] и с [ьи]. Произношение, обреченное, казалось бы, на исчезновение, снова укрепилось. Сейчас в живой речи нов[ъи] (муж. р.) слышится не реже, чем нов[ыи]» [23]. Поэтому возможно такое употребление, когда в речи одного и того же лица, в зависимости от условий общения, встречается произношение

безударной флексии как с [ыи], так и с [ы]. Вероятно, в настоящее время такое произношение представлено наиболее широко. Однако и при таком употреблении фонемная интерпретация безударной флексии остается прежней: если в речи говорящего употребляется после твердых согласных и [ыи], и [ы], а после заднеязычных [ий], то такой ряд позиционно чередующихся звуков может представлять собой по-прежнему только фонему |и|. Ведь в нашем случае звуки [ы] и [ь] могут заменяться, не внося дополнительного смысла в значение слова, т. е., по Н. С. Трубецкому, они являющиеся факультативными вариантами одной фонемы. Какой? Конечно же, |и|, так как в речи тех, кто беспорядочно употребляет [ы] и [ь] во флексиях прилагательных, точно такая же беспорядочная реализация фонемы |и| и в других случаях во второй позиции после твердых согласных, т. е. в их речи возможно как совпадение форм *пылевой* и *полевой*, так и их различие. Поэтому данная система не отличается фонематически от той, которая признана в настоящее время нормативной.

Интересно, однако, посмотреть, каковы дальнейшие тенденции развития этой системы. Процесс редукции [ы] во второй позиции в [ь] в настоящее время уже настолько прозрачен и, вероятно, уже почти завершен в аллегровой речи многих носителей русского литературного языка, что небезынтересно выяснить, как следует интерпретировать фонематически рассматриваемую флексию в том случае, когда |и| во второй позиции после твердых согласных будет последовательно реализовываться как [ь], т. е. закрепится произношение: красн[ьи] и т[ь]х'ий[ь]. В этом случае [ь] может реализовывать следующий ряд фонем: |а|, |и|, |э|, |о|. Тогда как [и] представляет фонемы: |и|, |э|, |о|, но не |а|, так как формы *выгонит* — *выгонят* различаются. О возможности фонемы |о| в последнем ряду говорит совопоставление форм: [тк'от] — [вьтк'ит], где фонема |о| находится точно в такой же позиции: после заднеязычного на стыке основы и флексии. Таким образом, безударная флексия имен прилагательных предлагает нам выбор из трех фонем: |и|, |э|, |о|. Но в таком случае свои права на фонемную интерпретацию предъявляет ударная форма, где представлена фонема |о|. Теперь уже нет основания для противопоставления ударной и безударной флексии, так как «мешающего» [ы] нет. Поэтому происходит выравнивание ударного и безударного морфов: во всех случаях оказывается представленным -|о|, как и в старомосковской норме. С той только разницей, что теперь перед этой флексией реализуется мягкая заднеязычная фонема, т. е. лёг |к'о|]. А именно в этом состоит внутренняя потребность современной фонологической системы русского языка: чем больше будет позиций, где мягкие заднеязычные будут употребляться перед гласными фонемами непереднего ряда, тем они прочнее будут включены в фонологическую систему. Примечательно, что тенденция к широкому распространению -|и| возникает именно тогда, когда начинает оформляться фонемная противопоставленность твердых и мягких заднеязычных (начало XX в.), т. е. именно тогда, когда в этом появляется потребность внутри самой фонологической системы. До формирования мягких заднеязычных как самостоятельных фонем изменение твердого произношения на мягкое было фонологически бессодержательным. Кроме того, данное изменение могло произойти только после закрепления в литературном языке иканья, т. к. до тех пор, пока в безударном положении после мягких заднеязычных различаются фонема |и|, с одной стороны, и фонемы |а|, |о|, |э|, с другой стороны, говорить о фонологизации мягких заднеязычных перед рассматриваемой флексией не приходится.

Однако такое объяснение изменения произношения заднеязычных перед флексией прилагательных муж. р. ед. ч. им.-вин. п. в безударном положении с позиции логики может показаться не совсем корректным. Дело в том, что фонологизация мягких заднеязычных в позиции перед рассматриваемой флексией возможна лишь после изменения красн[ыи] → красн[ьи], которое происходит только в настоящее время и до конца не завершено. До того момента, пока имеется произношение с [ыи], фонологически должно быть только т[ь]х'ий[ь], но не т[ь]х'о[ь]. Тогда как же быть

с мыслью о том, что изменение произношения тѣх[ъи] → тѣ[х'иѣ] совпадает по времени с фонологизацией заднеязычных и диктуется ею? Получается, что язык заранее знал, что [ъ] во второй позиции будет изменяться в [ѣ] и уже предварительно подготовил почву для фонологизации заднеязычных в позиции перед одной из флексий имен прилагательных. Думается, однако, что это явление можно объяснить, не наделяя язык сверхъестественной способностью предвидеть будущие изменения. Объяснение такое: парадигмы прилагательных с основой на парный твердый согласный и на заднеязычный фонологически почти тождественны, но только почти. В целом история прилагательных типа *красный* и типа *тихий* совпадает. Так, написание (и произношение) *-ый* и *-ий* (*-ий*) в истории русского языка следуют друг за другом: там, где находим *-ый*, имеется, как правило, и *-ий*. Однако, вероятно, на определенных этапах возможен «фонологический зазор» между этими формами. Именно такой «зазор» образуется после превращения мягких заднеязычных в самостоятельные фонемы. Действительно, до фонологизации мягких заднеязычных произношений ти[х'иѣ] может отражать только ти |хиѣ|, так как действует закон: мягкие заднеязычные возможны только в позиции перед гласными фонемами переднего ряда. Форма красн[ъи] напоминает о том, что здесь не -|эѣ|, а -|иѣ|. Но даже и без формы на [ъи] при наличии экапья нельзя дать иной фонологической интерпретации, кроме ти |хиѣ|, так как произношение флексии как [иѣ] в данном случае самодостаточно для утверждения, что здесь именно |и|, а не |э|. Поэтому до фонологизации мягких заднеязычных и развития иканья формы на [ъи] и [иѣ] «намертво» прикреплены одна к другой. Но уже при иканье произношений ти[х'иѣ] «само за себя не отвечает»: для того чтобы доказать, что здесь не -|эѣ|, приходится призывать в «свидетели» формы типа красн[ъи]. После фонологизации мягких заднеязычных положение осложняется: теперь произношение с [иѣ] может отражать и -|иѣ|, и -|эѣ|, и -|оѣ|. Сразу отпадает -|эѣ|, так как нет форм, которые указывали бы на такой фонемный состав (застывшую форму *сам-третьей*, кочующую из учебника в учебник, вряд ли можно признать за полноценного представителя прилагательных). Но почему бы тогда не -|оѣ|? На это указывает сильная позиция — ту[бѣ]. Почему формы на [ъи] в данном случае должны считаться более авторитетными? Только потому, что они тоже безударны. Но для русского языка характерно определение фонемного состава морфемы по сильной позиции, каковой для гласных является позиция под ударением. Возможно еще такое возражение: какое же здесь может быть фонемное тождество флексий, если перед ударным окончанием употребляется твердый заднеязычный, а перед безударным — мягкий. Но точно такую же претензию можно предъявить и к [ъи], уже само появление которого является парадоксом для фонологических отношений русского языка. Поэтому в лучшем случае необходимо признать формы типа *тугой* и *красный* равноправными для фонологической интерпретации форм прилагательных на заднеязычный с ударением на основе. Отсюда вывод: на современном этапе развития современного русского литературного языка во флексиях прилагательных типа *тихий* представлена гласная гиперфонема  $\left\{ \begin{smallmatrix} \text{о} \\ \text{и} \end{smallmatrix} \right\}$ , т. е. | т'ѣх'  $\frac{\text{о}}{\text{и}}$  j |.

Теперь изменение фонемного состава в прилагательных на заднеязычный можно представить следующим образом: 1) ти |хиѣ| — до фонологизации мягких заднеязычных; 2) ти |х'  $\frac{\text{о}}{\text{и}}$  j| — после фонологизации мягких заднеязычных; 3) ти |х'оѣ| — после изменения [ъ] в [ъ] во второй позиции.

Первый этап отражает прошлое, второй — настоящее, третий — будущее. Именно для современного этапа характерен фонологический зазор, о котором говорилось выше, между формами типа *красный* и *тихий*, однако с дальнейшими изменениями в фонологической системе он будет ликвидироваться.

В заключение суммируем основные положения, получившие отражение в статье.

1) Проникновение в русский литературный язык форм прилагательных на  $-|ij|$  связано не только с сохранением церковнославянской письменной традиции, но и с украинно-белорусским влиянием, которое особенно интенсивно было во второй половине XVII — начале XVIII вв.

2) Традиция употребления  $-|ij|$  существовала уже с XVII в., и не было такого периода в истории русского литературного языка, когда бы такое произношение отсутствовало вовсе. Оно существовало, хотя сфера его употребления в некоторые периоды была ограниченной.

3) На наших глазах происходит окончательное слияние русской и церковнославянской по происхождению флексий в органически единую систему, и хотя победа внешне остается за исконно русской флексией, церковнославянская оставляет о себе память в виде фонологизации мягких заднеязычных перед фонемой  $|o|$  еще в одной позиции.

4) Возникновение фонологического несоответствия состава ударной и безударной флексий имен прилагательных муж. р. ед. ч. им.-вин. п. связано с «морфемным супплетивизмом», т. е. с объединением в одну морфему первоначальных различных флексий. В наиболее общем виде этапы того процесса можно представить в такой последовательности:

под ударением	а) $- oj $	$- ij $	б) $- oj $	$\emptyset$	в) $- oj $	$\emptyset$	г) $- oj $
без ударения	$- ij $	$- ij $	$- ij $	$- ij $	$\emptyset$	$- ij $	$- ij $

Этап а) соответствует XVII — началу XVIII в.; этап б) вторая половина XVIII—XIX в.; этап в) современное состояние; этап г) наметившаяся тенденция.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 548.
2. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1968, с. 167.
3. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII—XX вв.). М., 1965 с. 50.
4. Чернышев В. И. Законы и правила русского произношения. СПб., 1908, с. 21—22.
5. Кошутич Р. Грамматика русского языка. Ч. 2. Белград, 1914, с. 77.
6. Вяземский П. А. В дороге и дома. М., 1862.
7. Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., 1954, с. 105.
8. Востоков А. X. Русская грамматика. 3-е изд. СПб., 1838, с. 69.
9. Барсов А. А. Российская грамматика. М., 1981, с. 467.
10. Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941, с. 84.
11. Светов В. П. Опыт нового русского правописания ... СПб., 1773.
12. Русская поэзия XVIII века. М., 1972 (Библиотека всемирной литературы).
13. Прокопович Ф. Сочинения. Л., 1961.
14. Полоцкий Симеон. Избранные сочинения. М.—Л., 1953.
15. БСЭ. 3-е изд., 1976, т. 23, с. 389.
16. Ларин Б. А. Русская грамматика Лудольфа 1696 года. Л., 1937, с. 114.
17. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938.
18. Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975, с. 17.
19. Винокур Г. О. К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века. — В кн.: Винокур Г. О. Избранные работы. М., 1959, с. 181.
20. Unbegaun В. Russian grammars before Lomonosov. Oxford Slavonic Papers, 1958, VIII.
21. Смотрицкий М. Грамматика. М., 1721.
22. Истомин К. Букварь. Л., 1981.
23. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой В. А. М., 1981, с. 104.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КРУПАТКИН Я. Б.

ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ  
ЯЗЫКОВЫХ ГРУПП (ФРАЗ) \*

Само по себе выделение в языке таких аспектов его организации, как фонетический, грамматический и смысловой, объединяет практически всех лингвистов. Однако обращаясь к конкретному языковому материалу, представители различных школ в лингвистике неодинаково понимают характер взаимоотношений между указанными аспектами. И это довольно четко проявляется в описаниях английских именных и глагольных групп. Г. Суит, например, стремился согласовать грамматический (формально-структурный) и логический (смысловой) аспекты отношений между словами в группе, но всякий раз, когда это не удавалось, отдавал предпочтение логическому (он и грамматику свою назвал «логической»). Напротив, у американских дескриптивистов, и особенно в рамках метода непосредственно составляющих, отождествление и описание групп должно было достигаться без какого-либо обращения к смысловому аспекту, исключительно с помощью формальных приемов.

Возродившееся в наши дни внимание к смысловому аспекту организации языка во многом явилось реакцией на зашедшие в тупик исследования структуралистов. Но в той мере, в какой процесс познания в лингвистике можно образно сравнить с колебаниями маятника между «формой» и «содержанием», следовало бы иметь в виду, что амплитуда этих колебаний обязана постоянно уменьшаться.

В настоящей статье, анализируя научные тексты [1, 2], мы абстрагируемся от семантического инвентаря и рассматриваем формальные средства языка как более или менее однородную систему [3, с. 24—25; 4, с. 258—266]. Благодаря этому исследователь может и соотносить оба аспекта друг с другом, и работать в рамках любого из них, отвлекаясь от другого. Автор считает, что, ограничившись рамками формально-структурного анализа, удается продвинуться вперед в понимании английских групп как языковых единиц, иерархически расположенных между словом и предложением.

В качестве первого шага на этом пути следовало бы уточнить принципиальное устройство и границы именной и глагольной групп.

По словам Р. Кверка, именная фраза может представлять собой неопределенно длинную и сложную конструкцию, имеющую в качестве главного слова существительное, которому предшествуют такие слова, как артикль, прилагательное или другое существительное, и за которым следует предложная фраза или придаточное определительное предложение. Все эти элементы легко обнаружить, например в следующей именной группе: *The new gas stove in the kitchen which I bought last month has a very efficient oven* [5, с. 44]. Фактически так же анализируют именную группу и в некоторых других грамматических описаниях [6, с. 65; 7, с. 155—156]. Мы надеемся показать, что подобное довольно расплывчатое понимание границ именной группы нельзя считать правомерным и что возможный путь

\* В основу статьи положен доклад, прочитанный на ежегодном заседании памяти Л. В. Щербы в Ленинградском госуниверситете имени А. А. Жданова в декабре 1981 г. Автор благодарит Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндера, Ю. С. Маслова и других участников обсуждения, критические замечания которых способствовали уточнению его взглядов.

Деление определений по их месту относительно существительного	
левое	правое
<i>Smith text</i> <i>Smith's text</i> <i>reading text</i> <i>large text</i> <i>applicable rule</i> <i>mathematical instruments</i>	<i>text by Smith</i> <i>text for reading</i> <i>text of Smith</i> <i>text designed for reading</i> <i>rule which can be applied</i> <i>text written by Smith</i> <i>text which belongs to Smith</i> <i>instruments concerned with mathematics</i>

Таблица 2

Деление определений по способу их выражения		
морфологическое	синтаксическое	лексическое
1. <i>Smith's text</i>	<i>text of Smith</i>	<i>text which belongs to Smith</i>
2.	<i>Smith text</i> <i>text by Smith</i>	<i>text written by Smith</i>
3.	<i>reading text</i> <i>text for reading</i>	<i>text designed for reading</i>
4. <i>mathematical instruments</i>		<i>instruments concerned with mathematics</i>
5. <i>applicable rule</i>		<i>rule which can be applied</i>

к его уточнению проходит именно через последовательное различение грамматического и смыслового аспектов.

Как известно, определения к английскому существительному часто делят на левые (препозиционные) и правые (постпозиционные) (табл. 1). Хотя в с м ы с л о в о м аспекте все подчеркнутые отрезки равноценны, поскольку все они содержат те или иные смысловые характеристики определяемых существительных, в аспекте формально-структурном они не равноценны, поскольку отличаются с п о с о б о м выражения упомянутых характеристик. Как видно из табл. 2, одно и то же значение, например, посессивности (1), выражено в них то морфологически — формой слова, то синтаксически — характером соединения слов, то лексически — значением соответствующей лексемы. Это же верно для значений авторства (2), цели (3), сферы действия (4), способности выполнять данное действие (5).

Обнаруженное нами различие в способе выражения определений может оказаться ключом к решению вопроса о принципиальной схеме расположения компонентов именной группы. В самом деле, коль скоро мы согласны, что именная группа — единство синтаксическое, вероятно, надо согласиться и с тем, что среди отмеченных трех видов определений только определения синтаксические своим расположением относительно главного слова, или «вершины», могут указывать на принцип формально-структурного устройства группы. Чтобы раскрыть этот принцип, четыре уже знакомые структуры с синтаксическим определением, а именно NN (*Smith text*), Ger (gerund) N (*reading text*), NprepN (*text of Smith*, *text by Smith*) и NprepGer (*text for reading*), мы сведем к двум, т. е. NN (<NN, GerN) и NprepN (<NprepN, NprepGer), а полученные обобщенные структуры рас-

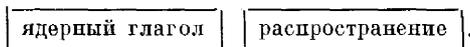
смотрим более внимательно. Что касается структуры NN, то в ней отметим давно известную, но, вероятно, еще не вполне оцененную особенность: в рамках этой структуры возможно только левое определение и абсолютно невозможно правое (ср. *export gas* и *gas export*, где с перестановкой существительных совершенно меняется значение отрезка). И это характерно именно для синтаксического определения (при определении морфологическом подобного рода перестановка вполне возможна, ср. *the best available room* и *the best room available* [7, с. 155]). Что же касается структуры N<sub>prep</sub>N, то каждое из ее существительных может расширяться до NN (ср. *tissues of the beet* и *storage tissues of the sugar beet*), так что структура N<sub>prep</sub>N оказывается принципиально тождественной структуре NN<sub>prep</sub>NN. Из двух сосуществующих структур (NN и NN<sub>prep</sub>NN) элементарной должна быть признана структура NN. А отсюда мы делаем вывод, что только структура NN может воплощать в себе интересующую нас схему расположения компонентов именной группы:



Итак, анализ синтаксических определений показывает, что формально-структурное распространение именной группы в принципе возможно только в л е в о от ее ядерного имени, или вершины. В той мере, в какой этот вывод справедливо описывает принципиальное устройство именной группы, он означает, во-первых, что именная группа как единица формально-структурной организации языка не может иметь правых, или постпозиционных, определений (следовательно, группа в цитате, которая приводилась нами выше, приобретает вполне обозримый вид — *a new gas stove*). Во-вторых, препозиционное распространение именной группы не только за счет привычных «несинтаксических» определений, как *large text, applicable rule*, но и «парадоксальных», как *his heads-I-win-tails-you-lose attitude* [8, с. 73—74], оказывается возможным только благодаря тому, что оно соответствует принципиальному устройству группы.

Добавим, что, согласно модели, предлог в состав группы не входит, откуда можно заключить, что в аспекте формально-структурном его функция — соединять соседние группы <sup>1</sup>, и это же, видимо, справедливо в отношении функций сочинительных союзов и запятых, например, *a serious error in calculated results; optical phonon scattering and impact ionization; wind velocity, temperature drop, and pressure increase*.

Что касается глагольной группы, то она не имеет компонентов слева от ядерного глагола (вершины) и, значит, может распространяться только вправо:



Нетрудно видеть, что модель глагольной группы оказывается зеркально противоположной модели именной группы. При этом характерны следующие особенности. У именной группы устойчива правая граница, а левая зависит от лексической, грамматической и контекстной семантики ядерного имени, например: *The war was over; Snow is white; Referee's time runners; A good deal of money was wasted*. В то же время у глагольной группы устойчива левая граница, а правая зависит от семантики ядерного глагола, отраженной в его валентности, например: *The joke was funny; The man is an engineer; The guests rose; The*

<sup>1</sup> Те, кто, напротив, считают первейшей функцией английского предлога — выражать пространственные отношения между одним предметом и другим, по всей видимости, смешивают формально-структурный и смысловой аспекты организации языка [9, с. 24]. Отсутствие четкой аспектизации языковых явлений видно и при описании так называемых «предложных фраз» в качестве «структур, состоящих из именной фразы, управляемой предлогом» (подчеркнуто нами. — К. Я.) [10, с. 18].

*trees become bare; The mother looks at her baby; The girl put the letter in her hand-bag*<sup>2</sup>.

Используя уточненные модели именной и глагольной группы, приступим к их системному описанию. Мы исходим из предположения, что названные группы являются представителями особого уровня формально-структурной организации языка, системно расположенного между уровнем слов и уровнем предложений. В рамках системной иерархии единицы каждого из уровней должны использоваться (в этом их языковая функция) для образования единиц более сложного уровня, а сами должны образовываться из единиц более простого уровня [11, с. 156, 160]. И вот почему наш анализ языкового материала будет двусторонним. Сперва мы проверим предположение о группе как особой структуре, используемой в качестве составляющей более сложной единицы — предложения. Затем — предположение о группе как особой структуре, составленной из более простых единиц — слов.

Начнем с рассмотрения группы как составляющей предложения. В духе идеи системной иерархии уровней грамматического описания можно

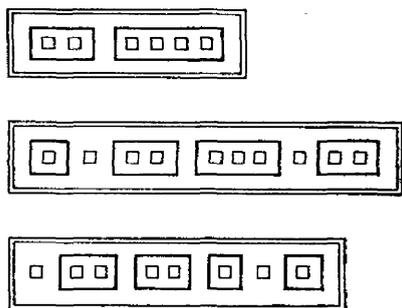


Рис. 1.

было бы предположить, что всякое предложение должно без остатка делиться на группы. Действительно, именно так обстоит, вероятно, дело в следующих не связанных между собой предложениях: *The enlarger produces a magnified image; Size/of/the aperture/is referred to/as/ f number; In/bright light/ silver bromide/changes/to/black*. Если тонкой линией обозначить слова, жирной — группы, а двойной — предложения, три примера будут выглядеть как на рис. 1.

Но уже в первом же связном тексте (сопровождающем иллюстрацию в журнальной статье) ситуация оказывается совершенно иной, потому что наряду с группами в нем обнаруживаются (в порядке их появления): оборот с Participle II, приложение (Ga. означает Georgia — штат Джорджия), снова оборот с Participle II, устойчивое наречное выражение, абсолютный оборот с Participle II (с находящимся в его составе зависимым оборотом с Participle II) и, наконец, обособленный при помощи запятой оборот с Participle I: «Light-guide cable of the type used in last year's demonstrations in Atlanta, Ga., contains 144 individual glass fibers assembled into 12 ribbons of 12 fibers each. The ribbons are stacked side by side and are surrounded by several layers of protective material, all contained within a polyethylene sheath reinforced with steel wires. Operating at a pulse rate of 44.7 million cycles per second, a pair of fibers can carry 672 two-way telephone conversations, a two-way Picturephone conversation or an equivalent volume of information of other types. Cable sections are equipped with factory-prepared connectors that are mated in the field with the aid of precision jigs» [1, с. 48].

<sup>2</sup> Кроме подобных широко признаваемых видов глагольных групп-сказуемых, их репертуар расширен в данной статье за счет так называемых предикативных комплексов, например: *I know him to be a good dancer; The wind sent the leaves whirling* g.



способной устанавливать связь как с предыдущим, так и с последующим элементом цепочки, негруппа способна установить связь только с элементом предыдущим либо вообще не обладает этим свойством.

Предпринятый нами формально-структурный анализ показывает, что (1) в английском простом предложении возможны элементы конструктивные, которые представлены именными и глагольными группами, и неконструктивные, которые могут быть представлены негруппами, (2) цепочка всех конструктивных элементов предложения образует его «конструктивную основу»<sup>4</sup>, в которой выделяются «ядро» (подлежащее — сказуемое)<sup>5</sup> и «периферия», (3) функция конструктивной основы состоит в том, чтобы обеспечить предложению его формально-структурную правильность, или отмеченность. В целом же на вопрос о группе как составляющей предложения ответ может быть следующим: именные и глагольные группы, как они описаны выше, являются составляющими не всего предложения, а его конструктивной основы. И это, вероятно, конкретизирует однажды уже высказанную мысль о том, что структура высшего уровня лишь п о т е н ц и а л ь н о образована из последовательности структур соседнего низшего уровня [15, с. 23].

К первой части нашего анализа требуются такие замечания.

1) О том, что в составе предложения надо различать элементы обязательные и факультативные, известно очень давно. Современные грамматисты, обращаясь к этому вопросу, иногда берут факультативные элементы в скобки, например: *She is in London (now); She is a student (in London) (now); Universities (gradually) became famous (in Europe) (during the Middle Ages); They ate the meat (hungrily) (in their hut) (that night)* [5, с. 43]. Однако из всех факультативных элементов в этих примерах неконструктивными являются только некоторые: *now, gradually, hungrily, that, night*; остальные, будучи группами, должны быть отнесены к конструктивным: *in London, in Europe, during the Middle Ages, in their hut*. Следовательно, предлагаемое нами различие «конструктивный/неконструктивный» не совпадает с различием «обязательный/факультативный». Объяснить же подобное несоответствие надо, вероятно, тем, что именно первое из двух различий соответствует анализу формально-структурному<sup>6</sup>.

2) Видимо, прав Дж. Мюир, который, различая морфемы свободные и связанные, подчеркивает обязательность первых и факультативность вторых в структуре слова [16, с. 4]. Он прав, когда в структуре именной и глагольной групп подчеркивает обязательность одного из слов и факультативность других [16, с. 5]. К сожалению, автору не удается соблюсти принцип разграничения между обязательными и факультативными элементами при переходе от группы к предложению: среди рассматриваемых им четырех элементов предложения — подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство — почему-то не выделяются обязательные и факультативные, так что все они волею автора оказываются равноправными [16, с. 7—8, 53—54]. Между тем традиционное вычленение группы подлежащего и группы сказуемого (с дальнейшим выделением в последней дополнений и обстоятельств) едва ли может быть произвольным. Достаточ-

<sup>4</sup> Хотя термин «конструктивная основа предложения» не нов, однако стоящее за ним понятие рассматривалось в контексте членов предложения, но не в контексте системной иерархии единиц синтаксиса [13, с. 278].

<sup>5</sup> Понятие «ядра» должно совпадать с уже известным понятием «ядерного предложения» [14].

<sup>6</sup> Как следует из новейшей грамматики, при выделении факультативных элементов руководствуются тем, что «наречия и наречные выражения (в оригинале они названы общим термином *adverbials*. — К. Я.) могут либо в какой-то мере включаться в структуру простого предложения, либо быть по отношению к ней периферийными» [10, с. 207—208]. В первом случае они называются адьюнктами, во втором — дизьюнктами и коньюнктами. Интересующие нас адьюнкты (в примерах именно они взяты в скобки) объединены, однако, не по конструктивному, а скорее по смысловому признаку: они допускают вопрос и отрицание [10, с. 208]. Что же касается включения в структуру предложения, то оно, по словам авторов, происходит «в какой-то мере», описать которую они не в состоянии. Описание становится возможным благодаря выдвинутому нами представлению о том, что конструктивной основой предложения является цепочка групп.

но хотя бы сказать, что подлежащее тесно связано с темой предложения, а сказуемое — с его ремой [5, с. 34, 35].

По Дж. Мюйру, подобно тому как английское слово может состоять из одной морфемы, а группа — из одного слова, так и предложение может состоять всего из одной группы [16, с. 7—8]. Однако при ближайшем рассмотрении этот заманчивый параллелизм рушится. В самом деле, если оставаться на почве формально-структурных критериев, то английское предложение обьязано содержать хотя бы две группы (именную и глагольную [10, с. 166—167]), иногда объединяемые в «предикативную» группу. У Дж. Мюйра, однако, состоящие из е д и н с т в е н н о й группы назывные и повелительные конструкции отнесены к предложениям на основе с м ы с л о в ы х критериев. И вполне естественно, поэтому, что предложение, как мы уже отмечали, в отличие от слова и группы, не может иметь в этой схеме обязательных элементов. Отойдя от ранее провозглашенного формального определения единиц грамматики, Дж. Мюйр невольно оказывается заодно с теми критикуемыми им самим авторами, которые определяют английское предложение как «законченную мысль» [16, с. 65].

Переходя теперь ко второй части исследования — анализу группы как структуры, образованной из слов, сперва познакомимся с классификацией групп у Дж. Мюйра. Автор отмечает в английском всего три возможных вида групп: именные, глагольные и адverbиальные. Именная может состоять из одного лишь обязательного существительного (*boy*) или иметь к нему левое определение (*the big boy*) и правое определение (*the big boy with red hair*). Глагольная группа тоже может состоять из обязательного «лексического» глагола (*comes*) или иметь перед ним вспомогательный глагол (*will come*) и отрицательный элемент (*will not come*). Адverbиальная группа бывает двух видов: либо она выражается наречием с примыкающими к нему словами (*sweetly, very sweetly, very sweetly indeed*), либо она выражается предложным сочетанием (*on the hill*) [16, с. 5—6].

Можно показать, однако, что подобная классификация обладает существенными недостатками. Что касается именной группы, то перед нами все то же представление о неопределенно длинной и сложной структуре, которому недостает формально-структурной строгости и которому выше была предложена альтернатива. Напротив, сужение границ глагольной группы до пределов личной формы глагола, вероятно, является слишком «жестким» шагом и поэтому тоже не дает ожидаемой строгости. Например, согласно этой схеме, разные дополнения должны присоединяться к сказуемому конструктивно по-разному (с помощью предлога или без него). Наконец, и объединение двух видов наречных групп происходит не на формально-структурной основе, а исходя из представления о членах предложения, поскольку оба вида функционируют в качестве обстоятельств.

С учетом сказанного мы намерены предложить собственную схему отношений между словами внутри группы. Причем если при анализе группы как составляющей предложения был использован индуктивный метод, то теперь обратимся к методу дедуктивному. На основе того, что известно о классификации слов и предложений, мы выдвинем свое предположение о классификации групп и это предположение затем проверим. Сразу оговоримся, речь пойдет только об и м е н н ы х и г л а г о л ь н ы х группах, ибо в обследованных нами текстах никаких иных составляющих конструктивной основы предложения не обнаружено. Из приведенных у Дж. Мюйра так называемых а д в е р б и а л ь н ы х групп первая (типа (*very sweetly (indeed)*), не имея возможности получить предлог для включения в конструктивную основу предложения, в принципе не может быть признана группой, а вторая (типа *on the hill*), хотя и может естественным образом включаться в конструктивную основу, выступает в качестве группы именной. Что же касается выделяемых иногда так называемых а д ь е к т и в н ы х групп, как в предложении *She made him happy (very much happier)* [10, с. 17], то они, на наш взгляд, представляют собой часть глагольной группы.

Начнем с предложений. Есть немало оснований полагать, что в аспекте формально-структурном предложения делятся прежде всего на простые и сложные; признаком простых является наличие одной основы (или одного ядерного предложения, т. е. пары «подлежащее — сказуемое»), а признаком сложных — наличие не менее двух таких основ<sup>7</sup>. Среди простых предложений выделяются нераспространенные, имеющие в своем составе только подлежащее и сказуемое, и распространенные, имеющие также другие члены предложения. В свою очередь среди сложных выделяются сложносочиненные, в которых составляющие их простые предложения

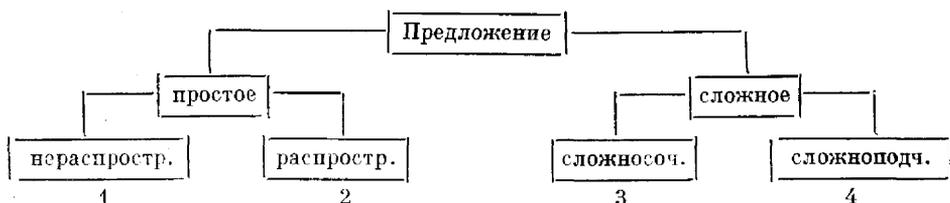


Рис. 3

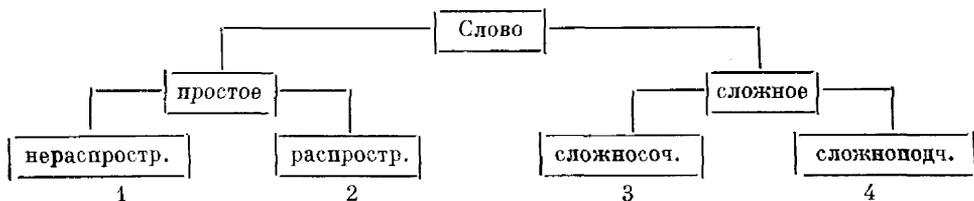


Рис. 4

связаны отношениями равноправными, и сложноподчиненные, в которых простые предложения связаны отношениями неравноправными, так что в каждом из таких сложных предложений можно выделить главное и подчиненное (придаточное). Графически это выглядит как на рис. 3.

Примеры: 1) *Water is eliminated*; 2) *During this reaction water is eliminated*; 3) *The smallest molecules are gases and the giant molecules are solids*; 4) *Enzymes, which are so vitally necessary for life, are proteins*.

Теперь обратимся к словам. Видимо, и здесь все единицы первоначально распределяются на две группы: слова простые и слова сложные; признаком простого слова является наличие одной корневой морфемы, а признаком сложного слова — наличие не менее двух корневых морфем. Среди простых слов выделяются нераспространенные, или непроизводные, имеющие в своем составе только корневую морфему, и распространенные, или производные, имеющие также аффиксальные морфемы. В свою очередь среди сложных выделяются сложносочиненные, в которых составляющие их простые слова связаны отношениями равноправными, и сложноподчиненные, в которых простые слова связаны отношениями неравноправными, так что в каждом из таких сложных можно выделить главную и подчиненную части<sup>8</sup>. Графически это выглядит как на рис. 4.

Примеры: 1) *use*; 2) *usual*; 3) *humdrum*; 4) *headache*.

Едва ли такой изоморфизм единиц уровня предложений и уровня слов, такое сходство в характере иерархий между грамматическими оппози-

<sup>7</sup> Такое формально-структурное определение предложения провозглашает, например, Дж. Мюр [16, с. 7]. Другие, в зависимости от ситуации, допускают как формально-структурное, так и смысловое определение [7, с. 1—2].

<sup>8</sup> Известно, что среди английских сложных слов подавляющее большинство составляют сложноподчиненные. Тем не менее принципиальная возможность образования также сложносочиненных слов и реальное существование массы таких слов позволяет учитывать их в типологическом рассмотрении. Показательно, что потенциальная возможность таких слов при необходимости может получать применение. Так, если до последнего времени среди сложносочиненных слова были рифмическими или аблаутными [17, с. 429—439], то в наши дни, прежде всего в быстро развивающихся отраслях знания, появляются термины, образованные по более свободным формулам, например, *input — output arrangement*.

циями — явления случайные. Поэтому можно предполагать, что и на уровне интересующих нас групп все единицы распределяются на простые группы и сложные группы. Признаком простой единицы служит наличие всего одной вершины, т. е. ядерного имени или ядерного глагола, а признаком сложной — наличие не менее двух таких вершин. Среди простых групп выделяются нераспространенные, имеющие в своем составе только вершину, и распространенные, имеющие также элементы распространения. Среди сложных выделяются сложносочиненные, в которых составляющие их простые группы связаны отношениями равноправными (с по-

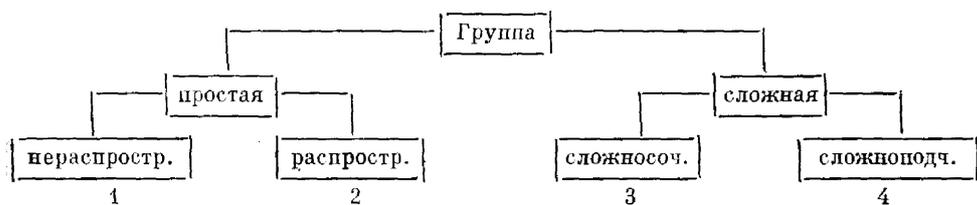


Рис. 5

мощью сочинительных союзов, запятых), и сложноподчиненные, в которых простые группы связаны отношениями неравноправными (с помощью предлогов). Иными словами, мы выдвигаем предположение, что и на уровне групп возможны те же самые четыре вида единиц, которые установлены для уровня слов и уровня предложений, что графически должно выглядеть как на рис. 5.

Примеры А. Именные группы — 1) *discovery*; 2) *important discovery*; 3) *ponds and lakes*; 4) *main groups of foods*; Б. Глагольные группы — 1) *forms the linkage*; 2) *forms the electrical linkage*; 3) *nears the Sun and moves more quickly*; 4) *are linked together by electrical forces*.

Чтобы проверить указанное предположение, мы вернулись к ранее обследовавшимся текстам и убедились, что, действительно, каждое из имеющихся там простых предложений (его конструктивная основа) членится именно на группы, относящиеся к ч е т ы р е м только что описанным видам. В качестве примера можно взять членение предложений, конструктивная основа которых уже была нами выделена (см. выше с. 80). К простым нераспространенным группам здесь надо отнести — *the ribbons, a pair of fibers, other types*; к простым распространенным — *contains 144 individual glass fibers*; к сложносочиненным — *are stacked and are surrounded; can carry 672 two-way telephone conversations, a two-way Picturephone conversation or an equivalent volume of information*; к сложноподчиненным — *light-guide cable of the type, several layers of protective material*.

Другим примером может служить членение начальных предложений первого абзаца основного текста журнальной статьи [1, с. 40], где неконструктивные элементы (негруппы) выделены курсивом: «The new system carries voice, data and video-signals over one and a half miles of underground cable interconnecting two switching offices of the Illinois Bell Telephone Company and a large commercial building in Chicago's business center. The Light-guide cable, *only half an inch in diameter*, contains 24 fibers in two ribbons of 12 fibers each. To match this capacity with conventional pairs of copper wires would require a cable *many times larger*. *Apart from such technological advantages*, the light-guide system will save copper and greatly increase the potential capacity of existing underground duct systems». Совершенно очевидно, что и на этот раз конструктивная основа предложений строится из тех же четырех теоретически возможных видов групп.

Таким образом, наше предположение о том, что именные и глагольные группы являются представителями особого уровня формально-структурной организации языка, системно расположенного между уровнем слов и уровнем предложений (см. выше с. 80), вероятно, можно считать подтвержденным. Следовательно, простая группа — это элементарная синтаксическая единица, которая

содержит существительное либо глагол, одиночные либо в сопровождении зависимых слов, и которая способна функционировать в качестве составляющей конструктивной основы предложения.

Ко второй части нашего анализа требуются такие замечания.

1) Совершенно очевидно, что результаты, полученные здесь, неотделимы от результатов, полученных в первой части анализа. (А те и другие, в свою очередь, неотделимы от предварительно развитых принципиальных моделей именной и глагольной групп.) Действительно, вывод о четырех видах групп невозможен без понятия конструктивной основы предложения, обеспечивающей предложению формально-структурную правильность. Он невозможен, далее, без ограничения репертуара групп (как единиц, иерархически расположенных между словом и предложением) только именными и глагольными группами. И он невозможен, наконец, без исключения предлога из состава именной группы (с сохранением за ним статуса соединительного элемента).

2) То обстоятельство, что создатели авторитетного труда по английской грамматике поместили в конце книги обширную главу о «сложной»<sup>9</sup> именной группе [5, с. 855—934], на наш взгляд, свидетельствует лишь о понимании ими неразработанности данной проблемы и в то же время о ее важности для дальнейшего проникновения в структуру языка. Но, добросовестно излагая факты, они не смогли подняться над уровнем эмпирической классификации, которая, не будучи структурированной, не становится и научной. Достаточно было в настоящей статье отграничить формально-структурный аспект проблемы от смыслового, как обнаружилось, что в примере (по мнению авторов, сложной группе) *the gas stove in the kitchen which I bought last month* именной группой следовало бы признать не весь речевой отрезок, а только его начало — *the gas stove*. Благодаря последовавшему затем дедуктивному анализу цепочек подобных групп были обнаружены доводы в пользу признания каждой из этих групп простой группой. Сами же цепочки получили, как можно думать, естественное право называться сложными группами.

3) Важным представляется вывод о существовании однословных групп. Некоторые авторы достаточно категорично утверждают, что группа (фраза) должна состоять не менее чем из двух слов [19, с. 168; 12, с. 49], хотя и расходятся во мнении о том, должны ли оба слова быть знаменательными или же одно из них может быть служебным<sup>10</sup>. Другие готовы считаться с группой из одного слова, но эту позицию никак не обосновывают [16, с. 5]. В рамках нашего построения впервые приведены аргументы объяснительной силы в пользу того, что однословная группа — структура закономерная. В числе установленных четырех видов групп она квалифицируется как «простая нераспространенная».

Разъясняя понятие изоморфизма, Е. Курилович показывает, как с помощью «метода внутреннего сравнения» обнаруживается сходство, например, между слогом и предложением. Отмечая, что объектом такого сравнения могли бы стать и слово, и группа, он не сомневается в возможностях, открываемых «структурными аналогиями» для более глубокого изучения «внутренних свойств, присущих языковым структурам» [20, с. 60]. В той мере, в какой полученные нами результаты могут считаться достоверными, они как будто подтверждают эту уверенность. Но, с другой стороны, в той же мере, в какой наши результаты распростра-

<sup>9</sup> Сложная группа противопоставляется в книге «базовой» группе (существительное плюс детерминант), и при этом «сложный» при рассмотрении группы означает вовсе не то, что при рассмотрении предложения. Вероятно, Ф. Палмер — единственный, кто (пусть мимоходом) отметил, что сложной следовало бы называть группу, «сложенную» из простых [18, с. 133].

<sup>10</sup> Р. Клоуз отличает фразу от группы: именной фразой могут служить как существительное, например, *George, boys*, так и именная группа, например, *the boys, the headmaster's desk* [9, с. 2].

нимы на область французского, они противоречат взгляду Е. Куриловича, будто сказуемое в предложении есть такой же «определяемый» член, как и вершинное слово в группе [21, с. 208—209]. По всей видимости, отсутствие у Е. Куриловича анализа группы как составляющей предложения не позволяет ему увидеть, что в аспекте формально-структурном группа (например, именная) возможна и без «определяющего» члена, тогда как предложение невозможно без подлежащего (именно оно квалифицируется автором в качестве «определяющего» члена к сказуемому).

Известно, что между единицами науки о языке и единицами объекта этой науки возможны расхождения, хотя исследователь и стремится создать теорию, в которой их было бы как можно меньше. Хотелось бы надеяться, что в нашем случае этих расхождений нет. Изоморфизм между единицами разных уровней грамматического анализа — явление, отражающее закономерности самого объекта лингвистики. При этом в связанных с этим изоморфизмом и зафиксированных нами особенностях синтаксматики слов, групп, предложений отражены тысячелетиями выработавшиеся два способа образования новых единиц-знаков из уже имеющихся. Посредством одного способа новые знаки создаются за счет модификации уже имеющихся, посредством другого — за счет их сложения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Scientific American*, 1977, v. 237, № 2.
2. *Oxford junior encyclopaedia*. V. 9. London, 1950.
3. *Валицков Ю. В.* Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979.
4. *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978.
5. *Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J.* A grammar of contemporary English. London, 1972.
6. *Nichols A. E.* English syntax. New York, 1965.
7. *A practical English grammar*. New York, 1977.
8. *Longacre R.* Some fundamental insights of tagmemics. — *Language*, 1965, v. 41, № 1.
9. *Close R. A.* A reference grammar for students of English. London, 1975.
10. *Quirk R., Greenbaum S.* A concise grammar of contemporary English. New York, 1973.
11. *Сосюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
12. *Beaugrande R., Dressler W.* Introduction to text linguistics. London, 1981.
13. *Кодухов В. И.* Введение в языкознание. М., 1979.
14. *Почепцов Г. Г.* Конструктивный анализ структуры предложения. Киев, 1971.
15. *Heindricks W. O.* On the notion «beyond the sentence». — *Linguistics*, 1967, № 37.
16. *Muir J.* A modern approach to English grammar. An introduction to systemic grammar. London, 1972.
17. *Marchand H.* The categories and types of present-day English word-formation. München, 1969.
18. *Palmer F.* Grammar. Harmondsworth, 1980.
19. *Hockett Ch.* A course in modern linguistics. New York, 1965.
20. *Kuryłowicz J.* La notion de l'isomorphisme. — *TCLC*, 1949, № 5.
21. *Kuryłowicz J.* Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition. — *Studia philosophica*, 1948, v. III.

ЧАРЕКОВ С. Л.

НАРЕЧНЫЕ СЛОВА И ЧАСТИЦЫ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ  
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

В монгольских языках существует специфическая и довольно обширная группа слов, относительно которой в научной литературе нет единства мнений. Отсутствие такого единства объясняется в первую очередь сложностью и неоднородностью самого языкового материала, а также многозначностью в функционировании одних и тех же словоформ в зависимости от конкретных случаев их употребления.

Близость подобных словоформ по некоторым своим свойствам к различным грамматическим разрядам слов приводит к тому, что исследователи относят их к наречиям, междометиям, звукоподражаниям, «образным словам» и т. п. Так, Б. Х. Тодаева причисляет подобные слова (*мулт* «совсем, совершенно»; *бут* «вдребезги»; *хуга* «совсем») к наречиям образа действия, оговаривая, что они «входят в состав сложных глаголов как их неотделимая часть» [1]. Такое уточнение уже само по себе свидетельствует об отсутствии полного тождества между приводимыми в качестве примера словами и собственно наречиями, обладающими большей самостоятельностью в употреблении. Подобные словоформы относятся к наречиям образа действия и в «Грамматике бурятского языка»: *хамха сохихо* «отломить»; *халба хүрэхэ* «отскочить в сторону». Причем отмечается, что эти наречия, употребляющиеся с глаголами, в переводе отдельно не передаются [2, с. 293]. Там же выделяются звукоподражательные, мимикоподражательные и «образные» слова, которые также отнесены к наречиям образа действия [2, с. 295].

Аналогичные словоформы в калмыцком языке Г. Д. Сажжеев также относит к наречиям образа действия и отмечает, что они «показывают усиление того или иного действия и не всегда могут быть удачно переведены на русский язык вне контекста» [3]. Вл. Котвич рассматривает их на материале калмыцкого языка как разновидность образных междометий, которые обозначают «быстрое, прерывистое действие или доведение действия до крайнего предела» [4, с. 148]. В работе М. У. Монраева выделены в самостоятельную группу «фразеологизированные наречные сочетания», определяемые как «двухкомпонентные сочетания, выполняющие в предложении функции обстоятельства образа действия и времени» [5]. Д. А. Алексеев выделяет группу идиоматических наречий на том основании, что эти наречия «в дословном переводе абсолютно не соответствуют тому, что они на самом деле обозначают» и далее уточняет: «Существо идиоматики заключается именно в том, что значение их зависит от семантики глагола» [6].

Некоторые из интересующих нас словоформ были рассмотрены Т. А. Бертагаевым под несколько иным углом зрения — вне связи с образованием и классификацией наречий. Словоформы типа *таха* (*таха хүрэхэ* «промерзнуть»), *хуга* (*хуга татаха* «вытянуть») рассматриваются автором как префиксоподобные образования, употребляющиеся с ограниченным кругом слов и полностью не формализованные как «настоящие» аффиксы. Поэтому упомянутые формы были названы Т. А. Бертагаевым префиксоидами [7]. Наиболее близка к позиции Т. А. Бертагаева точка зрения Л. Бэшэ, который в ряде работ называет подобные формы вербальными префиксами, или превербами [8]. Термины, предложенные Л. Бэшэ, представляются более точными, хотя недостаток их заключается в том, что и они не полностью отражают свойства этих словоформ, ограничи-

ваясь только сферой глагольных сочетаний и оставляя вне поля зрения способность некоторых из этих «превербов» сочетаться не только с глаголами, но и с прилагательными и существительными, где они играют роль усилителей признака. Например, форма *саб* в сочетании с глаголами обладает значениями «вдруг, сразу, крепко»: *саб тэбэрихэ* «вдруг обхватить руками» и *саб* в сочетании с прилагательными: *саб сагаан* «белый-пребелый» (т. е. «очень белый»). Форма *уй* в сочетании с глаголами обладает значением «вдребезги» (парн. *уй бута*) и может передавать значение, аналогичное русской приставке *раз-*: *уй бута сохихо* «раздробить, разбить». В сочетании же с существительными эта форма обладает значениями «очень, весьма»: *уй тумэн* «очень много», *уй тоохон* «очень мелкие пылинки»<sup>1</sup>.

Таким образом, термин «преверб», будучи вполне приемлемым для узкого круга форм, соотносимых с наречиями и приставками, оставляет в стороне многие другие формы, выполняющие сходные функции (имеются в виду уже упомянутые случаи и некоторые другие, о которых будет сказано далее). Поэтому в настоящей работе для обозначения рассматриваемых форм принят несколько более широкий термин «наречные слова и частицы». Безусловно, и этот термин далеко не всеобъемлющ и отражает только некоторые свойства этих форм, сближающих их с наречиями.

Под наречными словами здесь понимаются формы, которые или являются производными от каких-либо других слов, или сами допускают образование от них других словоформ. Например, *таха* в сочетании *таха бариша* «крепко держать» от *тахарха* «рваться, прерываться»; *хаха* в сочетании *хаха нэрьгэ* «раскалывать» и *хахад* «половина», *хахадаар* «пополам». В этих примерах формы *таха* и *хаха* можно считать наречными словами.

К наречным частицам следует отнести и формы типа *ёро* (усилительная частица к словам, начинающимся на *ё-*, *ёо-* — *ёро ёрбогор* «сильно торчащий, очень колкий»), *дара* (усилительная частица к словам с начальным *да-* — *дара далбагар* «очень широкий») и т. п. Наречные частицы в отличие от наречных слов не обладают самостоятельными формами словообразования и фонетически связаны с определяемыми ими словами.

Задача данной статьи — классификация и рассмотрение свойств тех или иных групп наречных слов и частиц и установление связей между выделенными группами с целью выявления генезиса наречных форм.

**К л а с с и ф и к а ц и я и х а р а к т е р и с т и к а н а р е ч н ы х с л о в и ч а с т и ц .**

Предлагается следующая классификация наречных слов и частиц: I группа. Простые наречные слова и частицы. В нее входят три вида форм: 1) слова-усилители наречного типа; 2) усилители к глаголам (превербы); 3) усилители к именам. II группа. Сложные наречные слова и частицы. Эта группа выделяется по чисто внешним формальным признакам и состоит из: 1) устойчивых сочетаний; 2) парных сочетаний; 3) удвоенных основ наречных слов и частиц. По существу своему словоформы этой группы соотносительны с наречными словами и частицами первой группы, а способы их словообразования сходны и с подлинными наречиями.

Необходимо также выделить еще одну группу слов, в которую войдут: 1) образные слова; 2) звукоподражания; 3) разного рода модальные частицы. Эта группа еще дальше отстоит от собственно наречий и практически не имеет с ними ничего общего, кроме того, что некоторые из этих форм могут выступать как в роли наречных слов, так и в роли перечисленных разрядов слов. Выделены эти группы слов здесь только для сравнения и как источник, откуда наречные слова и частицы черпают себе пополнение в отдельных случаях, но отнюдь не как входящие в систему наречных слов и частиц.

Рассмотрим подробнее каждую из выделенных групп.

1) Слова-усилители наречного типа. Внутри этой группы наречных слов можно в свою очередь выделить несколько различных подгрупп.

<sup>1</sup> Все примеры словосочетаний и их переводы приводятся по словарю К. М. Черемисова [9], а предложения-иллюстрации записаны автором в Джидинском р-не Буятской АССР.

Одна из таких подгрупп соотносится с наречиями-усилителями типа *бүриг, тон, хуу, шал* со значениями «очень, совсем, весьма». Отличие этой группы наречных слов от перечисленных наречий только количественное. Они реже употребляются, и круг их сочетаемости с определяемыми ими словами существенно уже, чем у подлинных наречий. Примерами подобных форм являются следующие. *Дам: дам сааша ябага* «еще дальше идти»; *дан: дан ехэ* «чересчур большой», *дэн муу* «слишком плохой»; *зуд: зуд хайн* «очень хорошо», *зуд муу* «очень плохо»; *лаг: лаг нойтон* «совершенно мокрый», *лаг хара* (тунк.) «совсем черный», *лаг шабар* «очень грязный»; *нэн үргэнөөр* «более широко»; *пад: пад харангы болобо* «стало совершенно темно, совсем стемнело», *пад хара* «совершенно черный»; *хэл: хэл шара үнэгэн* «ярко-рыжая лисица»; *шад: шад гэмэ шанга дуун* «очень резкий голос», *шад улаан* «ярко-красный»; *шун: шун улаан* «ярко-красный». Как видно из приведенных примеров, эти усилители в основном служат определениями к наречиям, к прилагательным, обозначающим цвет, а также к прилагательным и наречиям субъективной оценки «хороший», «плохой», «хорошо», «плохо».

Сфера употребления наречного усилителя *пад* «совсем, совершенно» еще уже — оно служит только для характеристики темного цвета.

В эту подгруппу входят и некоторые частицы, функционирующие как звукоподражания, причем семантической связи между двумя сферами этих омонимичных форм не прослеживается: *пад* — звукоподражание хлопанию, *тэс* — топоту. Следует отметить, что и форма *тон* «совсем, весьма, совершенно», отнесенная нами к собственно наречным формам, также имеет свой аналог среди междометий: *тон-тон гэхэ* «динь-динь» и, еще раз повторяем, отличается от рассматриваемой здесь группы только более широкой сферой сочетаемости и частотой употребления.

К следующей подгруппе мы относим наречные слова, имеющие аналоги в других грамматических разрядах слов, причем иногда семантическая связь между этими формами может прослеживаться. Например, *балай* «тьма, темный, слепой» и *балай* «совсем, очень, вовсе». Вне контекста эту связь трудно обнаружить, но сочетания *балай хара* «очень черный», *балай хогор* «совсем слепой» определенно свидетельствуют о связи этих двух словоформ. В дальнейшем же развитии этой формы связь семантики усиления «очень» с семантикой именных форм «тьма, темный», очевидно, ослабеваает, что и приводит к возникновению сочетаний типа *балай хайн бэйшэ* «не очень хорошо», в которых форма *балай* уже полностью оторвалась от первоначальной семантики и превратилась в наречный усилитель.

Аналогичный процесс, очевидно, происходил со словоформой *бузар*, имеющей три значения: 1) «грязь, грязный»; 2) «ужасно, отвратительно» и 3) «чрезвычайно, весьма». Связь между двумя первыми значениями достаточно явственна, а третье значение могло появиться на основе метафорического переноса значения, что дало возможность образования таких сочетаний, как *бузар олон* «очень много» («ужасно много») и даже *бузар хайн* «очень хороший» («ужасно хороший»).

Такая же связь выявляется между наречным словом *лай* «очень, весьма» и существительным *лай* «напасть, беда»: *лай хүндэ* «очень тяжелый»; между формой *бүрин* «весь, целый, полный» и *бүри* «совершенно, совсем, еще более»: *бүри үни* «совсем давно».

Подобная связь наречных форм возможна не только с именными формами, но и послелогами. Например, послелог *тээ* со значением «сторона, место» и наречное слово *тээ* «чуть, немного, несколько, незадолго»; *тээ бага зэргэ хүлээгээд ерши* «приходи немного погодя», *хүнийн тэнгэй тээ урда* «незадолго до полуночи», *тээ наана* «немного сюда» и т. п.

В выделенных здесь группах встречаются наречные слова, которые могут входить одновременно в две, а то и более групп. К таким формам относится наречие-усилитель *хуга*, обозначающее быстроту и резкость действия: *хуга харайн бодохо* «вскочить», т. е. «сразу встать, резко встать». Эту же форму можно отнести и к категории усилителей глаголов (превербов) в сочетании *хуга сохихо* «выбивать (из рук), вырывать, срывать».

Наречный усилитель *сэб* «совершенно»: *сэб хүйтэн* «совершенно холод-

ный» может выполнять роль усилительной частицы при именных частях речи: *сэб сэжэ урдаһаамни шэртэбэ* «[он] уставился совсем прямо на меня» (*сэжэ* «прямой; прямо»).

Усилительная частица *шал* «совершенно, совсем»: *шал шабар* «совершенно грязный» может выступать компонентом в «образных» и звукоподражательных словах: *шал-шул гэгэ* «булькать» (о воде); *шал-нял гэгэ* «шлепнать» (по грязи).

2) Усилители к глаголам (превербы). В этой группе усилителей также можно выделить ряд подгрупп, несколько различающихся между собой по своим свойствам, хотя это различие и не очень велико.

Первую подгруппу образуют частицы, употребляющиеся в сочетании с некоторыми глаголами, причем круг этих глаголов, как будет видно из приводимых далее примеров, весьма узок. Значение, которое эти частицы сообщают глаголам, соответствует значениям ряда русских приставок. В качестве примеров можно привести следующие сочетания этих частиц с глаголами:

<i>бута сохихо</i>	«разбить»	<i>хобхо сохихо</i>	«сбить»
<i>бута дараха</i>	«раздавить»	<i>холбо түлхихэ</i>	«столкнуть»
<i>бута дэбһэхэ</i>	«растоптать»	<i>холто татаха</i>	«отдирать»
<i>бута нэрэгэ</i>	«разгромить»	<i>холто сохихо</i>	«отламывать»
<i>нила дараха</i>	«раздавить»	<i>хуу татаха</i>	«срывать»
<i>нила һурэхэ</i>	«расплющить»	<i>хуу удьхэлэ</i>	«сталкивать»
<i>огло сохихо</i>	«выбить»	<i>хэгэ татаха</i>	«выдирать»
<i>огло татаха</i>	«вырвать»	<i>хэмэ сохихо</i>	«отломить»
<i>ото харайха</i>	«перепрыгнуть»	<i>хэмэ татаха</i>	«отломить»
<i>ото харбаха</i>	«прострелить»	<i>хяа сохихо</i>	«разбить»

Эти примеры хорошо демонстрируют как оттенки значений, которые придают частицы глаголам, так и семантику глаголов, которые употребляются с этими частицами. Подавляющее большинство глаголов заключает в себе значение разрушения, разделения целого на части или отделения части от целого. Что же касается значения усиления, то наличие его в данных примерах весьма проблематично, хотя в некоторых случаях оно оказывается включенным в семантику словосочетания. Так, в примере *холбо түлхихэ* «столкнуть» можно предположить усиление действия по сравнению со значением этого же глагола *түлхихэ* «толкать, пихать» без частицы *холбо*. Тем не менее цель присоединения подобных частиц состоит не в усилении действия, выраженного глаголом, а в придании ему дополнительных оттенков другого рода.

Поэтому для этих и им подобных частиц, выделенных в первую подгруппу, термин «преверб» подходит больше всего.

Во вторую подгруппу войдут частицы, которые отличаются от превербов первой подгруппы только тем, что в некоторых сочетаниях с глаголом значение усиления действия у них проявляется более отчетливо, настолько отчетливо, что это значение должно быть зафиксировано при переводе специальной словоформой. На русском языке значение усиления чаще всего (но не всегда, как покажут примеры) фиксируется наречием. И это единственное основание для сближения подобных форм в монгольских языках с наречиями. Примеры такого типа превербов следующие: *сүмэ сохихо* «пробить» и *сүмэ тодорбо* «[все стало] совершенно ясно»; *хагза һурэхэ* «разбиться, расколоться» и *хагза гэшхэхэ* «раздавить, растоптать, сильно размять». Наречный оттенок носят и следующие частицы в сочетании с глаголами: *ама һурэжэ унаха* «совсем отвалиться», *таһа бариха* «крепко держать», *хам тэбэрихэ* «крепко обхватить», *шолбо сохихо* «сильно избить». Усилительное значение, заключенное в некоторых из этих частиц, не обязательно передается на русский язык наречиями-усилителями. Способы могут быть разными, но значение усиления остается тем же. Например, *доло эдихэ* «все съесть», *үбһэ нюла сабшаха* «траву дочиста (совсем) скосить», *һамна татаха* «сносить до основания» («совсем сносить, разрушать»). Для отнесения этих частиц к наречным формам уже есть некоторое основание, но вместе с тем эти формы не теряют и свойств превербов.

Третья подгруппа принципиально не отличается от первых двух в семантическом отношении. Значения, передаваемые формами, в нее входящими, аналогичны значениям рассмотренных частиц. По принятому определению формы, входящие в третью подгруппу, можно считать наречными словами, поскольку от них возможно образование глаголов, иногда имен и, даже, собственно наречий с суф. *-аар*. Например, *низа жажалха* «разжевать», *низа сохихо* «разбить в пух и прах», *низалха* «раздавить, размельчить, растолочь»; *нуга татаха* «согнуть», *нугалуур* «сгиб», *нугалла* «сгибать»; *нэбтэ гараха* «пройти насквозь», *нэбтэ сохихо* «пробить», *нэбтэ хараха* «видеть насквозь» (ясно), *нэбтэ харбаха* «прострелить», *нэбтэлхэ* 1) «пронизать», 2) «промочить», 3) «проходить насквозь»; *хаха дэбхэгэ* «растоптать», *хаха нэрхэгэ* «раскалывать», *хагад* «половина», *хагарал* «политический раскол», *хахадаар* «пополам»; *хэтэ алхаха* «перешагивать», *хэтэ гараха* «пройти», *хэтэрхэ* «прорываться». Семантическая связь глаголов и существительных с частицами, от которых они образованы, несомненна. Поэтом можно считать, что перечисленные выше наречные слова в какой-то степени обладают самостоятельным значением.

Во всех монгольских языках широко распространено образование от подобных частиц и слов переходных глаголов с помощью суф. *-ра*. В калмыцком языке это явление было описано Вл. Котвичем [4, с. 96—97]. В бурятском языке К. М. Черемисов считает формы с суф. *-ра* и без них полностью синонимичными, давая в словаре отсылочную помету, например, *хэтэрэ* см. *хэтэ*; *шобторо* см. *шобто* и т. п. [9].

Среди всех превербов, которым приписывается значение усиления, существует преверб *халта*, несущий в себе ярко выраженное (в отличие от неярко выраженного значения усиления) значение ослабления действия «чуть-чуть, едва, слегка» (ср. западнобурятское *халтагай* «половина»): *Ажалайнгаа нүүлээр халта эсээб* «После работы слегка устал», *Үсээлдэр халта хулта бороо ороо* «Вчера чуть-чуть шел дождь», *Халтад гээ хаа агы нураха* «Еще чуть-чуть и пещера обвалится». Впрочем, значение ослабления можно считать усилением с обратным знаком, либо с обратной направленностью. Интересно лишь то, что эта обратная направленность существенно отчетливее прямой.

К четвертой, весьма немногочисленной подгруппе, можно отнести превербы, обладающие способностью сочетаться не только с глаголами, но и с именными частями речи. Примерами такого рода могут служить следующие частицы: *саб тэбэрихэ* «вдруг схватить руками», *саб байса хэлэхэ* «говорить уверенно и решительно» и *саб сагаан* «белый-пребелый» (очень белый); *сэл хүрэйшөө* «совсем замерз» и *сэл ногоон* «темно-зеленый», *сэл хүхэ* «ярко-синий»; *үй бута сохихо* «разгромить, разбить» и *үй түмэн* «очень много, весьма» (*түмэн* «десять тысяч; тьма; множество»), *үй тооһон* «очень мелкие пылинки»; *юлэ бууха* «разваливаться» и *юлэ хүрэйшэн* (причастие) «пробитый, дырявый».

В эту же подгруппу можно включить частицы, способные образовывать значащие наречные слова в сочетании с такими же частицами: *үй бута*, *бала биса*, *үлти биса*, *үлти зада*, *бута хамха* — все эти сочетания обладают значением «вдребезги», и этим их список, по всей видимости, и ограничивается.

3) Усилители к именам. В количественном отношении эта группа существенно обширнее, чем две предыдущие. В ней насчитывается в два раза больше словоформ, чем в группе наречных слов-усилителей, и в полтора раза больше, чем превербов.

Усилители этой группы представляют собой частицы, повторяющие первые один — четыре звука определяемого ими имени. Самостоятельного значения эти частицы, как правило, не имеют, а значит и связаны с определяемыми ими словами еще теснее, чем превербы, фонетически не зависящие от сочетающихся с ними слов.

Наибольшее количество подобных усилителей употребляется с именами прилагательными, образованными при помощи продуктивного суффикса имен прилагательных *-гар* (*-гор*, *-гэр*). Прилагательные с этим суффиксом в основной своей массе употребляются для описания внешнего

вида и частей тела человека, животных, деревьев и кустарников, цветовых характеристик и некоторых других качеств предметов [10]. Основная сфера употребления частиц-усилителей лежит именно в этих рамках.

Наиболее распространенные сочетания прилагательных с частицами-усилителями:

<i>ара арбагар</i>	«очень косматый»	<i>нэрэ нэбьхэгэр</i>	«очень толстый»
<i>бара бабагар</i>	«сильно лохматый»	<i>сара салигар</i>	«очень острый»
<i>бира билбагар</i>	«совсем обрюзгий»	<i>сари сахигар</i>	«ярко сияющий»
<i>бэрэ бэлтэгэр</i>	«совсем выпученный»	<i>тара тархагар</i>	«очень низенький»
<i>годо годогор</i>	«сильно приподнятый»	<i>ура уршагар</i>	«очень морщинистый»
<i>горо гохигор</i>	«совсем изогнутый»	<i>хоро хорхогор</i>	«весьма неприветливый»
<i>дала далбагар</i>	«очень широкополый»	<i>хурэ хурхэгэр</i>	«сильно раздутый»
<i>эро эрбогор</i>	«сильно торчащий», «очень колкий»	<i>һара һарнагар</i>	«сильно раздувшийся»
<i>зара зантагар</i>	«слишком большоголо- вый»	<i>һэрэ һэртэгэр</i>	«сильно торчащий»
<i>шара шантагар</i>	«очень курносый»	<i>шала шалбагар</i>	«сильно загнутый»
<i>заб зантагар</i>	«очень большоголовый»	<i>шара шантагар</i>	«очень курносый»
<i>мара мархагар</i>	«очень большой»	<i>шобо шобогор</i>	«очень острый»
<i>моро монсогор</i>	«совсем круглый»	<i>шодо шобогор</i>	«очень тонкий»
<i>паб пантагар</i>	«совершенно лохматый»	<i>шоро шодагор</i>	«очень тонкий»
<i>пара падагар</i>	«совсем густой»	<i>яра ядагар</i>	«сильно загнутые и острые [роза]».
<i>пара падагар</i>	«очень полный»		

Судя по примерам, эта группа довольно однородна, и почти все частицы-усилители закреплены за определенными прилагательными, в зависимости от двух первых звуков. Далее второго звука уже могут обнаруживаться расхождения. Так, одно и то же прилагательное *зантагар* «большеголовый» может присоединять две частицы-усилителя *заб* и *зара*: *заб зантагар хун* «большеголовый человек» и *зара зантагар* «имеющий чрезмерно большую голову». И, наоборот, одна и та же частица *һара* может сочетаться с двумя прилагательными, различающимися уже по третьему начальному звуку: *һара һарнагар* «сильно раздувшийся» и *һара һалтагар* «чересчур коротконогий».

Употребление частиц-усилителей с иными прилагательными, образованными при помощи других суффиксов и с другой семантикой, явление относительно редкое. В основном это прилагательные, обозначающие цвета и, в единичных случаях, иные прилагательные, не объединяющиеся в какую-либо определенную семантическую группу. В качестве примеров можно привести следующие: *бод боро* «совершенно серый», *ноб ногоон* «ярко-зеленый», *уб улаан* «ярко-красный», *хоб хоохон* «совершенно пустой», *хуб хуурай* «совсем сухой», *хэб хэзээнэй* «совсем давно», *һоб һонор* «очень чуткий», *эб эли* «очень ясный», *зэб зэрлиг* «совершенно дикий», *мад малаан* «совсем лысый». Очень редко встречается употребление этих частиц с другими частями речи: *габ ганса* «совершенно один», *гэб гэнтэ* «совершенно неожиданно».

Весьма невелики связи этих частиц с другими формами — звукоподражательными частицами, образными словами и т. п. Если какую-либо связь между этими видами словоформ и можно найти, то чаще всего она носит случайный характер формальных совпадений, например, *аб-аб гэхэ* (звукоподражание тьякканью) и *аб адли* «совсем одинаковый» (*аб* — усилитель); *утаа бад-бад гүүлэхэ* «пускать дым клубами» (образное слово) и *бад балай* «темным-темно, совсем темно». Интересно, что в случаях совпадений звукоподражательных частиц с усилительными последние (в значении усилителей) приобретают более широкую сочетаемость с прилагательными и могут определять не только слова с совпадающими начальными звуками, но и другие: *бал сал гэхэ* «булькать» и *бал бамбаахай* «очень пушистый», а также и *бал хара* «иссиня черный»; *лүг-лүг* «тук-тук» (о биении сердца) и *лүг хара* «совершенно черный»; *тад гэсэ* «со стуком» и *тад буруу* «совершенно неправильно», *тад улаан* «совершенно красный», *тад һохор* «совершенно слепой». Отдаленная семантическая связь между двумя видами форм прослеживается только в единичных случаях: *шал-нял гэхэ* «шлепать по грязи» и *шал шабар* «совершенно грязный».

Очень редко вообще и существенно реже, чем слова-усилители и превербы, рассматриваемые частицы допускают образование от них других

частей речи. Пример такого рода: *тэб* — звукоподражание стуку, шуму; *тэб тэгийэ* «совершенно ровный» (от *тэгийэ* «ровный») и производные от усилительной частицы *тэб* — *тэбхысэ* «ровно, аккуратно», *тэбхытэр* «ровно», *тэбхыэ* «быть ровным», *тэбхэ* «подпорка, подставка».

Таким образом, из изложенного выше материала можно сделать вывод о том, что усилители к именам, в отличие от двух других видов усилителей, являются более однородными по своим свойствам и не дают достаточных оснований для выделения из их состава каких-либо строго очерченных и достаточно крупных подгрупп. Связи этих усилителей с другими формами значительно слабее, реже и, возможно, носят чисто случайный характер.

Перейдем теперь к рассмотрению сложных наречных слов и частиц. Эти формы также делятся на три группы, которые можно обозначить как удвоенные наречные сочетания, парные наречные сочетания, наречные сочетания. В отличие от простых наречных слов и частиц среди сложных слов имеются не только усилители и, даже, не столько усилители, сколько наречия образа действия. Отличие их от собственно наречий состоит в том, что вне сочетаний они не употребляются и самостоятельного лексического значения, как правило, не имеют.

Как и во всех остальных случаях с наречными словами и частицами, между подгруппами и между другими грамматическими категориями слов (образными словами, звукоподражаниями и собственно наречиями) часто трудно провести отчетливую границу. Поэтому всякое деление на группы и подгруппы оказывается в какой-то степени условным.

1. Удвоенные наречные сочетания. Эта группа представляет собой наречные формы, образованные путем простого повтора первоначального наречного слова, например, *аабаг-аабаг* «неуверенно», «еле-еле»; *мэнэ-мэнэ* «вот-вот, вот сейчас», *мэнэ-мэнэ ерэхэ* «вот-вот придет»; *мэхэр-мэхэр энэхэ* «беззвучно смеяться»; *ноби-ноби* «еле-еле, кое-как».

Некоторые удвоенные наречные сочетания близки звукоподражательным и образным словам: *наар-наар дуугарха* «громко говорить», *наар-наар энэхэ* «раскатило смеяться», *гэнгир-гэнгир хусаха* «зря лаять, брехать»; *ян-ян гэхэ*, *ян-ян дуугарха* «ворчать».

От некоторых основ могут быть образованы глаголы и прилагательные: *нобишхо* «быть слабеньким, еле держаться на ногах»; *аабагар* «лишенный твердости, неуклюжий»; *аабаганаха* «производить неуверенные движения».

Иногда параллельно с удвоенными сочетаниями от тех же основ образуются парные сочетания, в которых один из компонентов представляет собой фонетический вариант той же основы. При этом значение всего сочетания в целом не меняется. Варьироваться может как первый компонент сочетания, так и второй: *аабаг-аабаг* «неуверенно, еле-еле» и *ээбэг-аабаг* «едва-едва, с трудом»; *аамаг-аамаг жажалха* «жевать, усиленно открывая и закрывая рот» и *аамаг-оомог* с тем же значением. Глаголы в подобных случаях могут образовываться от обоих компонентов: *аамаганаха* «усиленно открывать и закрывать рот», *оомогонох* «жевать беззубым ртом». Как видим, в производных формах эти компоненты могут приобретать самостоятельное и, к тому же, отличное от первоначального значение. Иными словами, сами компоненты уже оказываются способными семантически дифференцироваться, демонстрируя тем самым один из возможных путей словообразования вообще.

Группа удвоенных наречных сочетаний весьма немногочисленна по сравнению с двумя следующими группами.

2. Парные наречные сочетания. Парные наречные сочетания представляют собой одну из разновидностей парных слов, имеющих широкое распространение в монгольских языках. Образуются эти сочетания путем всевозможных фонетических вариаций основы: чередований гласных, чередований согласных, наращением согласного во втором компоненте, повторением первых и последних слогов и т. п. способами.

Некоторые из этих парных наречных сочетаний могут быть соотнесены с образными словами: *халжар-хулжар ябаха* «идти вразвалку» (размахивая руками), *обхор-собхор* «вприпрыжку» (о беге волка). В некоторых

случаях парное сочетание может функционировать в двух качествах — как существительное и как наречие: *эбэл-эбэл* «то и сё; там и сям». Изредка прослеживается связь парных сочетаний с усилительными частицами: *ама* «совсем, совершенно» и *ама-яма* «в большом количестве».

Основную же массу парных наречных сочетаний представляют формы следующего типа:

<i>ааг-зааг</i>	«перешительно»	<i>буур-туур</i>	«смутно, неясно, еле-еле»
<i>абар-табар</i>	«кое-где, редко»	<i>тал-мал</i>	«неясно, непонятно»
<i>абир-шэбэр</i>	«шепотом»	<i>унды-сунды</i>	«разбросанно, вперемежку»
<i>хабир-шэбэр</i>	«шепотом»	<i>хулиб-халиб</i>	«небрежно, кое-как»
<i>абта-ябта</i>	«с шумом»	<i>хали-боли</i>	«небрежно, кое-как»
<i>ана-мана</i>	«почти одинаково»	<i>эг-тэг</i>	«перешительно»

Как показывают приведенные примеры, большинство парных наречных сочетаний по своей семантике близко к значениям, передаваемым наречиями образа действия.

3. Наречные сочетания. Под этим названием подразумеваются сочетания наречных слов или частиц с глагольными или иными формами, либо заключающими в себе характеристику действия, либо передающие значения усиления или ослабления действия, либо являющиеся определениями к прилагательным. Фонетические связи между компонентами сочетаний, в отличие от предыдущей группы, в этом случае отсутствуют. Во всем остальном эта группа форм ничем не отличается от двух предыдущих групп, и потому можно ограничиться лишь перечислением некоторых сочетаний в качестве примеров:

<i>байд гээд</i>	«немного погоды»	<i>намтаг гэхэ</i>	«немного опускаться»
<i>бард байса</i>	«громко, резко»	<i>ори ганса</i>	«совсем один»
<i>бард байтар</i>	«громко, резко»	<i>оро бодогуй</i>	«безудержно»
<i>бурд байса</i>	«мигом, моментально»	<i>улгэ халга гэхэ</i>	«еле-еле двигаться»
<i>нэгэ муһэн</i>	«разом, сразу»	<i>шараа нюсэгэн</i>	«совсем голый».

Приведенные примеры демонстрируют связь этих наречных сочетаний с образными словами, усилительными частицами, а также возможность сочетания наречных слов с глагольными формами, именными (прилагательными, числительными) и с наречиями.

Наречия и наречные слова. Сопоставление и генезис.

Два вида наречных слов, выделенных нами, казалось бы, по чисто внешнему, формальному признаку (простые и сложные), тем не менее продемонстрировали как относительную цельность внутри каждого из видов, так и существенные различия.

Основное различие лежит в плане семантики. Первый вид представляет собой усилители действия или качества, второй вид характеризует действие или качество. Первый вид более многообразен и подвижен. Он допускает деление не только на группы, но и на подгруппы с различающимися свойствами. Второй вид более однороден, не допускает деления на подгруппы, а различия между группами носят незначительный характер. Общее между этими двумя видами в том, что и те и другие наречные формы в той или иной степени связаны с определяемыми ими словами и сфера их употребления ограничена. Общность между всеми видами наречных слов и частиц и собственно наречиями заключается в их роли определителей к глагольным и именным формам. Подробный анализ наречных слов может иметь значение для решения вопроса о происхождении наречий. С этой точки зрения особый интерес представляет связь многих наречных слов с образными и звукоподражательными словами.

Если принять за отправной пункт положение о развитии языка от простого к сложному, то именно образные слова и звукоподражания следует рассматривать как наиболее примитивные, а следовательно, и первичные слова. При этом самым первым, низшим этапом будут звукоподражательные слова как отражающие чисто внешний, в данном случае, акустический образ отражаемого явления. Следующим этапом развития

будут образные слова, заключающие в себе уже не просто образ (хотя, очевидно, какая-то связь между звуковым оформлением слова и сутью обозначаемого им явления все-таки имела место), но наименование действия и его характеристику одновременно.

Вместе с тем, как пишет Л. Д. Шагдаров, «обобщающая сила образных слов чрезвычайно мала, т. е. они отличаются большей конкретностью своего значения». Далее автор поясняет это положение следующим образом: «...для них (образных слов. — Ч. С.) нет, например, общего понятия „ходить“, „шагать“, а есть только внешние проявления его: *муяг-муяг гэхилхэлэ* „(ходить) с согнутыми в коленях ногами“; *мушхас-мушхас гэхилхэлэ* „(шагать), плавно изгибая корпус...“» [11].

Как видно из этих и многих, приводившихся выше примеров, характеристика действия, т. е. то, что впоследствии выделилось в отдельные словоформы (наречия), первоначально было заключено в одном слове. Эта особенность наиболее архаичных из известных нам форм давала возможность некоторым исследователям делать обобщения следующего характера: «...первоначально действия и состояния, выражаемые в глаголе, не мыслились отвлеченно, но всегда включали в себя определенную характеристику, выступая с этой характеристикой как одно понятие». И далее: «то, что мы теперь называем характеристикой глагола, что теперь у нас выражено наречием, входило в качестве неразрывной составной части в семантику действия или состояния» [12].

Подобный путь формирования наречий, безусловно, представляется возможным, хотя и не единственным. Возражение вызывает лишь абсолютизация этого способа образования наречий. Во-первых, в любом современном языке продолжает существовать большое количество глаголов, сохранивших в себе характеристику действия в невычлененном виде, например, *мчатся* означает «быстро передвигаться». Во-вторых, особенность наречных слов, связанных с образными словами, не в том, что они заключают в себе характеристику действия, а в том, что само действие мыслится образно, а не понятийно. И, наконец, в-третьих, какими бы древними ни представлялись нам эти реликтовые формы образных слов, но за ними также стоит долгий путь развития с еще более древних времен и сами они являются результатом развития каких-то неизвестных нам фактов и явлений. Именно это обстоятельство позволило Ц. Б. Цыдендамбаеву выделить в образительных словах, обозначающих движение, четырнадцать слогов-суффиксов, обладающих относительно самостоятельным значением, и прийти к заключению «о производности современных первичных основ, хотя теперь невозможно выделить корень — первый слог этих основ» [13].

Было бы неверно связывать образование всех наречий только от рассмотренных здесь наречных слов и частиц еще и потому, что последние разнородны по своим свойствам и образование их, по всей видимости, происходило не одновременно. Так, почти наверняка, частицы-усилители к именам образовались значительно позже глагольных усилителей (превербов), поскольку первые служат определителями в основном к производным прилагательным, т. е. уже прошедшим достаточно долгий путь развития, и связи этих частиц с другими формами, в том числе с более древними (звукоподражаниями), гораздо слабее. Отличие усилителей к именам от превербов заключено еще и в том, что сами они не образуют никаких самостоятельных форм, в то время как от превербов допускается образование глагольных форм.

Что же касается происхождения наречий от наречных форм, то наиболее вероятным представляется образование производных наречий от слов-усилителей наречного типа, обладающих большей способностью к сочетаемости с различными формами и потому большей самостоятельностью.

Подводя итоги рассмотрению наречных слов и частиц, можно представить следующий путь перехода некоторых наречных слов в собственно наречия.

Первый этап — существование слов (звукоподражательных или об-

разных большей частью), несущих в себе и номинативное, и вербальное, и атрибутивное значения.

Второй этап — выделение слов и частиц, заключающих в себе характеристику действия или предмета. Причем эти выделившиеся формы жестко закреплены за словоформой или за группой форм в зависимости от фонетических условий и с другими формами не сочетаются.

Третий этап — расширение сферы употребления этих слов и частиц, приводящее к большей «самостоятельности» отдельных форм и к способности становиться основой для образования других грамматических рядов слов (глаголов, прилагательных и др.). Этот процесс сопровождается появлением у данной словоформы самостоятельного лексического значения прежде отсутствовавшего либо нечетко выраженного.

Четвертый этап — полный отрыв от каких-либо ограниченных групп определяемых ими слов, развитие полноценного лексического значения с достаточным уровнем абстракции, т. е. на данном этапе осуществляется полный переход к собственно наречиям.

Этот путь возможен в первую очередь для наречий-усилителей, хотя и не только для них. Другие виды наречий могли формироваться иным образом. Так, например, формирование конверсивных наречий, очевидно, шло другим путем: в одних случаях прилагательные, определяющие существительные, получали возможность характеризовать глаголы. Вероятен также и переход существительных в наречия. Формирование конверсивных наречий, по всей видимости, шло если не позже становления непроизводных наречий, то, во всяком случае, параллельно образованию непроизводных и совершенно независимо от них.

Более поздним образованием явились производные наречия, представляющие собой обособившиеся падежные либо другие формы, о чем уже было сказано достаточно много. Однако и при образовании более поздних, производных наречий иногда использовались способы, выработанные языком в процессе формирования самых древних наречных форм, например, способ удвоения основы, чередования гласных или согласных и т. п.

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что наречные слова и частицы представляют собой самостоятельную служебную часть речи, выполняющую роль префиксов и различных частиц, а по своим функциям приближающуюся к наречиям. Их развитие шло от звукоподражательных и образных слов к собственно наречиям путем расширения сферы употребления отдельных форм и возникновения в процессе речевой практики «самостоятельной» семантики. Таким образом, роль наречных слов и частиц в качестве фундамента для развития некоторых групп наречий не вызывает сомнений.<sup>1</sup>

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Тодлева Б. Х.* Грамматика современного монгольского языка. М., 1951, с. 155—156.
2. Грамматика бурятского языка. М., 1962.
3. *Санжеев Г. Д.* Грамматика калмыцкого языка. М.—Л., 1940, с. 61.
4. *Котвич Вл.* Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Петроград, 1915.
5. *Монраев М. У.* Наречие в современном калмыцком языке: — Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1974, с. 14.
6. *Алексеев Д. А.* Наречие в бурят-монгольском языке. Улан-Удэ, 1941, с. 77, 78.
7. *Бертгаев Т. А.* Морфологическая структура слова в монгольских языках. М., 1969, с. 24—25.
8. *Vese L.* A study in Buriat preverbs. — Acta Orient. Hung., 1966, t. XIX, f. 2.
9. *Черемисов К. М.* Бурятско-русский словарь. М., 1973.
10. *Дондуков У.-Ж. Ш.* Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке. Улан-Удэ, 1964, с. 72—74.
11. *Шагдаров Л. Д.* Изобразительные слова в современном бурятском языке. Улан-Удэ, 1962, с. 124—125.
12. *Рифтин А. П.* Об образовании наречий. — Уч. зап. ЛГУ, 1946, вып. 6, с. 52.
13. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Изобразительные слова в бурятском языке. — В кн.: Филология и история монгольских народов. М., 1958, с. 137

ШУЛЬГА М. В.

**О ПРИЧИНАХ УСТРАНЕНИЯ РОДОВЫХ РАЗЛИЧИЙ  
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ У РОДОИЗМЕНЯЕМЫХ СЛОВ**

Как известно, в истории русского языка на протяжении XI—XV вв. в формах И. и В. мн. имен существительных и согласующихся с ними в роде, числе и падеже слов произошли немаловажные изменения, в частности, совпали падежные формы мужского рода, частично утратились родовые различия у существительных и полностью — у прилагательных, местоимений и причастий. Ср. в старорусском И.-В. мн.: *новыѣ плоды, меды, пути, камени; страны, вещи, църкѣви; села, имена* при различиях в формах древнерусского языка старшего периода — И. мн. мужского рода: *новиши плоди, медове, путие, камене*; В. мн. мужского рода: *новыѣ плоды, меды, пути, камени*; И.-В. мн. женского рода: *новыѣ страны, вещи, църкѣви*; И.-В. мн. среднего рода: *новая села, имена*<sup>1</sup>. Утрата падежных различий и различий между формами мужского и женского рода взаимосвязаны; очевидна также и признается всеми исследователями (хотя в конкретных интерпретациях и непоследовательно) взаимосвязь изменений в субстантивных формах — определяемых и в атрибутивных — определяющих. Но в вопросе о причинах этих изменений и о направлении причинно-следственных отношений мнения расходятся. Известны усилия решить эту проблему на конкретном материале памятников, однако и они приводят к взаимоисключающим выводам [1—3].

Этим объясняется настоящая попытка подойти к данному вопросу с другой стороны — исходя из структуры родовых, числовых и падежных противопоставлений и характера связей между субстантивными и атрибутивными формами как между средствами, выражающими одни и те же грамматические значения, но на разных уровнях: на морфологическом (в формах самих существительных) и на синтаксическом (в формах согласуемых слов). Такой подход может привести, на наш взгляд, к доказательству одних гипотетических интерпретаций и к пересмотру других.

Мы остановимся лишь на следующих аспектах этой многоплановой проблемы: на причинах утраты родовых различий в формах множественного числа существительных (1); на вытекающих из этого выводах в отношении форм согласуемых с существительными слов (2); на древнерусских соответствиях в развитии форм определяемых и определяющих, подтверждающих эти выводы (3).

1. Утрата родовых различий в формах множественного числа существительных в истории русского языка нередко рассматривается как явление причинного характера, как тенденция языкового развития [4—7]. Однако это не согласуется с тем, что именно грамматический род играл ведущую роль в развитии древнерусского субстантивного склонения. Он предопределял объединение и унификацию парадигм одного и того же

<sup>1</sup> Мы не акцентируем внимания на изменениях в формах мягкой разновидности склонения, так как они в значительной мере предопределены влиянием форм твердой разновидности и одинаковы для всех падежных позиций, где имелась морфологическая корреспонденция *ы — ѣ* (*страны — землѣ* и под.).

(и каждого) грамматического рода не только в формах единственного числа, но (едва ли не на протяжении всего древнерусского периода, см. [8]) и множественного. В формах единственного числа грамматический род сохраняет актуальность и в дальнейшей истории восточнославянских языков, вплоть до наших дней. На фоне этих общеизвестных и общепризнанных фактов возникновение тенденции к утрате родовых различий (хотя бы и только в формах множественного числа) остается явлением необъяснимым.

Мы исходим из той концепции развития субстантивных парадигм множественного числа, которая обосновывается в работах В. М. Маркова [9, 10] и проводится в книге К. В. Горшковой и Г. А. Хабургаева [11]. Здесь история утраты родовых различий в субстантивных формах множественного числа убедительно представлена как следствие реализации двух автономных по своему происхождению тенденций:

1) объединения И. и В. мн. в системе форм существительных мужского рода (*плоди* и *плоды*, *медове* и *меды*, *путие* и *пути*, *камене* и *камени*), которое привело к совпадению их по флексии с формами женского рода типа *страны*, *вещи*, *църкѣви*;

2) тенденции к однозначной соотносительности значения расчлененности (инвариантного значения форм множественного числа) и средств выражения расчлененности (подробнее см. [12]). Она реализуется в унификации парадигм множественного числа путем вычленения формообразующего аффикса *-а-* как показателя множественного числа и обнаруживается в новообразованиях типа *селамаъ*, *дворянамаъ*, *селахаъ*, *дворянахаъ*, на раннем этапе соотносительных с формой И. -В. мн. на *-а* (*села*, *дворяна*), позднее также в новообразованиях типа *селами*, *дворянами*. При этом происходит объединение по флексии среднего и мужского рода с женским родом (ср. *странами*, *странахаъ*).

При таком подходе частичное устранение родовых различий в формах множественного числа существительных предстает как следствие изменений в выражении падежных и числовых значений.

2. Если исходить из этой концепции (а она позволяет с наибольшей достоверностью интерпретировать основные факты древнерусской письменности), то в формах согласуемых с существительными в роде, числе и падеже слов устранение родовых различий предстает как отражение соответствующих процессов в истории субстантивного склонения. Это вытекает, прежде всего, из характера и направления связей между падежно-числовыми формами существительных и слов, выполняющих атрибутивную функцию.

1) Падеж в атрибутивных формах — явление чисто согласовательное (синтаксическое). Он лишен собственного грамматического содержания и всегда соответствует падежу определяемого существительного. На синтаксическом уровне (в формах прилагательных, местоимений или причастий) не может быть выражено падежное значение, не выраженное на морфологическом уровне, в системе субстантивных форм. Изменения в системе падежных противопоставлений имен существительных, наблюдаемые в истории русского языка, сопровождаются аналогичными изменениями в формах согласуемых в падеже слов. Иллюстрацией может послужить связь между формами определяемых и определяющих при формировании категории одушевленности/неодушевленности: складывающаяся в системе существительных омонимия В. и Р. падежей отражается в системе падежных противопоставлений определяющих, так: *виюю добръ конь* или *добра коня*, но не *добръ коня*. Другой пример — неразличение форм Д. и Т. мн., развившееся в истории языка на значительной части великорусской территории, типа: *к своим рукам* и *со своим рукам*. Это явление — общее для существительных и для согласуемых с ними слов, как можно судить по данным современных говоров [13].

Расхождения в системах падежных противопоставлений определяемых и определяющих (если они имеются) возможны только в одном направлении: различению падежных форм существительных может соответствовать смонимия падежных форм на синтаксическом уровне, напри-

мер: при восьмичленной системе падежных противопоставлений существительных — шестичленная у прилагательных, но не наоборот. Эта зависимость прослеживается и в современном русском языке, литературном и диалектном. В отношении диалектного языка у Л. Н. Булатовой [14] об этом сказано следующее: «В склонении прилагательных мы не встречаемся с падежными противопоставлениями, которые не были бы выражены в склонении существительных».

Совершенно ясно при этом, что объединение И. и В. мн. у существительных мужского рода не могло не отразиться на системе падежных противопоставлений у согласуемых с ними в падеже слов. Это очень важное для понимания истории атрибутивных форм положение, при всей его очевидности, не привлекло к себе должного внимания исследователей. А между тем соответствие форм прилагательных формам существительных сохраняется во всех славянских языках, несмотря на их различия в эволюции И. и В. мн. у имен мужского рода [15, 16].

Наиболее древнее состояние отражают современные южнославянские языки. В сербохорватском и словенском различия между И. мн. и В. мн. у существительных мужского рода сохранились. Этому соответствует и функционирование особых форм И. и В. мужского рода у прилагательных: серб.-хорв. И. мн. *mīdi* или *mīdi nīrodi*, В. мн. *mīde* или *mīdē nīrode* (именная и местоименная формы прилагательного); словен. И. мн. *nīvi prijātelji*, В. мн. *nōve prijātelje*.

В западнославянских языках объединение форм И. и В. мн. существительных мужского рода сопровождается объединением соответствующих форм прилагательных и местоимений в польском (созр. литерат. И.-В. мн. *te dobre domy*), в чешском (*ty dobrý domy*), в словацком (*pekné duby*), в серболужицком языке (*male duby*). Особая форма И. мн., отличная от В. мн., сохраняется у одушевленных существительных в чешском и словацком языках, соответственно различаются «одушевленные» и «неодушевленные» формы у согласуемых с существительными мужского рода прилагательных и местоимений. В польском и серболужицком языках особо оформлен И. мн. у названий лиц мужского пола (В. мн. у них совпадает с Р. мн.) И в атрибутивных формах И. мн. продолжает старый И. в сочетаниях с названиями лиц и старый В. — в сочетаниях с остальными существительными мужского рода (польск. *ci dobrzy sýsiedzi*; серболуж. *dobri synjo*).

Следовательно, в формах согласуемых слов в ходе исторического развития славянских языков остались выраженными лишь падежные противопоставления, свойственные существительным. Этим подтверждается правдомерность одинакового объяснения аналогичных по результатам процессов в формах древнерусских существительных и определяющих их слов, что позволяет, в частности, рассматривать устранение различий между формами мужского и женского рода у согласуемых в падеже слов как сопутствующее следствие объединения форм И. и В. мн. мужского рода.

2) В результате объединения форм И. и В. мн. на синтаксическом уровне остались выраженными только различия между средним и несредним родом в И.-В. мн.: *новая села — новые плоды, страны* (в непрямых падежах местоименного склонения были одинаковые формы при существительных всех трех родов). Дальнейшую историю этих различий следует связывать с историей числовых противопоставлений существительных.

У атрибутивных слов числовые формы, как и падежные, семантически незначимы, они ориентированы на форму существительного. Характер связи здесь отсубстантивный и однонаправленный: морфологически выраженное в форме существительного грамматическое значение определяет форму согласуемого слова. Изменения в субстантивных числовых противопоставлениях непременно отражаются в системе атрибутивных числовых противопоставлений (ср. историю форм двойственного числа существительных и определяющих их слов во всех славянских языках). Соответственно и тенденция к обобщению синонимичных в отношении

значения расчлененности форм, выразившаяся в унификации субстантивной множественной парадигмы, отражается в системе синтаксических числовых форм.

Как это вообще характерно для форм, не автономных в грамматической семантике, не варьируемых в зависимости от лексической семантики и/или словообразовательной модели, языковые тенденции у согласуемых с существительными слов находят более последовательное (по сравнению с самими существительными) выражение. Так, исходящая от существительных тенденция к обобщению форм словоизменения по родовому признаку была в формах прилагательных, местоимений и причастий последовательно осуществлена уже в праславянском языке. Примеров такого рода можно привести множество. Поэтому закономерно, что и унификация форм множественного числа, наметившаяся с XIII века в обобщении числового показателя у существительных, обрела у атрибутивных форм мбязательный характер. В ходе морфологического обобщения показателя множественного числа были устранены различия между формами среднего и несреднего рода в И.-В. Ср.:

<i>m-ъ</i>	<i>нов-ы-ъ</i>	}	<i>плоды, страны, села</i>
<i>m-ъ-хъ</i>	<i>нов-ы-хъ</i>		
<i>m-ъ-мъ</i>	<i>нов-ы-мъ</i>		
<i>m-ъ-ми</i>	<i>нов-ы-ми</i>		

В этом плане утрата специфической формы среднего рода в склонении согласуемых слов предстает как следствие эволюции числовых противопоставлений.

Обращаясь к истории западных и южных славянских языков, мы также обнаруживаем связь между степенью унификации субстантивной парадигмы и судьбой формы среднего рода во множественном числе у прилагательных и местоимений. Особый интерес в этом отношении представляют данные современного чешского литературного языка. В истории чешского языка произошло объединение форм И. и В. мн. (приведшее к утрате различий между мужским и женским родом) у неодушевленных существительных мужского рода, соответственно также у прилагательных и местоимений при согласовании с этими существительными. Но в непрямых падежах древние различия между неженской и женской парадигмами, в частности, между парадигмами типа *hrad*, *město*, с одной стороны, и *žena* — с другой — сохранились. Ср.:

<i>hradům, městům</i>	— <i>ženám</i>
<i>hrady, městy</i>	— <i>ženam.</i>
<i>hradech, městech</i>	— <i>žěnách.</i>

И в парадигме прилагательных и местоимений особую форму И.-В. мн., отличную от формы мужского — женского рода, средний род сохраняет (в твердой разновидности склонения): *mladé hrady, ženy*, но *mladá kuřata*. Связь таких казалось бы автономных элементов системы, как форма И.-В. мн. среднего рода у прилагательных и формы Д., Т., М. у существительных, предстанет закономерной, если иметь в виду тот факт, что развитием этих форм в славянских языках управлял один и тот же морфологический процесс.

В польском, серболужицком и словацком, в которых объединение субстантивных парадигм во множественном числе получило, как и в русском, значительное развитие (прежде всего, в унификации форм Д., Т. и М.) специфическая форма среднего рода у прилагательных и местоимений утрачена. В южнославянских языках — сербохорватском и словенском — тенденция к унификации парадигм множественного числа существительных выражена слабо. Соответственно этому сохраняются атрибутивные родовые формы в И.-В. мн.

Таким образом, в устранении или сохранении родовых различий в формах И.-В. мн. на синтаксическом уровне отражена степень унифицирован-

ности родовых парадигм на морфологическом уровне в разных славянских языках.

3. На объединение форм И. и В. мн. в истории именного и местоименного склонений указывали А. И. Соболевский [17] и А. А. Шахматов [18]. Однако утрату специфической формы среднего рода у прилагательных и местоимений они относили к «смешению родов». Мысль о вычленинии обобщенного числового показателя в атрибутивных формах множественного числа в связи с аналогичным процессом в истории субстантивного склонения обосновывается в недавней работе К. В. Горшковой и Г. А. Хабургаева [11]<sup>2</sup>. Но взаимодействие И. и В. мн. здесь рассматривается только по отношению к субстантивным формам.

Поэтому несмотря на всю сложность разграничения рассматриваемых процессов по их результатам, мы хотели бы обратить внимание на те факты из истории древнерусского языка, которые подтверждают наличие параллелизма в развитии имен существительных и согласуемых с ними слов. Мы опираемся на выводы о хронологии соответствующих процессов и о характере их протекания, известные из общих курсов и из работ, специально посвященных этому вопросу.

Объединение И. и В. мн. у существительных мужского рода отражается в смешении этих форм с XI в., например, в Изборнике 1076 г. [19]: *рѣка клочочуштия и тѣмаи ангели окрѣсть прѣстола прѣстоишита* (вм. *ангели*), л. 91; *храни учения си да вѣнѣца славы подадять ти ся* (вм. *вѣнѣци*), л. 73об. Оно убедительно документировано в Успенском сборнике XII/XIII в. [20] и как развернутый морфологический процесс отражается в церковно-книжной письменности XIII в. В живом языке, судя по данным деловой письменности, объединение И. и В. мн. завершается по крайней мере к середине XIV столетия. К этому же времени относится и объединение атрибутивных форм И. и В. мн. мужского рода. Наиболее ранние факты — в Архангельском евангелии 1092 г. [21]: *старци людьскыи* (вм. *людьстии*), л. 93об, в Ефремовской кормчей XII в. [22]: *стрельскыи попове* (вм. *страньстии*), л. 85 об.; в Житии Феодосия Печерского XII/XIII в. [20]: *мы же пакы въ твое имя събраны* (вм. *събрани*), л. 55в и др.

Обобщение показателя множественности *-а-* в субстантивных формах Д. и М. мн. отражается в письменности позднее — с конца XIII в. (Паремийник 1271 г., Рязанская кормчая 1284 г.). К этому времени относится и распространение показателя множественности в местоименном склонении. Наиболее ранних из известных примеров: *тѣ* (т. е. цари) *спасаютъся* (вм. *ти*) в Новгородской кормчей 1280 г. [23]. Вперодовые формы прилагательных при определяемых среднего рода встречаются с XIV в., например, в духовной Ивана Калиты (второй вариант) ок. 1339 г.: *А се даю... 2 селѣ коломенскыи* [24], или в духовной грамоте Ивана Красного (второй экземпляр) ок. 1358 г.: *А по ее животѣ тѣ села стѣ* (вм. *та*) [24]. Начало этого процесса в живом языке Н. В. Чурмаева считает возможным отнести к концу XIII в. [2, с. 228], его более позднее отражение в письменности может быть связано с низкой частотностью форм И.-В. мн. прилагательных при существительных среднего рода (в грамотах XIII в. они вообще не встречаются).

На раннем этапе объединения форм И. и В. мн. у существительных мужского рода наблюдалась вариантность этих форм, недифференцированное их употребление — в памятниках встречаются не только В. мн. на месте И. мн., но и обратные замены, например, в Успенском сборнике XII/XIII в. [20]: *иди въ домъ свои ... ужасы бѣси* (см. *бѣсы*), л. 254в и др. Обобщение показателя множественности *-а-* в формах Д. и М. падежей — однонаправленный процесс, он выражается только в замещении флексий *-омъ*, *-ѣхъ* флексиями *-амъ*, *-ахъ*. Аналогично и у определяющих мы встречаем многочисленные случаи вариантности форм И. и В. мн. мужского рода (с этим связана и возможность сочетания старой формы существи-

<sup>2</sup> Эта мысль проводится также в статье Л. Г. Чапаевой [3].

тельного с новой формой прилагательного и наоборот, ср.: *врази ѿудовы* в Паремийнике 1271 г., л. 83 [26]; *четырьобразнии животы* в Новгородской кормчей 1280 г., л. 594 [23]) и только замещение форм среднего рода на *-а-*, *-ая* вне родовыми формами [25].

Эти соответствия в хронологии и характере осуществления рассматриваемых процессов у определяемых и определяющих не случайны, они обусловлены отсубстантивной и однонаправленной связью между субстантивными и атрибутивными падежно-числовыми формами и с иных позиций не получают удовлетворительного объяснения.

Таким образом, исходя из характера отношений между падежно-числовыми формами существительных и согласуемых с ними слов следует предполагать зависимость атрибутивных форм от субстантивных и соответственно два основных морфологических процесса в развитии атрибутивной парадигмы во множественном числе. При этом утрата родовых различий у родоизменяемых слов является лишь следствием изменений в системе падежно-числовых противопоставлений, а не их причиной.

В сфере действия рассмотренных процессов оказываются основные факты, с которыми мы встречаемся в языке древнерусских памятников. Но эти процессы не были изолированными в своем развитии, в известный период они накладываются друг на друга; осложняются взаимодействием форм твердой и мягкой разновидностей, тенденцией к выравниванию основы, противопоставленной в И. мн. косвенным падежам качеством конечного согласного; имеет место также влияние форм прилагательного на формы местоимений и взаимовлияние местоимений, дифференциация в зависимости от синтаксической функции (см. об этом подробнее [11; 3]). Этим в значительной мере определяется то многообразие конкретных проявлений названных процессов, с которым мы сталкиваемся в языке древнерусской письменности.

Как видим, устранение родовых различий во множественном числе является для атрибутивных форм не собственным, а отраженным морфологическим процессом, спровоцированным эволюцией грамматических категорий и форм субстантива. В связи с этим привлекает внимание проблема разграничения собственной истории определяющих слов и тех еще не вполне очерченных явлений в их морфологическом развитии, которые обусловлены неавтономностью, вторичностью их грамматических значений, а в конечном итоге — структурой категориальных противопоставлений имени существительного.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Скупский Б. И. Совпадение форм именительного и винительного падежей множественного числа у существительных мужского рода в древнерусском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1953.
2. Чурмаева Н. В. История утраты родовых различий у слов, изменяющихся по родам, в русском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1956.
3. Чапаева Л. Г. Формирование показателя множественности в склонении неличных местоимений (на материале московских грамот XIV—XVII вв.) — Вестник МГУ. Филология, 1982, № 4.
4. Колосов М. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие. Варшава, 1872, с. 109, 110, 139—140.
5. Meyer K. Historische Grammatik der russischen Sprache. Bd. 1. Bonn, 1923, S. 118.
6. Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., М., 1962, с. 178, 181.
7. Unbegaun V. La langue russe au XVI-e siècle (1500—1550). Paris, 1935, p. 36—40.
8. Иорданиди С. И., Шульга М. В. Морфологическое выражение категории рода в истории русского языка. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1983.
9. Марков В. М. Формы имен в языке судебников XV—XVI веков. — Уч. зап. Казанского ун-та, 1956, т. 116, кн. 11.
10. Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974.
11. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

12. Шульга М. В. Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений.— ВЯ, 1983, № 2.
13. Образование северновеликорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970, с. 189.
14. Бромлей С. В., Булатова Л. Н. Очерки морфологии русских говоров. М., 1972, с. 112—113.
15. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963.
16. Славянские языки (Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков). М., 1977.
17. Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. 2-е изд. СПб., 1891, с. 176—181.
18. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957, с. 234.
19. Изборник 1076 г. Под ред. Коткова С. И. М., 1965.
20. Успенский сборник XII—XIII вв. Под ред. Коткова С. И. М., 1971.
21. Архангельское евангелие 1092 г. М., 1912.
22. Бенешевич В. Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906.
23. Новгородская кормчая 1280 г.—ГИМ, Син., № 132.
24. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.—Л., 1950.
25. Чурмаева Н. В. К истории утраты родовых различий во множественном числе у слов, изменяющихся по родам (утрата форм среднего рода).— В кн.: Материалы и исследования по истории русского языка. М., 1960, с. 275.
26. Паремийник 1271 г.— ГПБ, Qп I, 13.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

ДОМАШНЕВ А. И.

РЕФОРМА НЕМЕЦКОЙ ОРФОГРАФИИ  
(Обзор теоретических разработок в ГДР)

Действующие ныне правила немецкой орфографии были приняты в самом начале нашего века и представляют собой компромиссный итог полемики, которая проводилась на протяжении почти всей второй половины XIX в. между представителями различных направлений в орфографической нормализации литературного языка: речь идет, с одной стороны, о фонетическом принципе Й. Аделунга, а с другой, об историко-этимологической концепции, сформировавшейся еще в первой половине XIX в. под влиянием Я. Гримма. Лишь четверть века спустя после берлинской конференции 1876 г. на II орфографической конференции в 1901 г., в работе которой принимали участие представители Австрии и Швейцарии, удалось найти согласованное решение этой проблемы и были приняты правила, ставшие обязательными для всех трех стран распространения немецкого языка [1]. Основные достижения II орфографической конференции, положившие начало унификации немецкого правописания, были учтены К. Дуденом (1829—1911) при редактировании им седьмого издания своего «Орфографического словаря», вышедшего в свет вскоре после конференции (в январе 1902 г.). С тех пор все изменения в правописании кодифицируются традиционно словарем Дудена, который рассматривается в качестве официального справочника немецкой орфографической нормы<sup>1</sup>. Однако К. Дуден, принимавший участие во всех орфографических проектах начиная с 70-х годов прошлого века, после принятия правил в 1901 г. считал, что они остаются не вполне удовлетворительными, т. к. не содержат последовательной реализации «фонетического принципа» правописания.

Поскольку орфографическая реформа не разрешила наиболее спорных вопросов немецкого правописания, неудивительно, что в последующие десятилетия они неоднократно привлекали к себе внимание как со стороны лингвистов, так и со стороны учителей, писателей и широких кругов общественности в странах распространения немецкого языка. Назревшие проблемы орфографии стали подниматься в послевоенное время, с начала 50-х годов. В 1954 г. в Штутгарте была созвана конференция, участниками которой были специалисты из ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии. Результаты обсуждения орфографических проблем были изложены в так называемых «Штутгартских рекомендациях». Они содержали следующие основные положения, которые с тех пор продолжают живо обсуждаться: 1) введение написания существительных со строчной буквы, 2) унификация таких написаний, как *tz* (в сравнении с *z*), *ß* (в сравнении с *ss*) и др.; 3) устранение орфографических дублетов, 4) уподобление иноязычных слов орфографическому облику слов немецкого языка («Eindeut-

<sup>1</sup> Начиная с 1954 г. издания орфографического словаря «Дуден» выходят раздельно в ГДР и ФРГ (соответственно в Лейпциге и Мангейме).

schung»); 5) слитность и раздельность написания слов, 6) уточнение правил слогаделения слов в конце строчки и при переносе; 7) упрощение правил знаков препинания; 8) решение вопроса о правилах написания имен собственных; 9) обозначение долготы и краткости гласных.

Такие радикальные предложения, в особенности написание всех слов (кроме начальных слов в предложении, имен собственных, местоимений в обращениях, сокращений) со строчной буквы, а также орфографическое оформление заимствований, вызвали широкое и оживленное обсуждение. Уже тогда, несмотря на сложность проведения столь кардинальных орфографических мероприятий, со стороны ГДР была проявлена готовность к согласованным действиям. Однако в других странах немецкого языка дальнейшее обсуждение проекта реформы не привело к общим взглядам [2, с. 8]. Созданная в 1956 г. в ФРГ рабочая группа (Arbeitskreis) в ходе многочисленных заседаний выработала предложения, учитывавшие, в основном, «Штутгартские рекомендации», которые обсуждались в 1958 г. в Висбадене («Висбаденские рекомендации»). Иначе сложилось положение при обсуждении как «Штутгартских», так и «Висбаденских» рекомендаций в Австрии и Швейцарии, где после долгих дискуссий в конечном счете проекты реформы так и не были поддержаны, в особенности в связи с предложением о написании существительных со строчной буквы.

Устремления противников реформы наиболее полно выявились на орфографической конференции в 1963 г. в Швейцарии. В связи с неблагоприятным исходом обсуждения «Рекомендаций» было признано нецелесообразным созывать заключительную орфографическую конференцию, которую предполагалось провести в Вене. Однако это не означало, что проблема перестала быть актуальной. Напротив, было решено продолжить координационную работу в рамках узких совещаний специалистов и путем обмена мнениями.

В середине 60-х годов среди лингвистов ГДР укрепилось сознание необходимости проведения специальных исследований, которые могли бы приблизить решение проблем, связанных с теоретическим обоснованием программы орфографической реформы. Началом этого нового этапа планомерной деятельности ученых стало совещание германистов ГДР в 1973 г. в Берлине, на котором с докладом «Лингвистические основы реформы немецкой орфографии» выступили Д. Нериус и Ю. Шарнхорст. Характеризуя уже проделанную работу, они указали на необходимость усиления внимания лингвистов к исследованию письменной формы литературного языка в связи с возрастанием ее коммуникативной роли в структуре общения. В связи с этим повышается и роль разработки, кодификации и унификации орфографических норм языка. Впоследствии орфографической исследовательской группой ГДР (Forschungsgruppe Orthographie) была разработана фундаментальная концепция, ставшая предметом обсуждения на специальной научной конференции в Ростке в 1978 г. В 1980 г. эти материалы были опубликованы в книге «Теоретические проблемы немецкой орфографии» [3]. Книга открывается вступительной статьей Д. Нериуса и Ю. Шарнхорста «Основные принципы орфографии» (с. 11—73). Вначале они останавливаются на истории разработки орфографической нормы современного немецкого языка, анализируя при этом и орфографические системы предшествующего времени, тесно связанные с расширением применения письменности. Авторы напоминают, что в отличие от таких стран, как Англия и Франция, развившихся относительно рано в единые национальные государства, поражение ранней буржуазной революции в Германии повлиало на сохранение и укрепление феодальной раздробленности, что затормозило и процесс развития единого литературного языка. Реальные предпосылки для установления единой немецкой орфографии были созданы лишь в XIX в. Авторы отмечают большую заслугу в этом Р. Раумера, а также К. Дудена, способствовавших тому, что в 1901 г. II берлинская орфографическая конференция смогла принять единую систему орфографии.

Переходя к вопросам взаимоотношения письменного литературного языка и орфографии, Д. Нериус и Ю. Шарнхорст подробно останавлива-

ются на графическом уровне литературного языка, рассматривают функции письменного языка и системы письма, раскрывая их специфические черты и то значение, которые они имеют в определении нормы литературного языка в целом. В этом смысле они рассматривают понятие орфографической нормы, а также ее соотношение с культурой языка (*Sprachkultur*).

В разделе «Понятие графемы» (с. 74—108) К. Хеллер выделяет графему в качестве центрального понятия языка письменного языка и прослеживает теоретические подходы различных ученых к ее определению. Он подчеркивает, что графический уровень в определенной мере зависит от фонологического. Одновременно графический уровень языка обладает и определенной автономией, что делает его равнозначным фонологическому. Далее автор рассматривает некоторые специальные проблемы взаимоотношений графем и фонем, отношения графемы и буквы, а также останавливается на понятиях графографемы и фонографемы.

Одним из сложных вопросов проекта реформы немецкой орфографии является проблема графического слогоделения. В. Гоффрихтер в разделе «Действующие правила графического слогоделения (слогоделение) и пути их упрощения» (с. 109—139) проанализировал существующий комплекс правил разделения слов (слогоделение немецких и заимствованных слов, разделение согласных и гласных, разделение префиксов и суффиксов, слогоделение имен собственных). Он установил, что существующая дробность правил, осложняющая практическое их применение, может быть преодолена. При этом автор подробно сопоставляет ныне действующие принципы с предложениями, выработанными в Штутгарте и Висбадене. Одновременно он соотносит эти последние с замечаниями, высказанными на различных рабочих совещаниях специалистов (мнение австрийской комиссии, 1961—1962 гг.; позиция швейцарской орфографической конференции 1963 г., а также венского орфографического конгресса 1973 г. и др.), и сравнивает правила слогоделения в других языках. В результате такого подхода В. Гоффрихтер разрабатывает конкретные предложения, затрагивающие разделение различных типов слов (простые, производные, сложные слова), слогоделение при скоплении согласных (*st*, *ck*).

Д. Херберг в разделе «Понятие слова и орфография» (с. 140—161) исследует вопросы, связанные с характеристикой слова и его категориальными признаками в немецком языке: цельно- и раздельнооформленность слова, слово в семантическом аспекте и др. Кроме того, понятие слова рассматривается в фонологическом и графическом планах, а также в отношении к различным уровням системы языка, в особенности — к графическому (на лексическом и семантическом уровнях, в отношении к синтаксису и фонологическому уровню).

Отдельную главу книги составляет анализ принципов орфографирования заимствованных слов — «К проблеме реформы написания заимствованных слов в аспекте центра и периферии языковой системы» (с. 162—192). Ее автор — К. Хеллер, основываясь на идеях пражской лингвистической школы, считает, что при исследовании орфографии в центре внимания должна находиться вся система современного литературного языка с ее функционально-стилистическим членением. Именно на этой основе следует делать выводы о характере языковой нормы, не пренебрегая при этом диахроническим аспектом (с. 162). Автор указывает, что, выделяя центр и периферию в системе языка (в частности, в сфере лексики), можно более последовательно оценить место заимствованных слов в лексической системе языка, степень их «освоенности» (*Einbürgerung*) и на этой основе установить правила их орфографирования.

Р. Баудуш в разделе «К лингвистическим основам знаков препинания» (с. 193—230) рассматривает основные функции знаков препинания и исторически сложившиеся правила их расстановки в немецком языке. Автор выделяет два основных принципа — формально-синтаксический и семантико-синтаксический и далее подробно анализирует предлагаемые проектом реформы изменения, касающиеся правил применения 10 основных знаков препинания (точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, знак вопроса, знак восклицания, тире, точки пропуска — многоточие, скобки,

кавычки). При этом Р. Баудуш сравнивает предлагаемые проектом правила использования знаков препинания с нормой их применения в русском, английском и французском языках и высказывает ряд соображений, касающихся возможностей определенного упрощения правил.

В главе «К принципам написания в немецком языке» (с. 231—259) И. Раненфюрер анализирует основные положения орфографии в ее отношении к письменному литературному языку. При этом она подробно рассматривает историю теоретической разработки орфографии в лингвистических трудах XVI—XIX столетий, отмечая особые заслуги в этом Г. Фрейера, Й. Аделунга, Р. Раумера, Г. Аугста, О. Бреннера и др. Автор уделяет также много внимания работам, в которых исследуются различные стороны нового проекта реформы орфографии (1954 г.), в частности, публикации Р. Доната, Г. Мозера, Й. Кноблоха, Й. Риме, Д. Нериуса, Ю. Шарнхорста и др. В главе освещается также вопрос о том, какие отражение орфографические правила находят в современных школьных учебниках. В заключение автор останавливается на различных положениях проекта орфографической реформы, подчеркивая необходимость постоянно учитывать роль морфематического принципа правописания в его отношении к фонологическому.

Й. Риме в главе «К проблематике орфографического правила» (с. 260—272) останавливается на философском толковании понятия «правило» и считает, что применительно к орфографии его следует понимать как требование (Aufforderung), руководство (Anleitung) и указание (Anweisung) для выполнения определенной операции, т. е. письма. Одновременно автор рассматривает методический аспект понятия правила и отмечает, что в лингвистике оно употребляется далеко не однозначно. Говоря об орфографических правилах, Й. Риме подчеркивает, что для них в целом характерны свойства прескриптивности и дескриптивности. Эти качества орфографических правил автор иллюстрирует на конкретных примерах фонологического, морфематического, лексического и синтаксического уровней.

В последней части книги помещены еще два раздела, в которых описывается история исследований, способствовавших принятию ныне действующей системы орфографии. В главе «К образованию единой немецкой орфографии в период между 1876 г. и 1901 г.» (с. 306—329) К. Лöffl подробно исследует орфографическую ситуацию в период до 1876 г. Автор подчеркивает, что в 1875 г. на рассмотрение всех заинтересованных официальных инстанций был представлен проект орфографических правил немецкого языка, который стал основой для обсуждения на специальной конференции 1876 г. Далее автор показывает, что лишь через 25 лет, в 1901 г., представители всех немецкоязычных стран смогли подписать согласованный документ, положивший начало действию единой системы орфографии немецкого языка. Однако, как уже отмечалось, эта орфографическая система сразу же вызвала критическое отношение к себе.

В главе «Попытки реформы немецкой орфографии после 1901 г.» (с. 273—305) Д. Райхардт анализирует процесс нарастания неудовлетворенности правилами орфографии 1901 г. и показывает, что уже в 1902 г. стали раздаваться призывы к реформе только что принятой орфографической системы (О. Бреннер).

В «Приложении» помещены протоколы II орфографической конференции (1901 г.), отражающие состав участников и ход ее заседаний. Следует отметить, что каждая глава рассматриваемой книги заканчивается библиографией, содержащей наиболее важную теоретическую литературу вопроса.

Коллективный труд лингвистов ГДР представляет собой всестороннее исследование проблемы современной немецкой орфографии и принципов, определивших суть предложений ее реформы, впервые высказанных в систематически сформулированном виде в 1954 г. В этом труде обосновано положение о том, что в модели системы литературного языка необходимо наметить и постулировать графический уровень, наряду с такими ее уровнями, как семантический и синтаксический. В понятие системы литера-

турного языка и ее уровней входят и наиболее обобщенные текстовые свойства, а также стилистические особенности, лежащие в основе функционально-стилистической дифференциации литературного языка. Авторы коллективного труда подчеркивают также, что в модели системы языка следует различать унилатеральные и билатеральные уровни. Первые всегда относятся только к одной стороне языкового знака: семантический уровень — к содержательной, фонологический и грамматический уровни — к формальной стороне. Билатеральные уровни, напротив, относятся к языковым знакам как к единству содержания и (фонетической или графической) формы. Билатеральные уровни — это морфематический, лексический и синтаксический уровни, а также уровень текста. Задачей орфографического исследования является, по мнению авторов, изучение отношений, существующих между графическим и другими уровнями системы языка. Именно проекции всех указанных уровней на графический уровень и определяют характер принципов орфографической системы литературного языка.

На основе этих теоретических положений орфографическая исследовательская группа ГДР разработала детальные предложения, касающиеся тех частей системы орфографии, которые с самого начала находились в центре внимания проекта реформы: написание *s*, написание иноязычных слов, слоговое деление, написание слов с прописной и строчной букв, слитное и раздельное написание слов, пунктуация. Предлагаемые проектом реформы правила были продемонстрированы на конкретных примерах, а соответствующие материалы опубликованы в специальных трудах Центрального института языкознания АН ГДР под названием «Лингвистические исследования к реформе немецкой орфографии» [4].

Все эти публикации свидетельствуют об устойчивом научном интересе в языкознании ГДР к одной из важных и актуальных задач современного языкового строительства. Они являются крупным вкладом в теоретическое обоснование проекта реформы орфографии немецкого языка и могли бы, таким образом, приблизить время ее принятия. Однако реформа немецкой орфографии является делом четырех немецкоязычных стран (ГДР, ФРГ, Австрии, Швейцарии) и может быть проведена только на совместной основе. Однако вплоть до настоящего времени, через 30 лет после разработки проекта реформы, нельзя утверждать, что определились позиции для подобных совместных действий. Напротив, многое указывает на то, что в некоторых странах среди специалистов интерес к согласованному решению этой проблемы заметно затихает. Так, еще после координационного совещания представителей трех стран (Австрии, ФРГ и Швейцарии) в Вене (1971 г.), когда его участники договорились о необходимости «оживить» свою деятельность, В. Грюнес, комментируя итоги встречи, называл их «лучом надежды» («Silberstreif am Horizont»). На совещании выступил датский ученый В. Берге, рассказавший об опыте проведения реформы орфографии датского языка в 1948 г. Он сообщил, что все сомнения в отношении правописания существительных со строчной буквы, высказывавшиеся в Дании, оказались несостоятельными, о них забыли уже в первые после реформы годы [5]. Однако ни этот пример, ни обещания участников совещания усилить (реактивировать) свой интерес к общему делу не смогли повлиять на развитие условий, необходимых для успешного решения давно назревшей проблемы. В последние годы в Австрии и, в особенности, в Швейцарии предприняты усилия против одного из центральных пунктов проекта — написания существительных со строчной буквы. Дискуссии, происходящие время от времени в ФРГ, также выявляют аналогичные мнения. Так, Общество немецкого языка на собрании своих членов в Госларе в 1982 г. приняло решение представить в ближайшее время проект документа, которым предусматривается поддержать многие пункты проекта реформы, но добиваться сохранения написания существительных с прописной буквы [6, с. 25]. Тот факт, что с 1973 г. в ФРГ вообще нет официальной орфографической рабочей группы, безусловно, не способствует теоретическому развитию и обоснованию ранее разрабо-

танных (в Штутгарте и Висбадене) проектов реформы немецкой орфографии. В этом смысле представляется особенно важным подчеркнуть значение неослабевающих творческих усилий лингвистов ГДР, направленных на разработку подлинно научных основ и принципов орфографии современного немецкого языка.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Домашнев А. И.* Реформа немецкой орфографии (история, проект и проблемы).— ИЯШ, 1974, № 2.
2. *Scharnhorst J.* Orthographie als Aufgabe.— Spectrum. Die Monatszeitschrift für den Wissenschaftler, 1982, N 7.
3. Theoretische Probleme der deutscher Orthographie. Hrsg. von Nerius D. und Scharnhorst J. Berlin, 1980.
4. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zu einer Reform der deutschen Orthographie. Berlin, 1981.
5. *Grünes W.* Ein Silberstreif am Horizont.— Sprache und Rechtschreibung, Wien, 1971, 5/6.
6. Reform der Rechtschreibung.— Frankfurter Allgemeine, 1982, № 114.

НИКОЛАЕВА Т. М.

КОММУНИКАТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД  
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Суть лингвистической концепции, излагаемой в настоящем обзоре, сводится к тому, что в центре внимания исследователя оказывается человек, говорящий, его коммуникативные установки, которые играют решающую роль в процессе развития и изменения языка. Концептуальная программа этого направления имеет предшественников. Ими в первую очередь можно считать Ф. Боппа и В. Гумбольдта, О. Есперсена, Э. Сепира, а в советском языкознании И. И. Мещанинова, В. И. Абаева, М. М. Гухман, С. Д. Кацнельсона (особенно их работы, относящиеся к тридцатым годам); более подробно о разработке синтаксических проблем в советском языкознании 30-х годов см. [1]). Но, по-видимому, непосредственным предшественником указанного направления можно считать Д. Болинджера, поскольку именно он в последние десятилетия активно выступал против хомскианства, призывая к «человеческому» подходу в описании развертывания высказывания<sup>1</sup>. Анализируемое направление представлено, на наш взгляд, довольно полно в [3—7]<sup>2</sup>. В аспекте асинхронного подхода к синтаксису советский читатель уже имел возможность познакомиться с этим направлением [10—12].

Пафосом большинства указанных работ является идея единого направления процесса языкового развития, общего для языков родственных и неродственных. Эволюция языка связывается с развитием человеческого мышления, с расширением человеческих знаний о мире и его объективных свойствах. Поэтому те принципы, согласно которым осуществляется развитие языковых систем, универсальны и естественны (*natural*). Конкретная реализация принципов языковой эволюции строится на законах человеческой коммуникации, в широком смысле дискурса, центром коммуникации и основной точкой отсчета признается говорящий человек [13]. Именно поэтому языки, генетически не родственные, могут совпадать типологически, а языки родственные — расходиться. Аналогичную мысль ранее высказал Э. Сепир: «... историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам» [14].

Представители анализируемого направления не высказываются критически по отношению к исследованиям сравнительно-историческим, но, как очевидно, они стараются найти другой путь, отталкиваясь от него: не реконструкция, но развитие некоторых феноменов, относящихся к сфере коммуникативно-познавательной деятельности человека. Естественно,

<sup>1</sup> О работах этого американского лингвиста, резко отличавшихся от модной в свое время трансформационной теории, которую он называл «лингвистическим инженерством», сообщалось в нашем специально ему посвященном обзоре, опубликованном на страницах журнала «Вопросы языкознания» более двадцати лет назад [2]. Уже тогда его интерес к человеку как автору-творцу линейно протяженной речи, постоянный призыв к описанию языковой реальности был вполне отчетлив, в связи с чем концептуально он уже тогда «стоял особняком» [2, с. 143].

<sup>2</sup> Поскольку концепция Т. Гивона вызвала большой интерес [8, 9], в дальнейшем на его работах и взглядах мы остановимся подробнее.

что в пределах языковой системы в наибольшей степени коммуникативно значим синтаксис, высказывание является ареной реализации дискурсивных (речевых) изменений. Предполагается, что метод реконструкции протофактов здесь не приложим, поскольку синтаксические модели в их различии не сводятся к единой, архетипической модели [15]. Предполагается, что наиболее архаичный порядок слов в высказывании параллелен развертыванию действия в реальной ситуации. Ни в одной из анализируемых работ в связи с этим положением не упоминается известная работа Р. Якобсона [16], хотя именно Р. Якобсон назвал данный порядок слов иконическим (о древности такого способа линейного развертывания мысли см. также у М. М. Гухман [17]). На смену этому первичному способу представления действительности в высказывании, как показывается в анализируемых работах, приходит развертывание по правилам грамматики данного конкретного языка. Таким образом осуществляется переход от прагматического описания к собственно языковому («синтактизация») [6, с. 207]. При синтактизации происходит как бы «сжатие» речевой единицы, превращение ее в синтаксически языковую. Этот процесс объясним и филогенетически, и онтогенетически. В свою очередь синтаксические структуры модифицируются, «эрозируются» возникающей флективной морфологией. Возникает циклический процесс: «дискурс > синтаксис > морфология > морфонемика > нулевой исход цикла» [6, с. 209]. Какими же средствами осуществляется синтактизация? Одно из основных средств при этом — так называемый «реанализ», т. е. переформулировка, добавление или исчезновение компонентов поверхностной структуры [18]. Это значит, во-первых, что одни компоненты могут как бы «переклеиваться», «прилипать» к другим частям высказывания: например, не к правому, а к левому элементу; во-вторых, они могут получать новую грамматическую интерпретацию. Например, показывается, что в уто-ацтекских языках суффикс притяжательности первоначально понимается как показатель экзистенциальности, а потом уже приобретает глагольное значение «иметь». Получается как бы серия типа: *His N is* → *He has his N* → *He has a N* [18, с. 97]. Естественно, что при таком подходе одним из ведущих феноменов синтактизации является глагольная флексия, понимаемая как конденсированный именной компонент, десемантизированный и слившийся с глаголом (ср. идеи Ф. Боппа). Глагольная флексия может быть ориентированной на субъект: *The man, he came* → *The man — he, came*; она может быть ориентирована на объект: *The man, I saw him* → *I saw him, the man* → *I saw — him, the man* [13]<sup>3</sup>. Процесс включения местоименного форманта в глагольную конструкцию имеет прежде всего коммуникативное объяснение: используется понятие анафорики, много внимания уделяется бессубъектным высказываниям<sup>4</sup>.

Как уже говорилось выше, исходная позиция эволюционного цикла — это дискурсивное описание мира, названное Т. Гивоном «прагматическим кодом». Согласно анализируемой концепции, на уровне прагматического кода структуры разных языков представляются единообразными по модели. Различие способов синтактизации создает синхронно-типологическую дифференциацию этих структур. В прагматическом коде корреляция формы и элементов содержания максимальна. Ее основные черты: 1) движение порядка слов от топики к комментарию<sup>5</sup>; 2) свободная (loose) сочинительная связь, т. е. отсутствие подчинительных конструкций; 3) соотношение именных основ при глаголе минимально, примерно 1 : 1; 4) отсутствие

<sup>3</sup> Английский язык в данных работах является как бы «подстрочником». А. Е. Кибрик [1] уже отмечал типичную для 70-х годов тенденцию американских авторов брать в качестве объекта анализа «экзотические» языки.

<sup>4</sup> Неясным в этой концепции остается вопрос о месте линейного порядка, потому что при простой редубликации субъекта-топики в последовательности SV местоимение должно стать префиксом глагола, а не флексией. Для решения же этого вопроса при порядке SOV В. Леман предполагает, что глагольная флексия возникает после перевода от OV к VO [19, с. 456].

<sup>5</sup> Нельзя не отметить удачность такого перевода в [10], поскольку термины «тема» и «рема» дезориентировали бы русского читателя, напоминая об актуальном членении высказывания в принятой традиции.

флективной морфологии; 5) наличие особой интонации: низкий фокус на топике, затем — переход к мелодическому повышению на комментарии; 6) минимальность анафорики и, соответственно, зачаточное состояние местоимений как категории. Этот прагматический способ говорения, как пишет Т. Гивон, не исчезает, а сосуществует с новым, синтактизованным. Прагматический код близок по своей структуре к детской речи, к речи в свободной, не скованной ситуации; на нем изъясняются и плохо знающие язык иностранцы. Поскольку движение языка от прагматического способа к синтаксическому осуществляется постепенно, элементы того и другого всегда есть в языке, но в меняющихся пропорциях. Поэтому по сути каждый язык типологически эклектичен (*mixed typology*). Действительно, можно заметить, что многие высказывания, приводимые в исследованиях по русской разговорной речи (вроде *Туфли Югославия/магазин Белград/там купила*), вполне соответствуют примерам на прагматический код, приводимым Т. Гивоном. Несмотря на типологическую эклектичность каждого языка, можно, в соответствии с этими критериями, разделить языки на топики-подчеркивающие (выдвигающие топик — *VT* и субъектно-подчеркивающие (выдвигающие субъект — *VS*), как это сделано в ставшей сейчас широко известной классификации Ч. Ли и С. Томпсон [10]. Эта классификация предлагается как синхронная, но характерно, что ее авторы говорят о циклическом движении от *VT* к *VS* и обратно, отмечая новые компоненты языковой структуры на каждом этапе цикла. Даже в древних языках, например, в хеттском, специально отмечается мена типа «от *VT* к *VS*», причем топики-образующий элемент *ku-* преобразуется в неопределенное и вопросительное местоимение [20]. Итак, и эта, синхронная классификация по существу есть классификация движения, что характерно для всего рассматриваемого направления в целом.

В связи с этим существенно определить функциональные причины синтактизации. В качестве основной называется стремление конденсировать смысловую насыщенность высказывания в единицу времени, т. е. за одно и то же время произнесения высказывания углубить его семантику, сделать высказывание «многоканальным», передав воспринимаемому больше «смысловых строк» в одной и той же линейной последовательности. Поэтому неслучайно в одном из анализируемых сборников помещена статья о структуре языка глухонемых *ASL* (*American sign language*), выработанном на базе английского языка [21]. В силу специфики осуществления коммуникации абсолютная скорость *ASL* меньше естественной речи в 1,8 раза. Поэтому *ASL* ближе английского к смысловой агглютинации, причем развертывание начинается от топика. В этом языке не наблюдается анафорических замен, нет неопределенных местоимений — такой язык как бы первичен по своей сути и не может быть синтактизован.

Суммируя взгляды привлекаемых авторов, можно следующим образом обобщить разделяемую ими концепцию. 1) Флективная морфология есть результат «склеивания» глагольной или именной основы с местоимениями и именами, ставшими местоимениями, а также — для аналитических форм — с десемантизованными глаголами; 2) развитие местоимений как таковых связано с активным развитием понятия анафорики, с явлением кореференции, т. е. с усложнением сообщаемого текста; 3) сама возникающая потребность в развитии уже предполагает мена топика. Таким образом, в пределах текстов первичных, с редко меняющимися топиком (последовательный рассказ о поступках одного человека, без временных и персонажных отклонений), возникают более сложные тексты с делением деятелей на старых и новых, дифференцируемых через местоимения; 4) новые имена необходимо каким-то специальным способом вводить в повествование. Для этого используются экзистенциальные конструкции с инициальным *V*: *Жил-был король*; 5) за именем старого деятеля (анафорическим) закрепляется первая позиция (начальная). Возникают конструкции *SV*, где *S* часто выражается местоимением; 6) из разделения имен концептуально на новые и упомянутые вытекает следующее важное положение: топик не обязательно тождествен агенту, он может быть и пациенсом, и объектом. Так возникает различие топика и субъекта; 7) за закреп-

лением в языке порядка слов с анафорой в начальной позиции следует закрепление и более общей идеи порядка слов: более «топическое» передвигается влево, к началу. Порядок слов, линейная схема позиций становится ядром дискурсивных изменений; 8) потребность в синтактизации, в конденсировании смысла высказывания связывается непосредственно с расширением воспринимаемого мира, с пониманием его объема и его истории. Поэтому — для ученых, работы которых рассматриваются в настоящем обзоре, — важным является и социальный статус изучаемого языка, активность его исторического развития и давность и/или значимость его литературно-культурной традиции. Очевидно, судя по представленному нами суммарно перечню основных концептуальных позиций, в излагаемом направлении есть, с одной стороны, и наследие Ф. Боппа, а с другой стороны, и наследие О. Есперсена. Недаром Дж. Грин назвал книгу Т. Гивона «есперсенианской» [9].

Все изложенные выше идеи сами по себе не новы. Однако более новой и важной представляется другая сторона обсуждаемой теории: собственно дискурсивно-коммуникативный аспект, применяемый к изучению парадигматических наборов. Оказывается, что если встать на позиции говорящего, то коммуникативная значимость отдельных членов одной и той же парадигмы различна. Эта значимость определяется ролью тех или иных элементов в человеческом общении. Поэтому существуют значительные различия в хронологии изменений членов одной парадигмы. Иными словами, всякая категориальная парадигма возникает хронологически не сразу, а по частям (ср. сходные идеи и в других по направлению работах [23]). Например, не происходит становление надежной парадигмы вообще, а возникают формы падежа х у имен с лексико-грамматическим значением у и т. п. Возникающие инновации связываются в этой концепции с конструкциями частыми и важными, не содержащими уже известного, пресуппозитивного материала. Такими конструкциями являются повествовательные главные предложения, утвердительные. Действительно, предложения *Моя жена не купила себе пальто; Вот дом, который построил Джек; Почему Вы вчера это сказали?* уже содержат в себе известные пресуппозиции: жена собиралась купить себе пальто; Джек построил дом; вчера было нечто сказано. Поэтому синтаксис главного предложения более «склонен» к инновации, а синтаксис придаточного более архаичен. Отметим в связи с этим, что более сложный синтаксис отрицания плохо усваивается детьми (действительно, известны затруднения у детей при использовании конструкций типа *Он не мог не сказать; Нельзя не поверить* и т. п.).

Предлагается следующая коммуникативная иерархия имен по важности для говорящего: «говорящий > слушающий > имя собственное > имя нарицательное > имя-название животного существа > имя-название неодушевленного объекта > (локация)» [22]. В соответствии с этим однопольное языковое изменение осуществляется на разных временных этапах. Так, А. Тимберлейк показывает дискурсивно обусловленное различие выбора винительного или родительного падежей для русских глаголов, допускающих оба падежа в управлении. Винительный падеж, по его наблюдениям, тяготеет к выражению индивидуализации. Поэтому чем индивидуализированнее имя, тем больше у него шансов быть оформленным через винительный падеж. Отсюда: а) имя собственное индивидуальнее нарицательного: *Ой, что ты?*  $\overset{\sim}{\text{Лену}}$   $\overset{\circ}{\text{жену}}$   $\overset{\circ}{\text{Лень}}$   $\overset{\circ}{\text{жены}}$  *пугаешься?* <sup>6</sup>; б) обозначение человека индивидуальнее обозначения одушевленного существа вообще, а оно в свою очередь индивидуальнее неодушевленного объекта: *Все боялись*  $\overset{\sim}{\text{дядю}}$   $\overset{\circ}{\text{медведицу}}$   $\overset{*}{\text{эту машину}}$   $\overset{\circ}{\text{этой машины}}$ ; в) поэтому более индиви-

<sup>6</sup> Знак  $\sim$  обозначает предпочтительность употребления, знак  $\circ$  — возможность употребления, знак  $?$  — сомнительность этой возможности, знак  $*$  — маловероятность такого употребления.

дуализированные конкретные имена принимают вин. падеж. скорее, чем абстрактные: Я *ожидал*  $\frac{\overset{\circ}{\text{твое письмо}}}{\underset{\circ}{\text{твоего письма}}}$ ; Он *ждал*  $\frac{\overset{\circ}{\text{его уход}}}{\underset{\circ}{\text{его ухода}}}$ ; г) единственное число доминирует над множественным: Мы *ищем*  $\frac{\overset{\circ}{\text{легкий путь}}}{\underset{\circ}{\text{легкого пути}}}$ ;  $\frac{\overset{\circ}{\text{легкие пути}}}{\underset{\circ}{\text{легких путей}}}$ ; д) определенный объект скорее будет в аккумулятиве, чем неопределенный: Я *столько времени ждал*  $\frac{\overset{\circ}{\text{это письмо}}}{\underset{\circ}{\text{этого письма}}}$ ; Мать *ждала*  $\frac{\overset{\circ}{\text{письмо}}}{\underset{\circ}{\text{письма}}}$  от сына. А. Тимберлейк многократно подчеркивает гра- дуальность синтаксических изменений, их коммуникативно-дискурсивную обусловленность [24]. Это эволюционное расслоение парадигм разных классов подчеркивается и в других трудах анализируемого направления [25—28].

Интересным, по нашему мнению, является трактовка процесса языковой эволюции как комбинаторного воздействия явлений, относящихся к разным языковым пластам и категориям, но действующим в одном направлении. Наиболее показательной в этом отношении представляется статья Т. Гивона о причинах смены порядка слов в древних текстах [29]. Это движение (от типа VS к SV) связано, по его мнению, со степенью топикальности (известности) субъекта. Она увеличивается по шкале «от экзистенциальной конструкции — к неопределенному имени — к определенному имени — к анафорическому местоимению». Поэтому экзистенциальная структура предпочитает синтаксис VS, а анафорическая — SV. Т. Гивон рассматривает хронологически различные древние тексты сакрального характера. В более ранних текстах преобладает имперфект и порядок VS. В категориальном значении имперфекта доминирует континуальность, высказывания связываются через *и*, ткань повествования однопланова. По мере развития кругозора носителей языка ткань повествования меняется, происходит частая смена топика. Идентификация актанта может быть затруднена, поэтому важной становится активно вводимая анафорика, SV связывается с появлением нового топика и возникновением неимперфектных форм. Первоначально коммуникативные изменения грамматикализуются: SV-структура становится возможной и при имперфекте, а континуальность входит в категориальное значение не только имперфекта, но и перфекта. Взаимодействие всех указанных выше факторов описано Т. Гивоном [29, с. 187]. Итак, анафорика связывается с переменой точки зрения на мир, с возможностью создавать нечто вроде внутреннего цитирования и самоцитирования, с богатством или бедностью семантического потенциала антецедента; инициальная позиция местоимения зависит от некоторого неформального распознавания чего-либо как близкого или далекого. Для синхронного состояния подобные ситуации рассматривает Д. Болинджер [30], критикуя, однако, поверхностный анализ кореференции, представленный во многих работах по структуре текста.

Комплексные изменения грамматических показателей под воздействием коммуникативно-прагматических установок особенно часто разбираются в анализируемых работах на примере следующей связи явлений: 1) пассивной структуры; 2) пассива; 3) перфекта с *иметь* или с *быть*; 4) эргативной конструкции. Становление эргативных языков в их отношении к неэргативным описывается во многих работах указанного направления [31—33, 27]. Значимость именно эргативности при коммуникативном подходе к языковым изменениям в свою очередь убедительно показана в [12].

Очевидно, что все эти градуальные комплексные процессы происходят как результат коммуникативной установки, при создании высказывания, а само высказывание реализуется на линейной оси. Поэтому основной ареной дискурсивных изменений и, соответственно, основным объектом анализа этого лингвистического направления является расположение элементов, т. е. порядок слов. Постулируемый общий принцип сводится к переходу от SOV к SVO для языков развитых традиций (languages of

civilisation). Однако при более внимательном рассмотрении можно увидеть и различия в пределах той же концепции. Например, 1)  $V_{\text{иниц}}$  и SOV первоначально были исходными и равноправными структурами; 2) VSO — это промежуточный этап; 3) важен только один переход: от SOV к SVO; 4) S вообще несущественно, важен лишь порядок OV (более старый) или порядок VO [19, 26, 29]. При этом VSO и  $V_{\text{иниц}}$  как бы молчаливо идентифицируются. На самом деле несомненно, что далеко не всякое V начальное есть VSO. Скорее, напротив, начальное V часто бывает представлено при статальном описании с безобъектной структурой (*Наступила весна* и т. д.). Таким образом, из работ американских лингвистов указанного направления не всегда можно определить, какая именно структура — трехчленная или двучленная — стоит за индексацией SV или  $V_{\text{иниц}}$ . Между тем это структуры, различные и синтаксически, и семантически: *Человек умер* или *Человек купил книгу*. Далее, в выделяемых трехчленных конструкциях не находится места вводящему обстоятельству, хотя, как мы знаем, именно наличие или отсутствие обстоятельств во многом определяет весь порядок слов. Недаром в концепции актуального членения предложения такое большое место занимает теория «кулис».

Подлинную сложность выявления диахронических этапов эволюции порядка слов можно увидеть в небольшой, но очень важной и интересной статье С. Стил [34], трактующей причину передвижения безударных клитик на второе место. Автор показывает нерешенность ряда исходных вопросов, в частности: 1) можно ли считать изначальным процессом превращение местоименных форм в безударные и их продвижение в этом качестве на второе место или сама позиция на втором месте по сути своей безударна (тогда неясно, почему на втором месте могут быть полнозначные формы); 2) почему клитики обязательно должны занять второе место (автор допускает цикличность этого процесса).

В изложенной концепции, по существу единой, хотя и варьирующейся в зависимости от материала и от автора, есть много положений, на наш взгляд, заслуживающих серьезного обсуждения. Интересным представляется прежде всего как бы обратный поворот стрелки исследовательского внимания, т. е. движение не от настоящего к прошедшему, а от прошедшего к настоящему и будущему. Таким образом, идет не поиск реликтов древних состояний в состояниях более поздних, а в более ранних срезках ищут то, что потом оказывается доминирующей структурой. В связи с этим возникает задача — понять, как и почему в языке зарождаются те или иные структуры. Поэтому, например, и диалектные данные, отличающие диалект от литературного языка, можно рассматривать двояко: как ценнейшие показатели того, что литературный язык утратил, или, напротив, как свидетельства того, чего диалект не смог приобрести. И тогда можно задуматься над тем, какие компоненты первичной общности литературный язык постепенно отбрасывает. В связи с этим можно попытаться построить новый тип эволюционной типологии.

С этим связан второй, соотносящийся с первым вопрос. Говоря о литературном языке в синхронии и диахронии, мы на самом деле обычно оперируем двумя принципиально несоотносимыми величинами. В настоящем литературный язык — это язык академических грамматик, противопоставленный просторечию, социальным жаргонам, территориальным диалектам, т. е., условно говоря, это язык значительной группы лиц, обладающих максимальной возможностью вербального воплощения коммуникативных намерений. В отношении же к прошлому история литературного языка обычно превращается в описание срезов, восстанавливаемых по текстам наиболее выдающихся литературных деятелей, и тогда ось эволюции предстает лишь как перечень сведений об употреблении или неупотреблении тех или иных форм. Но можно к проблеме подойти иначе: исходя из найденных посылок универсального развития, фиксировать, на каком этапе язык как бы остановился и какие этапы дальнейшего развития можно для него предсказать. Например, данные большинства языков показывают, что если есть один артикль, то это определенный артикль, что будущее время развивается позднее аористных по значению форм. Со-

вокупность подобных фактов, проанализированная в аспекте определенных коммуникативных установок, может составить набор эволюционных закономерностей.

Следующий круг проблем определяется идеей неравномерности развития языков в коммуникативно-дискурсивном аспекте. Идея различия языков по степени интенсивности диахронического продвижения параллельна идее различия по степени дискурсивной значимости членов одной и той же парадигмы. Здесь предлагаемый принцип, как представляется, может дать интересные результаты. Например, разная степень архаичности синтаксиса в разных типах предложений обнаруживается при анализе употребления частиц. Так, *ли* в русском прямом вопросе уже кажется архаизмом: *Придет ли он сюда?* Эта частица употребляется больше при переспросе или альтернативном вопросе: *Придет ли он сюда или поедет в город?*; *Придет ли он сюда? Не знаю*, т. е. в конструкциях с большей степенью пресуппозиции. В придаточном же предложении, синтаксис которого считается более архаичным, частица *ли* вполне нормативна: *Все думаю, придет ли он сюда*.

Сказанное выше о прагматическом коде, когда языки наиболее близки, и о синтаксическом, когда языки максимально различаются, очень близко к идеям, высказанным в 30-е годы В. И. Абаевым о языке как идеологии и языке как технике [35]. Процесс технизации, по В. И. Абаеву (т. е. синтактизации в новых терминах. — *Н. Т.*), есть «универсальный процесс, определяющий линию языкового развития» [35, с. 5], технизация есть универсальный семантический процесс [35, с. 15]. «Для нас формальное, — пишет В. И. Абаев, — это результат технизации того, что когда-то было не формальным, т. е. было идеологическим» [35, с. 6]. В работах С. Д. Кацнельсона находим критику сравнительно-исторического языкознания за недостаток внимания к синтаксису, очень важному для понимания первопричин языковой эволюции [36].

Многое в излагаемой концепции остается все же неясным. Несмотря на резкую критику Хомского и хомскианства [6, с. 1], следует отметить фактическое использование представителями рассматриваемой теории известного правила переписывания высказывания после трансформации (*re-write rule*). В качестве трансформационных циклов при этом выступают эволюционно-диахронические срезы языкового состояния, причем на каждом новом цикле анализируется изменение той или иной формы под давлением коммуникативно-дискурсивных установок. Но все же язык не всегда напоминает пьесу, где на авансцену выходят определенные герои, а остальные в это время остаются в тени. Происходит модификация всего состояния в целом. Поэтому после прочтения литературы вопроса все же остается неясным, что происходит с языком после того, как процесс «синтактизации» уже завершён и наступает эпоха значительных языковых расхождений. Чем объясняются столь явно дивергентные процессы, если принцип коммуникативно-дискурсивного воздействия все равно остается действенным, а универсальность проходимого пути подразумеваемой? Неясным остается и многое в том, что касается порядка слов, сводимого только к трем компонентам и потому обедненного. Хотя кажутся перспективными идеи о том, что не все члены парадигмы изменяются одновременно и что грамматически отдаленные классы при каждом изменении цикла могут связываться в категориальный пучок на синтагматической оси, неопределенным остается количественный порог, согласно которому можно считать данный язык прошедшим то или иное состояние. Затруднительно также каждый шаг языковой эволюции объяснять исключительно дискурсивной интенцией. Здесь необходимо заметить, что, анализируя указанные сборники, мы до сих пор не акцентировали существенный для их общей оценки факт. Дело в том, что в этих работах нигде не говорится о причинах языковой эволюции, вызываемых с а м о й языковой системой как таковой. В этом плане указанные работы отличаются даже от учебных пособий по истории языков, где говорится о компенсаторных процессах, о развитии по аналогии, заполнении пустых клеток в системе, мене функций при выпадении членов парадигмы и т. д.

Непоследовательность анализируемой концепции, видимо, в определенной мере можно объяснить двойственной природой языковой системы: многое в языковом развитии определяется коммуникативной установкой говорящего; в то же время столь же многое определяется внутренней эволюцией языковой системы. Таким образом, систему языка можно представить в виде шкалы с двумя полюсами — максимально коммуникативным, с ареной основного действия в виде синтаксиса, и максимально системным и автономным (с ареной в виде корнеслов и фонетики). К последней зоне всегда тяготело сравнительно-историческое языкознание, к первой — эволюционная типология указанного типа. Вероятно, взятые как крайние, компаративистская концепция Ф. Боппа и натуралистическая концепция А. Шлейхера имеют реальные основания, проецируясь на такую сложную систему, как язык. Поэтому в заключение хотелось бы присоединиться к словам В. И. Абаева: «В языке не так все просто: конкретные формы взаимодействия двух видов закономерностей (языковой идеологии и закономерности языковой техники) допускают такое беспредельное многообразие языковых типов, что уложить их в какую-либо упрощенную схему — задача совершенно неосуществимая и просто ненаучная» [35, с. 10] или к словам современного американского лингвиста: «Итак, языки могут модифицироваться только в те языковые типы, которые диктуются универсальной грамматикой. Однако они не свободны в том, чтобы переходить от одного человеческого языка к другому; им позволено это делать лишь в пределах морфосинтаксических устройств (patterns), которые они наследуют или видоизменяют» [37].

Приняв эти положения, можно при этом представить на обсуждение и ту, достаточно цельную концепцию, о которой говорилось выше, — как определенное знамение времени.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Кибрик А. Е.* Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
2. *Николаева Т. М.* Вопросы общей лингвистики в работах Д. Болинджера. — ВЯ, 1964, № 1.
3. Word order and word order change. Ed. by Li Ch. Austin, 1975.
4. Subject and topic. Ed. by Li Ch. New York — San Francisco — London, 1976.
5. Mechanisms of syntactic change. Ed. by Li Ch. Austin, 1977.
6. *Givón T.* On understanding grammar. New York — San Francisco — London, 1979.
7. Syntax and semantics. V. 12: Discourse and syntax. Ed. by Givón T. New York, 1979.
8. *Langacker R. W.* — Language, 1981, v. 57, № 2. — Rec.: *Givón T.* On understanding grammar. New York. — San Francisco — London. 1979.
9. *Green G. M.* — Language, 1982, v. 58, № 3. — Rec.: Syntax and semantics. V. 12. New York, 1979.
10. *Ли Ч. Н.* и *Томпсон С.* Подлежащее и топик: новая типология языков. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
11. *Чейф У.* Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
12. *Бехерт И.* Эргативность как исходный пункт изучения прагматической основы грамматических категорий. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
13. *Givón T.* Topic, pronoun and grammatical agreement. — In: Subject and topic, p. 154.
14. *Сэнур Э.* Язык. М. — Л., 1934, с. 95.
15. *Lightfoot D. W.* Principles of diachronic syntax. London — New York — Melbourne, 1979, p. 165.
16. *Якобсон Р.* В поисках сущности языка. — Сб. переводов по вопросам информационной теории и практики, 1970, № 16.
17. *Гузман М. М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.
18. *Langacker R. W.* Syntactic reanalysis. — In: Mechanisms of syntactic change.
19. *Lehmann W. P.* From topic to subject in Indo-European. — In: Subject and topic.
20. *Justus C. F.* Relativization and topicalization in Hittite. — In: Subject and topic.
21. *Friedman L. A.* The manifestation of subject, object and topic in the American sign language. — In: Subject and topic.
22. *Becker A. L.* The figure a sentence makes: an interpretation of a classical Malay sentence. — In: Syntax and semantics.
23. *Markey T. L.* Deixis and the U-perfect — The journal of Indo-European studies, 1979, v. 7, № 1—2.
24. *Timberlake A. L.* Reanalysis and actualization in syntactic change. — In: Mechanisms of syntactic change.

25. *Chung S.* On the gradual nature of syntactic change.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
26. *Langdon M.* Syntactic change and SOV structure. The Yuman case.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
27. *Dixon R. M. W.* The syntactic development of Australian languages.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
28. *Chafe W.* The evolution of third person verb agreement in the Iroquoian languages.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
29. *Givón T.* The drift from VSO to SVO in Biblical Hebrew.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
30. *Bolinger D.* Pronouns in discourse.— In: *Syntax and semantics.*
31. *Anderson St.* On mechanisms by which languages become ergative.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
32. *Anderson St.* On the notion of Subject in Ergative languages.— In: *Subject and topic.*
33. *Haas M.* From auxiliary verb phrase to inflectional suffix.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
34. *Steele S.* Clisis and diachrony.— In: *Mechanisms of syntactic change.*
35. *Абаев В. И.* Еще о языке как идеологии и как технике.— В кн.: *Язык и мышление.* Т. 6—7. Л., 1936.
36. *Кацнельсон С. Д.* Номинативный строй речи. I. Атрибутивные и предикативные отношения. Л., 1939.
37. *Joseph B.* Linguistic universals and syntactic change.— *Language*, 1980, v. 56, № 2, p. 368.

РЕЦЕНЗИИ

**Панфилов В. З.** Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. — М.: Наука, 1982. 357 с.

Бурное развитие науки в последние десятилетия, обострение идеологической борьбы в сфере всех наук, необходимость критики многочисленных попыток философского осмысления научного знания с немарксистских позиций, предпринимаемых противниками марксизма, — все это ставит перед советскими учеными ответственную задачу серьезной разработки философских основ каждой науки на основе марксистско-ленинской теории с учетом новейших научных достижений.

Весомый вклад в решение этой задачи представляет рецензируемая книга В. З. Панфилова, посвященная рассмотрению философских проблем языкознания.

Заслугой автора в первую очередь является четкое установление круга философских проблем языкознания. Он справедливо делит эти проблемы на два цикла: 1) проблемы онтологии языка, 2) методологические проблемы языкознания.

С диалектико-материалистических позиций В. З. Панфилов подвергает критике получившую в языкознании достаточно широкое распространение концепцию, согласно которой язык как предмет языкознания формируется исследователем, являясь лишь системой его взглядов на речь, принятой им системой описания. Автор убедительно показывает научную несостоятельность этой субъективно-идеалистической точки зрения на предмет языкознания, состоящей в подмене языка-объекта метаязыком, и доказывает объективный характер существования языка.

Объективный характер существования языка означает объективность закономерностей его развития. В. З. Панфилов настойчиво — в течение многих лет — проводит идею объективного существования факторов, определяющих как историческое развитие, так и функционирование языка, рассматривая в единстве внутренние закономерности языкового развития и функционирования, обуславливающие специфику и относительную самостоятельность процессов, протекающих в языке, и экстралингвистические факторы, в первую очередь социальные, без которых прогресс в языке и любое движение в языке и речи оказались бы невозможными<sup>1</sup>.

Исходя из марксистско-ленинского понимания проблемы истины, автор решительно выступает против сведения истинности лингвистической теории к одной лишь логической правильности (непротиворечивости и последовательности описания) и обосновывает необходимость соответствия лингвистического описания самому объекту, т. е. реально существующему языку, что устанавливается лишь в процессе практики.

Особое место среди представителей проблем языкознания, по справедливому утверждению В. З. Панфилова, занимают вопросы, касающиеся роли языка в познавательной деятельности человеческого мышления, в отражении объективной действительности, в развитии человеческого познания, в формировании и выражении категорий мышления. Именно на этом круге вопросов, включающемся в гносеологию в качестве одного из разделов собственно философии, автор монографии сосредоточил свое внимание.

В книге обоснованно отвергается как ошибочное учение представителей неогумбольдтшанского языкознания и неопозитивистской философии об определяющем влиянии языка на мышление человека и процесс познания в целом, о различии познавательных возможностей и результатов познавательной деятельности у людей, говорящих на различных языках. Отрицание общечеловеческого характера мышления неогумбольдтшанцами основано на реальном несопадении в значениях отдельных слов и грамматических форм различных языков. Однако эти семантические расхождения между языками, наблюдающиеся только при сопоставлении изолированных лексических единиц и грамматических образований, снимаются в речи, способной выражать любое необходимое содержание независимо от того, закреплено ли оно за какой-либо единицей в системе языка или воспроизводится сочетанием языковых единиц, возникающим в ходе речевого общения.

Признавая необходимость языка для самого существования человеческого мышления, невозможность формирования мыслей без участия материальных языковых средств, определенное влияние языка на способ организации мысли, В. З. Панфилов в то же время решительно отстаивает в борьбе с неогумбольдтшанством и неопозитивизмом положение

манентных) законов функционирования и развития языка [см. 5].

<sup>1</sup> Кроме рецензируемой работы, см. [1—4]. Ср. утверждение Б. А. Серебряникова о том, что В. З. Панфилов якобы отрицает наличие внутренних (им-

ние диалектического материализма о наличии общего для всех людей логического строя мышления. Позиции автора были бы значительно укреплены, если бы он в самой сфере мышления четко разграничил логические формы, обусловленные потребностями практической деятельности и процесса познания, являющиеся в связи с этим общечеловеческими, и семантические формы, определяемые особенностями грамматического строя языка и не играющие познательной роли, которые могут обладать и национальными различиями (см. [6, 7]).

Поддержка заслуживает отстаиваемое автором положение о знаковом характере материальной стороны языковых единиц, т. е. об отсутствии подобия между материальной стороной единицы языка и ее идеальной стороной, а следовательно, и теми явлениями объективной действительности, к которым она (материальная сторона языковой единицы) относится. Ведь только благодаря знаковости материальной стороны языковых единиц, условности ее связи с явлениями объективного мира оказываются возможными свойственные мышлению абстрагирование и обобщение, так как лишь отсутствие сходства материальной стороны единицы языка с предметами позволяет ей репрезентировать целые классы предметов, отличающихся друг от друга, несмотря на наличие общих признаков, как один предмет в виде обобщенного, абстрагированного отражения. Именно знаковый характер материальной стороны единиц языка обуславливает необходимость языковых средств для мыслительной деятельности человека.

Квалифицируя материальную сторону языковой единицы как знак, автор вполне обоснованно выступает против признания знаком билатеральной единицы языка в целом, против приписывания знаковых свойств и второй, идеальной, стороне языковой единицы. Действительно, знаковость идеального содержания означала бы чистую условность его связи с объектом, исключала бы более или менее точное отражение объекта в сознании, веда бы к непознаваемости объекта, что несомненно с ленинской теорией отражения [см. 8]. В монографии последовательно проводится мысль о вторичности идеальной стороны языковой единицы по отношению к объективной действительности, об отражении в ее идеальном содержании объекта, в силу чего идеальное содержание единицы языка не может не быть подобным самому объекту.

Правоммерно признавая идеальную сторону билатеральной единицы языка ее значением, В. З. Панфилов, естественно, считает несостоятельными взгляды тех исследователей, которые определяют значение языковой единицы как отношение материального знака к выражаемому идеальному содержанию или к обозначаемому объекту. Такая оценка представляется вполне оправданной, поскольку критикуемые взгляды зачастую связаны с отрицанием факта

отражения в идеальной стороне языковых единиц. Однако было бы целесообразно сделать оговорку относительно тех ученых, которые используют термин «значение» для наименования отношения между знаком и воспроизводимым идеальным содержанием лишь в силу неудачной терминологии, рассматривая при этом идеальную сторону языковых единиц как отражение объективных явлений и квалифицируя ее как означаемое. Этим ученым следовало бы порицать за научно не обоснованное использование термина «значение», поддерживая их концепцию по существу.

Рассматривая язык в соответствии с одним из основных положений материалистической диалектики как целостную систему, в пределах которой все компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, В. З. Панфилов вскрывает порочность релятивистской концепции, преувеличивающей роль связей и отношений между единицами языка, а порою сводящей сами единицы лишь к пучкам пересечения чистых отношений, якобы первичных по сравнению с единицами языка и порождающих эти единицы.

Ярко написаны страницы, посвященные критическому анализу концепций интерсубъектного существования языка, в частности теории Карла Поппера о так называемом третьем мире — мире объективных знаний без познающего субъекта, воплощенных в языке в виде множества напечатанных и написанных текстов — книг и других письменных источников. Этот мир, по мнению Поппера, существует наряду с миром физических объектов (первый мир) и миром состояний субъективного сознания (второй мир). Ошибочность учения К. Поппера о третьем мире состоит в том, что, согласно этому учению, в сферу языка включаются факты, сами по себе образующие язык: множество письменных источников (зафиксированных текстов) представляет собой не языковую сферу, а лишь разнообразный набор особого рода материальных следов языка, которые могут порождать языковые факты, только вступая в контакт с мозгом человека. Поэтому ни о каком существовании языка вне зависимости от мозга и сознания человека (т. е. вне зависимости от субъекта) не может быть и речи.

Большое внимание уделено в монографии проблеме языковых универсалий, в первую очередь универсалий предложения, обусловленных структурой выражаемой им мысли. Поскольку содержание любого предложения представляет собой отражение какой-либо объективной ситуации, постольку в нем отображаются общие типы объективных ситуаций, представляющие различные сочетания действия и его участников (актантов). Например: *Иван идет, Иван зовет Петра, Иван дает книгу Петру*. В. З. Панфилов справедливо отмечает, что выражение в составе предложения отношений актантов к действию фиксирует структуру мысли как пропозициональной функции с одноместным или многоместным предикатом и составляет один из универсальных признаков предложе-

ния во всех языках. Вместе с тем автор вполне обоснованно утверждает, что общими для предложений во всех языках является выражение в их составе не только отношений актантов к действию, но и субъектно-предикатного отношения, т. е. отношения логических субъекта и предиката, выделяемых в суждении традиционной логикой.

Субъектно-предикатная структура характеризуется двучленностью, структура суждения как пропозициональной функции — многочленностью. Эти структуры, несмотря на существенное различие, взаимно не исключают друг друга, а совмещаются, относясь к разным структурным уровням суждения. Структура суждения как пропозициональной функции фиксирует типовую структуру объективной ситуации, субъектно-предикатная структура обусловлена направленностью познания этой ситуации. При отражении одной и той же ситуации первая структура остается неизменной, вторая может изменяться. Если суждение *Иван взял книгу* выступает как ответ на вопрос *Что сделал Иван?*, то роль субъекта выполняет понятие *Иван*, роль предиката — *взял книгу*. Если это суждение сформировалось как ответ на вопрос *Куда исчезла книга?*, то субъектом следует признать компонент *книгу*, а предикатом — *Иван взял*.

Наличие двух уровней в структуре суждения преломляется в языке в виде двух уровней членения предложения — синтаксического и логико-грамматического. Активное изучение лингвистами в последние десятилетия, помимо синтаксического членения предложения, логико-грамматического (актуального) членения и формально-языковых средств его выражения привело, по утверждению В. З. Панфилова, к расширению понятия синтаксиса как раздела грамматики, что, с нашей точки зрения, является вполне оправданным.

В языке субъектно-предикатной структуре мысли строго соответствует логико-грамматическое (актуальное) членение предложения, которое есть не что иное, как субъектно-предикатная структура мысли, компоненты которой маркированы определенными формальными языковыми средствами.

Что касается синтаксического членения предложения (его разделенности на члены предложения), то между ним и структурой суждения как пропозициональной функции, по справедливому замечанию В. З. Панфилова, при наличии лишь общей корреляции нет взаимно однозначного соответствия. Возможность различия в синтаксической структуре при отражении одной и той же объективной ситуации, следовательно, при сохранении структуры суждения как пропозициональной функции автор иллюстрирует использованием различных залоговых конструкций для выражения идентичных по объективному содержанию мыслей, что обуславливается активностью осуществляемого с помощью языка познавательного процесса, т. е. активностью формы отображения (ср. *Рабочие строят дом* и *Рабочими строится*

*дом*). Противопоставленность эргативных и номинативных построений также связана с различными способами языкового изображения одних и тех же объективных ситуаций.

Следовало бы пойти дальше и определенно разграничить ситуационное членение содержания предложения, отображающее структуру типовой объективной ситуации и выражающее структуру суждения как пропозициональной функции, которое можно назвать типовым значением предложения, и собственно синтаксическую структуру, которая, несмотря на связь с ситуационным членением, обладает своей спецификой, воспроизводя изоморфную ей семантическую форму мысли, выражаемой в предложении. При таком подходе придется признать, что отражение структуры типовой ситуации (структура суждения как пропозициональной функции) по отношению к синтаксической форме предложения выступает не как строго соответствующая ей (воплощенная в ней) форма мысли, а как выражаемое с ее помощью типовое содержание.

Рассматривая отражение структуры типовой ситуации (отношения актантов к действию) и субъектно-предикатное членение мысли как два разных уровня структуры суждения, подчеркивая их взаимосвязь и взаимодействие, квалифицируя их как универсалии, автор книги сосредоточивает внимание на многообразии способов выражения этих универсалий в структуре предложения разных языков, при этом он отмечает зависимость между способами выражения указанных универсалий и характером структуры слова в различных языках. Особую теоретическую и практическую значимость приобретает детальное описание этих способов и их использования во многих языках мира.

В качестве языковых универсалий выделяются также предикативность и модальность. Представляется бесспорным признание предикативности всеобщим признаком любых типов предложения и понимание ее как отнесенности содержания предложения к действительности. вполне оправданно стремление автора отграничить предикативность как свойство предложения на уровне логико-грамматического членения от сказуемости как свойства предложения на уровне синтаксического членения, при этом, однако, не раскрывается сущность сказуемости. В книге отмечается, что сказуемость есть свойство сказуемого и осуществляется в сказуемом отношении. Но не выясняется, в чем состоит этой свойство и что представляет собой сказуемое отношение по существу. Целесообразно было бы показать механизм взаимодействия сказуемости и предикативности (см. в связи с этим [9]).

Обоснованной, на наш взгляд, является критика попыток свести акт предикации к акту обобщения, а также той точки зрения, согласно которой категория предикативности получает свое выражение в категориях времени и лица, поскольку обобщение свойственно не только акту предикации, а категории времени и лица

отражают объективные отношения, охватывающие и субъект речи, в то время как предикативность раскрывает лишь субъективное отношение мысли к объективной действительности.

В. З. Павфилов, безусловно, прав, выступая против слишком широкого понимания модальности (против включения в эту категорию различных эмоциональных оттенков, оценок самой действительности со стороны автора высказывания, утверждения и отрицания и т. п.).

Бесспорной заслугой автора рецензированной монографии является четкое разграничение субъективной и объективной модальности и их видов, подробное описание языковых способов выражения двух основных типов модальности и их разновидностей и вместе с тем подчеркивание отсутствия резкой грани между значениями субъективной и объективной модальности и способами их языкового выражения.

Значительное место в книге отводится анализу отрицания как языковой универсалии и его роли в конструировании суждения и предложения.

Нельзя не согласиться с положением автора о функционировании отрицания не только на синтаксическом, но и на логико-грамматическом уровне предложения, в связи с чем предложение и выражаемое им суждение могут получать различную характеристику со стороны качества на каждом из этих уровней: так, суждение-предложение *Охотник не приехал домой вчера*, представленное как ответ на вопрос *Кто не приехал домой вчера?*, оказывается отрицательным на уровне его структуры как пропозициональной функции и утвердительным на уровне субъектно-предикатной структуры, поскольку предикат в нем не отрицается, а утверждается. Если отрицаемый предикат выражается любым членом предложения, кроме сказуемого, то суждение-предложение на уровне субъектно-предикатной структуры, по справедливому утверждению В. З. Павфилова, следует считать бесконечным (*Не охотник приехал домой вчера* — с постановкой логического ударения на подлежащем), поскольку в этом случае отрицаемый в предикате факт допускает его замену неограниченным множеством иных фактов. Полностью отрицательным, естественно, может быть признано лишь то суждение-предложение, в котором при отрицательном значении оба уровня структуры не расходятся, т. е. логический предикат выражается сказуемым с отрицанием «не» в сочетании со всеми зависящими от сказуемого членами предложения.

Убедительна критика принятого в лингвистике использования терминов «общеотрицательное предложение» и «частноотрицательное предложение» для наименования соответственно предложений с отрицанием, относящимся к сказуемому, и предложений с отрицанием, относящимся к любому другому члену предложения. В логике, как известно, общеотрицательными называются суждения, в которых предикат отрицается в отношении всего объема субъекта, а частноотрицательными — суждения, в которых пре-

дикат отрицается в отношении части объема субъекта суждения. Разумеется, следует избегать использования в лингвистике терминов в значении, не совпадающем со значением, свойственным им в логике, так как это может привести к смешению различных явлений. Поскольку же при анализе предложения на синтаксическом уровне важно разграничивать случаи, когда ситуация отрицается полностью, и случаи, когда отрицается лишь один из ее компонентов, постольку это различие должно быть терминологически закреплено. Для обозначения предложений с отрицанием, относящимся к сказуемому, в которых отрицается ситуация в целом, на наш взгляд, целесообразно сохранить термин «отрицательные предложения», а для наименования предложений с отрицанием, относящимся к любому другому члену предложения, в которых отрицается только один из компонентов ситуации, подходящим представляется термин «утвердительно-отрицательные предложения», который указывает на утвердительную основу таких предложений и позволяет рассматривать их как особую разновидность утвердительного предложения.

Правоммерно квалифицируя предложения на логико-грамматическом уровне как утвердительные при отсутствии отрицания перед логико-грамматическим предикатом в тех случаях, когда в пределах субъекта или предиката содержится идея отрицания, желательно называть их не просто утвердительными на логико-грамматическом уровне, а утвердительными с отрицанием внутри субъекта или предиката (см. приведенное выше предложение *Охотник не приехал домой вчера*, представленное как ответ на вопрос *Кто не приехал домой вчера?*).

Заслуживают внимания соображения автора о снятии противопоставленности утверждения и отрицания в вопросительных предложениях, а также о роли отрицания в логико-грамматическом членении предложения.

Большую теоретическую и практическую ценность (как для философии, так и для науки о языке) представляют главы, в которых на современном и историческом материале многих языков показан путь становления и развития двух важнейших категорий мышления — категории количества и категории качества. Интерпретация описанных фактов языка и мышления, общетеоретические выводы, полученные автором, представляются убедительными и весомыми.

Значимость этих глав выходит далеко за пределы тех проблем, которые непосредственно рассматриваются в них. На примере двух категорий выясняются принципиальные вопросы взаимодействия языка и мышления в ходе из развития, рациональной и чувственной ступеней познания, формальной и содержательной сторон мыслительных процессов и образований.

Книга В. З. Павфилова — значительное событие в научной жизни страны. Она не только обогащает философскую и лингвистическую теорию, а также целый ряд смежных областей знания, но

и достаточно широко используется в практике обучения студентов и аспирантов философских и филологических факультетов. Она открывает целую серию монографий, издаваемых Институтом языковедения АН СССР под общим названием «Проблемы марксистско-ленинского языковедения».

Чесноков П. В.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Панфилов В. З. Грамматика и логика. М.—Л., 1963, с. 3, 6, 11 и др.
2. Панфилов В. З. О соотношении внутрилингвистических и экстралингвистических факторов в функционировании и развитии языка.— В кн.: Теоретические проблемы современного советского языковедения. М., 1964.
3. Панфилов В. З. Философские проблемы языковедения. М., 1977, с. 6, 7, 31—32, 103—105 и др.

4. Панфилов В. З. Карл Маркс и основные проблемы языковедения.— ВЯ, 1983, № 5, с. 12—13.
5. Серебренников В. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983, с. 52—53.
6. Философские основы зарубежных направлений в языковедении.— М., 1977, с. 51—62.
7. Чесноков П. В. Семантические формы мышления как значение грамматических форм.— В кн.: Семантика грамматических форм. Ростов-на-Дону, 1982, с. 3—11.
8. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.— Полн. собр. соч., т. 18, с. 245—248.
9. Чесноков П. В. Предикативность и модальность как семантические признаки предложения.— В кн.: Единицы морфологии и синтаксиса в семантическом аспекте. Ростов-на-Дону, 1979.

Неверов С. В. Общественно-языковая практика современной Японии.— М.: Наука, 1982. 150 с.

В монографии С. В. Неверова рассматриваются две важные и недостаточно исследованные в нашей науке проблемы: функционирования языка в современном японском обществе и изучения этого функционирования в работах ученых школы «языкового существования» (гэнго-сэйкаку) — влиятельного направления в современной японской науке.

Изучению функционирования языка в японском обществе специально посвящена первая глава книги (с. 9—20), однако эта проблематика рассматривается и в ряде других ее глав в связи с исследованиями школы «языкового существования». Автор рассматривает различные аспекты языковой ситуации в современной Японии, которая имеет много общего с ситуацией в других развитых капиталистических странах, но содержит в себе и ряд специфических явлений. К ним относятся позднее формирование современного литературного языка (XIX в.), сохранившееся долгое время и не полностью исчезнувшее до сих пор большое расхождение между устными и письменными вариантами литературного языка, живучесть диалектов, оказывающих влияние на литературный язык. Убедительно показывается, что возникновение школы «языкового существования» в 40-х гг. XX в. было стимулировано в первую очередь практическими причинами: необходимостью разработки научной основы для языковой политики, прежде всего для завершения процесса формирования японского языка.

Большая часть книги (главы II—VI) посвящена изучению школы «языкового существования» и анализу ряда ее конкретных работ. Еще в 50-х гг. на значительные деятельности этой школы обратил внимание наш крупнейший японист Н. И. Конрад, посвятивший этому специальную статью [1]. Однако в дальней-

шем на исследования школы «языкового существования» у нас не обращалось должного внимания, хотя они представляют несомненный интерес не только для японистов, но и для языковедов других специальностей, которые не могут познакомиться с ними из-за языкового барьера (работы ученых данной школы печатаются почти исключительно на японском языке). Поэтому очень своевременным следует считать выход книги С. В. Неверова, являющейся первым в нашей стране (и вообще где-либо за пределами Японии) монографическим исследованием данного направления японской науки.

С. В. Неверов анализирует историю развития школы «языкового существования», в основном сформировавшейся в 40—50-е гг. Справедливо подчеркивается роль Токиэда Мотоки как основателя этого направления, подробно разбираются взгляды Нисио Минору, Икэгами Тайдзо, Хага Ясуси и других ученых, выявляются сходства и различия их точек зрения. Жаль, что не рассмотрены работы такого влиятельного представителя школы «языкового существования», как Сибата Такэси, в частности, его обобщающая книга [2]. Большого внимания, на наш взгляд, заслуживают и работы Минами Фудзико, в которых предпринимается попытка соединить результаты, полученные в исследованиях школы «языкового существования», с общелингвистической теорией. Пожалуй, именно эти два ученых в значительной степени определяли развитие данного направления в 70-е гг.

Школа «языкового существования» представляет собой этап развития японской национальной лингвистической традиции. Как верно отмечено, «японская теория языкового существования развилась на национальной почве» (с. 5). Ученые этого направления, испытавшие определенное влияние американской социо-

логии и социальной психологии, не приняв основных положений современной им европейской и американской лингвистики, прежде всего тезис о том, что основным объектом лингвистического исследования является язык в сосюрювском смысле. На с. 23—25 книги анализируются взгляды основателя школы Токиэда Мотоки, в частности, приводится такое его высказывание: «Если для Соссюра вопрос состоит в использовании языка (langue), то для меня вопрос заключается именно в процессе выражения через язык, т. е. в самом языковом выражении, язык же я считаю психическим процессом» [3]. Такая направленность характера и для других ученых данной школы, только интерес к психическим процессам у них сменился интересом к процессам, происходящим в обществе. С. В. Неверов приводит различные определения основного объекта исследования этих ученых, «языкового существования» (с. 23—29); показано, что при некоторых расхождениях во мнениях все эти исследователи понимают «языковое существование» как речевую деятельность в связи с прочими видами деятельности человека.

Таким образом, по направленности, по объекту исследования школа «языкового существования» значительно отличается от любого направления языкознания в Европе или Америке. С. В. Неверов справедливо указывает, что тематика, специфическая для школы «языкового существования», в европейской науке разрабатывалась не лингвистикой, а другими дисциплинами — поэтикой и риторикой, которые к тому же ориентировались не на любую речевую деятельность, а лишь на некоторые ее специфические виды, имеющие особую общественную ценность (с. 93—94). Тем самым многие проблемы, связанные с речевой деятельностью человека, были впервые поставлены в мировой науке учеными школы «языкового существования».

Поэтому особую ценность представляют разделы монографии, где излагаются конкретные результаты исследований этой школы (главы III—V). Описан полученный японскими учеными большой и разнообразный материал, иллюстрирующий устную и письменную речевую деятельность японцев, а также восприятие ими устной и письменной речи. В частности, собраны данные о том, сколько времени затрачивают представители тех или иных групп населения на говорение, чтение, слушание, письмо, каким количеством лексических единиц и письменных знаков владеют те или иные носители японского языка, как эти люди относятся к тем или иным видам речевых действий, и т. д. Огромный эмпирический материал такого рода, часть которого приводится в книге, дает интересную информацию о социолингвистических проблемах современной Японии.

Подробно описаны исследования японских ученых в области изучения процессов массовой коммуникации, имеющие четкую практическую направленность. Их цели — поддержание языковой нормы в текстах прессы, телевидения и радио, а также выработка рекомендаций

для правильного построения текстов средств массовой коммуникации с целью максимального воздействия на адресатов.

Разработка практических мер для повышения эффективности воздействия прессы, телевидения, рекламы и т. д. привела к формированию в Японии более общих концепций, в которых рассматриваются правила, по которым происходит процесс говорения и слушания, сопоставляются разные типы этих процессов (монолог, диалог, беседа и др.). С. В. Неверов подробно описывает эти концепции, чему посвящена глава IV книги. Справедливо подчеркивается связь этих исследований с традиционными формами японской речевой культуры, так называемой «японской вежливостью» (с. 72).

Недостаток места не позволил С. В. Неверову в равной степени осветить все проблемы, разрабатываемые школой «языкового существования», например, в стороне оставлены диалектологические исследования. Однако в целом книга дает хорошее представление о вкладе, внесенном в науку представителями этой школы.

С. В. Неверов пишет: «Некоторые черты японской теории языкового существования для европейского восприятия представляются весьма привлекательными, другие кажутся довольно примитивными» (с. 5). В его книге основное внимание уделено рассмотрению позитивных результатов; показано, чем исследования школы «языкового существования» интересны для советского языкознания. В меньшей степени говорится о недостатках, свойственных этой школе. На наш взгляд, подробнее следовало бы остановиться, в частности, на подчеркнутom эмпиризме этой школы и недостаточной разработанности общей теории.

К книге приложен «Словарь терминов языкового существования», содержащий толкования 243 терминов. Словарь очень ценен для понимания идей исследуемой школы. В словарь включены как термины, специфичные для нее, так и термины, общеупотребительные в японской науке вообще, например, «бунго» (старописьменный японский язык), «гайрайго» (заимствования нового времени в японском языке); помещение последних в словарь оправдано, поскольку они входят в общую систему терминов школы, но их следовало бы как-то отграничить.

Книга не лишена спорных положений и отдельных неточностей. Слишком категоричным представляется утверждение о том, что сейчас происходит «формирование нового устно-письменного общего языка» в Японии (с. 16). После войны в японском литературном языке произошли большие изменения: завершилось его нормирование, в частности, в области лексики и орфоэпии, развились новые функциональные стили, литературным языком овладело практически все население Японии. Однако в целом нормы литературного языка, сформированные в конце XIX — начале XX в., сохраняются и сейчас, особенно в области грамматики; большинство функциональных стилей литературного языка существует без особых изменений с довоенного времени; изменения в лексике вряд ли столь вели-

ки, чтобы говорить о смене языка. Скорее речь может идти о новом этапе развития современного литературного языка. К тому же процессы установления языковой нормы, не завершившиеся ко времени возникновения школы «языкового существования», сейчас в основном завершены; теперь главная практическая задача японских лингвистов — поддержание и совершенствование нормы [см. 4]. Вряд ли следует сводить массовые обследования, перечисленные на с. 45, к изучению лексики; в них был получен обширный материал и по функционированию грамматических, а иногда и фонетических явлений. При описании омофонии в японском языке не сказано об ударе, которое различает многие из упомянутых на с. 18 омофонов. Но сам факт, что японские ученые не различивают собственно омофоны и квазиомофоны, различающиеся ударением, требует объяснения; ср. упоминание на с. 35 того, что первоначально в японской науке бытовало мнение,

согласно которому в японском языке удара нет.

Однако в целом книга С. В. Неверова дает хорошее представление о языковой ситуации в Японии и о школе «языкового существования».

Алпатов В. М.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Конрад Н. И. О «языковом существовании». — Японский лингвистический сборник. М., 1959.
2. Сибата Такэси. Сякай-гэнгогакуно кадай (Задачи социолингвистики). Токио, 1978.
3. Токизава Мотоки. Кокугогаку-гэнрон (Принципы японского языковедения). Токио, 1941, с. 125.
4. Neustupný J. V. Post-structural approach to languages. Tokyo, 1978, p. 163, 167.

Lunt H. G. The progressive palatalization of Common Slavic. — Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 1981. 98 p.

Прогрессивная, или бодуэнова палатализация заднебных (далее — БП), которой посвящена работа Г. Ланта, по праву считается «вечной» проблемой славистики. Именно чуть более века назад — в 1879 г. — А. А. Потебня выдвинул первую гипотезу, трактовавшую ее как особое изменение (правда, пока еще не прогрессивное). Сегодня таких гипотез известно множество: особый случай йотации (А. А. Потебня, К. Кнутсон, Р. Экблом), прогрессивное воздействие высокого переднего гласного (И. В. Ягич), то же в ударном слове (И. А. Бодуэн де Куртене), то же перед ограниченным классом гласных (А. А. Шахматов), то же перед *j* (К. Бругман, Й. Миккола), прогрессивное межгласное взаимодействие (Ф. Мареш) и т. д.

Поскольку все эти гипотезы наталкиваются на многочисленные исключения, в толковании БП с давних пор не прерывается традиция, приводящая к синтезу прогрессивного воздействия с морфологической аналогией или даже к чисто морфологическим трактовкам изменения (Я. Отрембский, Й. Хамм).

Не порывая с этой традицией полностью, Г. Лант прежде всего стремится построить внутриуровневую модель. Такая установка заслуживает безусловного одобрения, тем более в исследовании, выполненном с позиций генеративной лингвистики, для которой характерна максимальная интегрированность фонологических процессов в морфологию.

К своему исследованию Г. Лант пришел от описательной старославянской грамматики [1] — путь, типичный для генеративиста. Он убежден, что «...отношения внутри одной и той же системы могут одновременно быть историческими и синхронными» (с. 7), хотя и отвергает

тезис об априорном тождестве порядка правил синхронного порождения и относительной хронологии соответствующих процессов. Генеративный анализ старославянского материала становится источником исходной, рабочей формулы БП  $Ci(N)\check{a}$  («после высокого переднего монофтонга или его сочетания с носовым сонантом перед нижним задним гласным»).

Эта формула закономерно приближается к наиболее популярной, максимально «позиционной» модели БП, выдвинутой А. А. Шахматовым. В аспекте относительной хронологии она соответствует другой концепции (Г. А. Ильинский и др.), так как предполагает эпоху до устранения праславянских дифтонгов, а значит, и до регрессивной свистящей палатализации заднебных (далее — СП). Вопрос об отношениях с регрессивной шипящей палатализацией (далее — ШП) пока остается открытым.

Далее следует первый цикл исследования (с. 13—25) — подробный анализ языкового материала в свете полученной формулы. Левое условие объясняет сохранение заднебного в трех случаях:

1) После *i*, для которого установлено (или хотя бы можно предположить) дифтонгическое происхождение: *великъ*, *еликъ*, *коликъ*, *толикъ*, *верига* (?), *мигъ*; суффикс *-(н)ик(ъ)*, который, по Ланту, следует отличать от *-иц(a)* с исконным монофтонгом; образования с префиксом *при-* (с. 17—18; 21; 65, примеч. 42; 70, примеч. 69). Обосновать консервативный характер позиции автор пытается при помощи гипотетических поверхностных репрезентаций *a? → ai*, *e? → ei*, первая из которых имеет типологические параллели (с. 19—20; 64, примеч. 40).

2) В *присага*, где  $\xi \leftarrow *en$ , в отличие от *завъць* и под., где  $\xi \leftarrow *in$  (с. 22; 67, примеч. 56).

3) За счет еще большего увеличения возраста БП (до перегласовок после палатальных) — в *уго* ( $\bar{i} \leftarrow *ju-$ ), *кънигы* (\**kuŋŷg-*), а также в *ближика*, *ожика*, *горькъ*, *тѣжкъ*, *рѣжъка*, *пѣштыка*, *сколька*, *верига* (?), где реконструкция \* $\bar{j}\bar{u}$  не общепринята (ср., например, [2]).

Правая позиция позволяет объяснить сохранение суффиксальных дериватов типа *льгъкъ*, *льгыны* (с. 15). На именное склонение в его двух основных типах это ограничение не распространяется, поскольку практически все раннепраславянские падежные формы сохраняли тематические гласные  $\bar{a}$  (с. 16). Таким образом, БП предшествовала и сужению  $\bar{a} \rightarrow \bar{y}$  в конечном закрытом слого (с. 22—23).

Самую сложную задачу — преодоление множества случаев, оставшихся за пределами формулы, — автор решает несколькими способами. Наиболее радикальный из них — строжайшее ограничение заслуживающего доверия материала канонических старославянских текстами; последних в указателе источников насчитывается всего пять — в три раза меньше, чем, например, у Р. М. Цейтлин [3].

Отожествив старославянский язык IX—XI вв. с поздним общеславянским, автор только в нем ищет отражение всех праславянских процессов. Прочие свидетельства, если и принимаются, то с большими оговорками. В результате отклоняются не только *ликъ* (представлено с XVII в.), *д(ѣ)визъ* (с XVI в.), но и *гълъкъ*, *клькъ* (с XII в.), *льгота* (с XI в.), *яригъ*, *коврига*, *чръмига*, *грѣкъ* (VII—IX вв.), а также фитоимы на *-ика*, для которых допускается IX в. (с. 19—21).

Для многих русских примеров (*старикъ*, *ножикъ*, *скачокъ*, *смычокъ*, *диал. атѣкъ* и др.) такая операция подкрепляется и гипотезой о массовом замещении суффиксов, сопоставляемом с вытеснением продуктов СП из именных парадигм (с. 18; 63, примеч. 30; 66, примеч. 49). С той же целью привлекается правило (восходящее, надо добавить, к А. Мейе) диссимилиации суффиксального согласного корневому (с. 66, примеч. 53).

Другой прием — пресмотр существующих этимологий (см. выше) — иногда приводит к отрицанию самого исходного материала изменения: так, для *тризь* реконструируется (с. 19) и.-е. \* $\bar{z}(h)$ .

Не меньше затруднений представляют глагольные формы. Так, чтобы доказать предшествование БП относительно СП в императиве, Ланту приходится постулировать преобразование типа \**ръцѣте* → *ръцѣте*, по аналогии с *мозѣте* и под. (с. 69, примеч. 64). Чтобы объяснить палатализацию после дифтонгического  $\bar{i}$  в итеративе *полмизати* — реконструировать (на основании косвенных данных) нулевую ступень чередования *meig-/ \*mig-*; для *въздвизати* не находится и косвенных данных, и автор апеллирует (с. 24) к морфологическому правилу старо-

славянского языка, без чего при иной хронологии можно было бы обойтись.

Впрочем, в целом морфологизация чередования в итеративах бесспорна; нельзя, в частности, не согласиться с аналогической трактовкой форм с корневыми плавными типа *намръцати*, а также девербатива *арьцало* (с. 24—25). Напротив, для *насмисание* и под. морфонологическая трактовка (с. 70, примеч. 71) отнюдь не обязательна; она вызвана тем, что автор вообще отрицает участие  $\bar{x}$  в БП (см. ниже).

Второй цикл исследования (с. 25—29) — более тщательный анализ хода изменения и его диахронических связей. Диахронический контекст устанавливается не через причинно-следственные связи, а на основе двух типологических параметров: прогрессивного и межслового характера взаимодействия. Первый параметр объединяет БП с генезисом  $\bar{x}$  и перегласовками после палатальных согласных, второй — с генезисом  $\bar{x}$  и падением редуцированных; оба параметра противопоставляют ее ШП, СП и т. д. Вывод: родственные процессы развивались очень рано или же после 1000 г., с явным предпочтением первой возможности (с. 25); сближение БП с генезисом  $\bar{x}$  усугубляется за счет приписывания агентом последнего общего признака /+высокий/ (с. 26). Следует отметить некорректность второй даты (1000 г.): речь должна идти не о результатах падения редуцированных, а его предпосылках (правило Гавлика), которые, естественно, сложились гораздо раньше.

Предложенный диахронический контекст заставляет автора несколько модифицировать формулу изменения, введя хронологическое запаздывание ее правой, регрессивной части. Конкретный состав последней также подвергается уточнению. Лант сравнивает 4 варианта: 1) /+гласный/; 2) /+высокий, —задний/ /—высокий/; 3) /—высокий/; 4) /—высокий, +задний/. Предпочтение отдается варианту 3 как самому простому (с. 26; 73, примеч. 81). Однако фонетическое обоснование неблагоприятности позиции допускается — без особой уверенности — только для  $\bar{y}$ : влияние поверхностной огубленности, подобное переходу *eu* → *au* в *новъ* (с. 27). Более того, с точки зрения соответствия материалу варианты 2 и 3 абсолютно равноправны, а 4 отличается от них только трактовкой вокатива в склонении основ на *-ѣ-*; позиции перед  $\bar{i}$ ,  $\bar{e}$  реально не представлены.

Но именно трактовка вокатива оказывается существеннейшим звеном в концепции автора: допустимость БП перед *e* требует предшествования ее относительно ШП и расширения правила ШП на результаты БП (с. 27). Следует отметить, что последнее допущение отнюдь не является инновацией: именно с перехода  $\bar{y} \rightarrow \bar{c}$  начиналось описание отношений между результатами БП и ШП [4].

С пересечением БП и ШП связано применение двухступенчатой модели палатализации, которая (опять приходится добавить за автора) была разработана

в общем виде И. А. Бодуэном де Куртене и Е. Куриловичем [5, 6]. На основании этой модели строится последовательность процессов: 1)  $K \rightarrow \acute{K} (\acute{C})$  после  $\tilde{i} (N)$  перед  $\tilde{e}, \tilde{a}$ ; 2)  $K \rightarrow \acute{K}$  перед  $\tilde{e}, \tilde{i}$ ; 3)  $\acute{K} (\acute{C}) \rightarrow \check{C}$  перед  $\tilde{e}, \tilde{i}$ .

Существенная деталь: в отличие от Куриловича, который убедительно обуславливает ассимиляцию палатализованных заднеязычных их фонологизацией, Г. Лант вынужден отнести фонологизацию к более позднему времени. Это делает схему, особенно расщепление позиционного варианта и частичное слияние его с другим позиционным вариантом, фонологически сомнительной (с. 28).

Третий цикл исследования (с. 29—38) — анализ диалектных данных в связи с проблемой абсолютной хронологии БП. Греч. топоним *Gardiki* (= *Градъцъ*), возводимый к VII—VIII вв., трактуется как регулярный продукт БП, сужения гласных в конечном закрытом слоге, перелогосовки, отпадения конечного согласного. Напротив, греч. *Abarikos* отождествляется не с *аворъцъ*, но с *аворъникъ* (отражение алб. *rn* → *r*). В итоге автор констатирует для указанного времени на Балканах прочно сформированную триаду  $k - c (\acute{k}) - \check{c}$  (с. 29). Нельзя сказать, что эта трактовка убедительнее, чем традиционная (М. Фасмер): фиксация незавершенного процесса; ср. обычную передачу греками славянских аффрикат через «тау + сигма» (с. 75, примеч. 91).

Беглый обзор передачи славянских топонимов баварскими и романоязычными писцами позволяет автору предполагать наличие *c* для альпийского ареала в IX в. (с. 29—30), что, впрочем, отнюдь не противоречит традиционной поздней датировке БП.

Как известно, восточнославянский материал дает серьезные основания считать обе свистящие палатализации в северной части ареала ограниченными или вообще недействительными. Г. Лант допускает такое мнение только для СП, которую считает очень поздней. Случаи отсутствия БП отклоняются способами, проанализированными выше: русск. *стега, ни зги* — как обратные дериваты от *стежка, \*здѣѣ* (местн. ед.). подобно *фляга* — *фляжка* (с. 31—32); германизмы *варягъ, Бураги, Кълябги, шылягъ, серья* (?) — как поздние (иногда повторные) заимствования (с. 32—33).

Для особенно затруднительных *нельга, польга* предлагается целый ряд возможных объяснений: гиперкоррективные написания, семантическая связь с корнем *льг-* и, наконец, крайняя малочисленность лексем со звонким заднеязычным, подлежащих БП, которая активизировалась здесь только с появлением упомянутой группы германизмов (с. 35; 80, примеч. 120). Думается, именно в последнем случае автор ближе всего к истине, но для *баба-яга* предлагается уже «какой-то аффективный фактор» или балтийское влияние.

Мнению о неучастии в БП фонемы *x*, помимо малочисленности соответствующих примеров, а также неформальности

(по мнению Ланта) этой фонемы в раннепраславянском, благоприятствует и противоречивость парадигмы местоимения *въсь*: наличие форм с «твердыми» *ѳ*-флексиями. Если эти формы исконные (а их обнаруживает и парадигма *сиць*), то БП определенно следовала за СП. Автор противопоставляет этой трактовке абстрактный тезис о большей склонности местоимений к инновациям, чем к сохранению архаизмов. Однако именно «незаконная» мягкость основы в *сь* (п.-е. *\*ki-*), на которую он ссылается, как раз настолько проблематична, что не позволяет присоединиться к столь сильному утверждению. Вообще говоря, нет достаточных оснований приписывать местоименным аномалиям какой-либо определенной характер. Нельзя признать удовлетворительной и ссылку на неясность этимологии, которой отводятся свидетельства почти полной парадигмы *въхъ* в древненовгородском диалекте (с. 36—37).

В конце концов автор справедливо заключает, что убедительных данных для абсолютной хронологизации нет; допуская дату II—III вв., он сам подчеркивает ее произвольность; с несколько большей уверенностью III и СП приурочиваются к VI—VIII вв. (с. 37—38).

В четвертом цикле исследования (с. 41—56) подвергается систематическому пересмотру целый комплекс смежных с БП праславянских явлений. Следует отметить, например, весьма удачный анализ процесса сатемизации, проходящего стадию аффрикат (с. 43; 82, примеч. 132), объяснение рефлексии *ai* → *i* через сужение гласных в конечных закрытых слогах. Здесь же уточняется структура славянского глоттогенеза: БП прикрепляется к эпохе перехода от позднегоиндоевропейского («дославянского») состояния к раннепраславянскому («протославянскому»).

Как видим, содержание рецензируемой книги гораздо шире ее названия. Точно так же она приводит к выводам, более общим, чем конкретные результаты исследования. Виртуозный, исчерпывающий позиционный анализ, предпринимаемый Г. Лантом, отчетливо показывает границы применимости чисто синтагматического подхода к фонологическим изменениям. Представляется, что столь значительное сужение описываемого материала и количество пересматриваемых этимологий (не всегда обоснованно) — слишком дорогая цена за чистоту формулы. Становится еще более очевидной необходимость привлечения парадигматических факторов, анализ взаимодействия двух основных языковых осей. Аналогичная ситуация складывается и для используемых Г. Лантом типологических обобщений, которые явно нуждаются в уравновешении системными факторами.

Вряд ли может способствовать такому обогащению теоретического аппарата генеративная модель языка, «фонологический компонент» которой безразличен не только к понятию оппозиции (а тем самым, и фонемы), но и к конкретной языковой реальности вообще. Работа Г. Ланта демонстрирует неизбежность

модификации этой модели в диахронических исследованиях, даже сугубо синтагматических. Так, наряду с критикой «фонетического реализма таксономической лингвистики» (с. 6—7, 14), автор вынужден существенно, по сравнению со старославянской моделью 1974 г., приблизить исходные репрезентации к поверхностным (с. 15). Неоднократно отмечается эволюционная активность поверхностного уровня (с. 27; 64, примеч. 40).

Г. Лант подчеркнуто не злоупотребляет специфической символической и способом изложения, стремится к общепонятности и общепонятности. Нельзя не признать, что во многом это ему удается благодаря последовательности и цельности аргументации. Между тем аргументация эта образует прочно замкнутый логический круг: генеративный анализ дает позиционное решение, которое приводит к ранней датировке, облегчающей ограничение материала, в свою очередь, это последнее облегчает позиционное решение, а оно уже, наконец, «дает доказательства ценности этого подхода» (с. 5—6). Обеспечить анализ причинно-следственных связей и специфического механизма частных процессов может только выход за пределы такого круга к обобщающей модели праславянской фонологической эволюции.

Предшественник Ланта Р. Ченнон [7] обосновал схему БП—ШП—СП концепцией слогового сингармонизма, которая, однако, допускает и каноническую схему ШП—СП—БП. Последнее решение находит поддержку в концепции группового сингармонизма [8, 9]. При этом тезис о переходном, кризисном характере БП получает широкую трактовку, увязываясь с кризисом группофонемного строя в эпоху распада праславянской общности.

Уже в генезисе палатализации участвовали разнородные факторы: синтагматические (спорадические межслоговые взаимодействия); предшествующий высокий вокальный сегмент, близкий консонантной артикуляции), парадигматический (фонологизация продуктов СП) и, наконец, межуровневый (морфемное притяжение в парадигмах, содержащих формы, смягченные по СП).

Решающей же для судьбы палатализованных форм стала морфемная организация языковых единиц, активизировавшаяся (после почти полного подавления) в той же кризисной ситуации. В частности, необходимым условием БП стало отсутствие перед задненебным морфемной границы, а содействующим, на что указывает (вслед за М. Халле и Т. Лайтнером) и Г. Лант (с. 15), — наличие границы после него. В конечном итоге сформировалась палатализация суффиксов и лишь в особых, исключительных случаях — корней (Лант говорит об этом на с. 18).

По всей видимости, продукты БП очень рано были ассимилированы морфологической, словообразовательной, лексической подсистемами языка. Ясно, что такое изменение не могло быть фонетически регулярным, последовательным. Для него необходима модель, сопрягающая максимально возможное число факторов (по сопрягающая их в определенном порядке: от внутренних к внешним).

Построение подобной модели предусматривает постоянное обращение к идейному запасу, накопленному предшественниками. Американская генеративистика недооценивает этот аспект научной работы, что нашло некоторое отражение и в рецензируемой книге. Не говоря уже об обзоре развития научных идей, в ней весьма ограничена система ссылок, нельзя признать объективным отбор литературы.

Тем не менее можно утверждать, что работа Г. Ланта, содержащая ряд нетривиальных общих идей и вызывающих интерес частных наблюдений, будет полезна не только сторонникам предлагаемых автором решений: научная полемика (если, конечно, она ведется по правилам) всегда плодотворна для обеих сторон.

Беляев Д. Д.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Lunt H. Old Church Slavonic grammar. 6-th ed. Hague, 1974.
2. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 2. М., 1975, с. 123; Вып. 7. М., 1980, с. 55.
3. Дейтман П. М. Лексика старославянского языка. М., 1977. с. 14.
4. Miklosich F. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. 2. Aufl. Bd. 1. Wien, 1879. S. 276—277.
5. Бодуан де Куртене И. А. Два вопроса из учения о «смягчении», или палатализации в славянских языках. — Уч. зап. Юрьевск. ун-та, 1893, № 2, с. 7—8.
6. Kurylowicz J. Probleme der indogermanischen Lautlehre. — In: 2. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1962, S. 109.
7. Channon R. On the place of the progressive palatalization of verals in the relative chronology of Slavic. The Hague — Paris, 1972.
8. Журавлев В. К. О внутренних причинах появления фонетических дублетов. — В кн.: Этимология. 1967. М., 1969. с. 116.
9. Беляев Д. Д. Конвергентно-дивергентные процессы в фонологических изменениях (на материале истории задненебных в праславянском языке): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980, с. 16—17.

Десятилетие, истекшее с момента выхода в свет первого издания рецензируемого труда [1], почти совпало с десятилетием существования Советского комитета тюркологов при Отделении литературы и языка АН СССР, одним из важных пунктов деятельности которого признается углубленное изучение истории отечественной тюркологии [2, с. 101, § 13]. И, надо сказать, благодаря неустанной инициативе и деятельностью председателя Комитета А. Н. Копонова положение в этой области науковедения существенно изменилось. Сам факт выхода в свет первого издания рецензируемой книги, а также тесно связанного с ней «Библиографического словаря отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» (М., 1974) [см. об этом 1, с. 7] и «Очерка истории изучения турецкого языка» А. Н. Копонова (Л., 1976) стимулировал интерес ряда тюркологов к истории своей науки.

Ученики и коллеги А. Н. Копонова по инициативе самого ученого продолжают систематически издавать «Тюркологические сборники», многие из которых полностью или частично посвящены изучению научного творчества тюркологов прошлого — П. М. Мелиоранского [3], А. Н. Самойловича [4], С. Е. Малова [5], первой печатной грамматики алтайского языка [6]. Появились библиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана, библиографический словарь советских востоковедов. Вышли в свет или продолжают печататься многотомные казахская, узбекская, киргизская, азербайджанская советские энциклопедии. Публикуются многочисленные статьи о тюркологах, их научном творчестве, проектах создания «Азиатской академии» в России (в периодике и различных неперидических изданиях).

Широко привлекая материалы этих и многих других публикаций по исследуемой теме, неустанно выискивая малоизвестные первоисточники, А. Н. Копонов во втором издании существенно дополнил, а в отдельных частях и кардинально переработал свою книгу — в настоящем своем виде она почти в полтора раза объемней ее первого издания.

Компоновка книги претерпела наибольшие изменения в двух главах, непосредственно касающихся истории тюркского языкознания в XIX — начале XX в., — это глава V «Из истории тюркского языкознания в России» (с. 201—298), где изложение ведется совершенно по новому плану, и вычлененная заново глава VI «Основные направления изучения тюркских языков в России» (с. 299—334), см. об этом в разделе «От автора» (с. 3). В результате кардинальной переработки и расширения эти две сугубо лингвистические главы стали центральными в рецензируемом труде, что не могло не отразиться на структуре всей книги, соотношении ее частей; так, остальные четыре главы стали подчиненными по отношению к главам V и VI. В самом деле, предшествующие им четыре главы призваны показать истоки развития отечественного тюркского языкознания (главы I—III), а также условия, в которых протекало это развитие (глава IV). Как отмечает автор в Предисловии (с. 5—11), «избранный план построения книги в известной мере навеян архитектурной» трудов Н. И. Веселовского, В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковского по историографии отечественного востоковедения (с. 10).

В рецензируемой книге, которая вышла в свет в год 60-летия образования Союза Советских Социалистических Республик, красной нитью проходит мысль об изначальной интернациональности отечественной тюркологии, которая создавалась и развивалась усилиями представителей как русского, так и тюркоязычных народов. В каждой из шести глав книги детально охарактеризован вклад в отечественную тюркологию ученых и преподавателей — представителей тюркоязычных народов.

Другая мысль, объединяющая главы книги, — это нерасторжимость развития тюркологии как науки, с одной стороны, и преподавания тюркских языков и прочих востоковедных дисциплин, с другой. Недаром исключительное значение для прогресса всего отечественного востоковедения, в том числе и тюркологии, придается двум историческим фактам: «1) в 1803 г. Академия наук получила новый регламент, по которому в ней восстановились гуманитарные науки, исключенные из ее состава по регламенту 1747 г.: 2) в 1804 г. был утвержден новый университетский устав, по которому в Московском, Казанском и Харьковском университетах учреждались кафедры восточных языков. Развитие университетского востоковедения привело к созданию единого для всей России центра по подготовке востоковедов — факультета восточных языков С.-Петербургского университета (1855)» (с. 335—336).

Глава I «Предыстория русской тюркологии (до начала XVIII в.)» (с. 12—33) — это своеобразное введение в историю изучения тюркских языков в средневековой России. Глава I дополнена новым разделом «О термине-этнониме *türk*» (с. 14—17), в котором раскрываются сложности в неоднозначном употреблении этого этнонима как самими тюрками, так и их соседями — русскими — в разные исторические периоды. Для периода монголо-татарского нашествия и позднее, при сношениях России с Турцией, Средней Азией и Сибирью, большое внимание уделяется толмачам, переводчикам: судя по их именам и фамилиям, «почти все они были татарами или происходили из тагар» (с. 30). Здесь же рассматриваются первые словарные опыты, а также вопросы собирания тюркского лингвистического материала, начало которому положено в конце XVII в.

Практическое знание тюркских языков, утвердившееся на Руси с давних пор, а также постепенное накопление лингвистических, этнографических, исторических материалов, по мнению А. Н. Копонова, способствовали в дальнейшем, на-

чивая с петровской эпохи, зарождению научной тюркологии (с. 33).

Глава II «Зарождение научной тюркологии в России (начало XVIII в.)» (с. 34—108) открывается разделом, посвященным мероприятиям Петра I: «датой рождения русского востоковедения» автор считает 18 июня 1700 г., когда Петром I был издан указ об организации изучения восточных языков (с. 34). Тюркология, как и востоковедение в целом, зародилась в виде комплексной науки, занимавшейся языками, этнографией, литературой и историей тюркских народов. Недаром в одном из неосуществленных проектов предлагалось учредить «Академию, или Общество восточных наук и языков в империи Российской» (1733 г., Г.-Я. Кер).

Уникальность главы II состоит в том, что анализ востоковедной деятельности ученых XVIII в. широко опирается на материалы, извлеченные автором из архива востоковедов ЛО ИВ АН СССР, рукописных отделов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ЛО ИВ АН СССР, БАН СССР, ЛО АН СССР, ЦГАДА и др. Благодаря кропотливой исследовательской деятельности А. Н. Кононова в научный обиход возвращены рукописные тюркские вокабуляры, глоссарии, словари, разговорники XVIII — начала XIX в., причем во втором издании перечень их значительно расширен (см. с. 97—98).

Среди других внимание уделяется рукописным словарям. В их числе и те лексикографические разработки, которые осуществлялись при непосредственном участии преподавателей из представителей тюркоязычных народов. Это «Российско-татарско-калмыцкий словарь», составленный под руководством П. И. Рычкова и при участии учителя татарско-калмыцкой школы в Оренбурге ахуна Махмуда А(б)драхманова (с. 86), и двухтомный Русско-татарский словарь преподавателя татарского языка в казанских гимназиях Сагита Хальфина (с. 105—108). Рассматриваются также источники, история создания и структура «Сравнительных словарей всех языков и наречий». А. Н. Кононов точно определяет назначение и суть каждого из описываемых им словарей.

В столь же глубоко фундированной главе III «Тюркское языковедение в Академии наук (XIX — начало XX в.)» (с. 109—128) раскрывается исследовательская проблематика в трудах В. В. Вельяминова-Зернова (при этом особо отмечается, что «исключительная по важности роль» в подготовке и издании его «Материалов для истории Крымского ханства» принадлежит преподавателю татарского языка на факультете восточных языков С.-Петербургского университета Хусану Фанзахову, которого А. Н. Кононов оценивает как крупного знатока тюркской палеографии и дипломатики, — с. 251, 265—266), азербайджанца М. А. Газем-бека, В. В. Радлова, В. В. Бартольда, К. Г. Залемана, Э. К. Пеккарского и многих других. В этой главе объективную оценку получила тюркологическая деятельность многих ученых, труды которых порой несправедливо забыты

(в числе последних — А. А. Шифнер).

Разумеется, в настоящих условиях было бы неразумно требовать от рецензируемой книги исчерпывающей оценки действительного вклада, сделанного тем или другим ученым в тюркологию: почти в любом случае это с необходимостью предположало бы монографическое исследование научного творчества тюрколога, а таких монографий в тюркологии пока еще очень мало.

В главе III описываются также научные экспедиции востоковедов в XIX — начале XX в.

Глава IV «Преподавание тюркских языков в учебных заведениях России (XVIII — начало XX в.)» (с. 129—200) содержит полные сведения о постановке дела в университетах России [по сравнению с изданием 1972 г. сюда добавлены также Дерптский-Юрьевский (Тартуский), Виленский (Вильнюсский), Александровский в Гельсингфорсе-Хельсинки — с. 170—171], институтах (добавлен Восточный институт во Владивостоке — с. 188), гимназиях, училищах, школах и других учебных заведениях (в том числе — духовных), на специальных курсах. В рецензируемой книге освещена также деятельность Общества востоковедения (с центральным управлением в С.-Петербурге), а также Общества русских ориенталистов (с. 185—188), о чем не было речи в издании 1972 г.

Естественно, что именно в этой главе вклад ученых — носителей тюркских языков и их сотрудничество с русскими тюркологами удалось показать особенно рельефно и выпукло.

Здесь, как, впрочем, и в остальных главах, лаконичное сообщение о том или ином факте, имевшемся в издании 1972 г., обростаёт вновь обнаруженными подробностями, существенными деталями или примечаниями подлинно энциклопедического содержания.

В середине XIX в. в недрах комплексной науки тюркологии зародилась самостоятельная дисциплина — тюркское языковедение. Соответственно глава V имеет название «Из истории тюркского языковедения в России» (с. 201—298); она охватывает также периоды, предшествовавшие вычленению этой самостоятельной дисциплины. Композиционно главу V составляет обзор основных тюркских грамматик, словарей, учебных пособий; обзор построен в последовательности, предусмотренной классификацией тюркских языков Н. А. Баскакова [7, с. 230—350]. Здесь подробно рассматривается история изучения каждого из тюркских языков — в том порядке, какой предопределен принятой их классификацией. Имея в виду большие исторические сложности с названием тюркских языков и народов — их носителей в отечественной и западноевропейской традиции, А. Н. Кононов в необходимых случаях рядом с современным наименованием языка приводит также перечень его исторических названий (см., например, с. 214, 224 и сл.). Если учесть к тому же, что здесь сконцентрирован огромный библиографический материал по каждому из языков, в том числе — из источников, до-

стущих далеко не каждому из читателей (например, из периодического издания «Заволжский Муравей»), то будет ясно, какую ценнейшую историографию своей науки получает пыле тюрколог-языковед.

А. Н. Кононов отмечает большую роль в развитии тюркского языкознания хальфийской династии преподавателей татарского языка и члена-корреспондента Императорской Академии наук в С.-Петербурге азербайджанца М. А. Казем-Бека, казахского, татарского, азербайджанского просветителей И. Алтынсарина, К. Насыри, М. Ф. Ахундова, первого ученого из хакасов Н. Ф. Катанова, чуваша И. Я. Яковлева, армян Х. Абовяна и Л. З. Будагова.

Изложение спорных проблем тюркологии — таких, как, например, преемственная связь чувашского языка с древнеболгарским, место чувашского в кругу соседних с ним тюркских и нетюркских языков (с. 203 и сл.), или же вопрос о том, какой язык подразумевал Ибн Мухапна под языком «тюрков наших стран» (с. 216), — ведется здесь в широком контексте, с учетом в ссылочном аппарате существующих ныне воззрений. Благодаря этому в каждом конкретном случае прорисовывается фундированное мнение автора книги по изучаемому вопросу.

Во втором издании рецензируемой книги при обзоре тюркских грамматик и словарей особое внимание уделено работам по древнеуйгурскому языку (с. 276—277), а также по истории узбекского языка (с. 280—284, в первом издании книги содержались лишь соответствующие сведения по современному узбекскому и новоуйгурскому языкам — с. 217—218; 230—232).

Спорный вопрос о соотношении терминов «чагатайский язык» и «староузбекский язык» в рецензируемой книге решается компромиссно. До середины XV в. применительно к тюркскому литературному языку Средней Азии, судя по всему, допускается употребление термина «чагатайский язык» (с. 282). Термин же «староузбекский литературный язык», по мнению автора, «оправдано может быть применен только, к строго определенному периоду развития тюркского литературного языка Средней Азии, а именно к истории среднеазиатско-тюркского литературного языка начиная со второй половины XV века» (с. 282). Вместе с тем наряду с «новоузбекским языком» (к нему в первую очередь отнесены сочинения Абу-л-Гази, XVII в., где, между прочим, много огузских языковых элементов, см. с. 283) речь идет также и о «новочагатайском языке» (сочинение Абду-с-Саттар Казы, вторая половина XIX в. — с. 242).

Имея в виду давнюю дискуссию об этнической привязке языковых материалов «Codex Sumanicus», при утверждении: «Старейшим памятником крымскотатарского — степного, северного — языка является Codex Sumanicus...» (с. 250, ср. с. 28, 243) в последующем издании целесообразно будет также привлечь результаты новейших разысканий отечественных ученых [8—10].

Применительно к данным И. Гильден-

штедта, «который собрал лексические материалы по ряду языков Крыма и Кавказа» (но не Туркмении!), вряд ли целесообразно отождествление тухменского с туркменским языком (с. 240); туркменские диалектологи рассматривают первый как северокавказский диалект (говор) туркменского языка (см. статьи С. Куренова в «Известиях АН Туркменской ССР» за 1958 и 1959 гг.). Спорным является также вопрос о статусе лобнорского; воззрения на него как на самостоятельный язык придерживается У. Асаналев [11].

Глава VI «Основные направления изучения тюркских языков в России» (с. 299—334) важна обобщением собранных в книге данных. В наибольшей степени это относится к изучению тюркской грамматики. Хотя автор и считает «исследование развития и систематизацию грамматических идей применительно к тюркскому языкознанию» делом будущего (с. 3), первые приближительные обобщения он дает уже здесь, наметив основные направления развития грамматической теории в тюркском языкознании. Автор стремится также определить роль отечественных ученых в эволюции лингвистической мысли в целом. А. Н. Кононов уделяет большое внимание влиянию общезыковедческой и индоевропейской грамматической теории на труды отечественных тюркологов, всякий раз отмечая преемственность во взглядах. В результате в рецензируемой книге впервые намечено семь главных линий развития грамматических исследований в доктябрьский период (с. 306—307). Иногда воздействие русской и французской грамматических схем дает причудливые переплетения с арабской грамматической традицией (Грамматика турецко-татарского языка М. А. Казем-Бека).

Много внимания в рецензируемой книге уделено изучению памятников рунического, древнеуйгурского, арабского шесма (с. 307—317), ханских жалованных актов-ярлыков и ханских посланий битиков (с. 318), описанию тюркских рукописей отечественными тюркологами (с. 322—328).

А. Н. Кононов подробно рассматривает попытки классификации тюркских языков, представленные в трудах отечественных тюркологов, их достоинства и недостатки (с. 318—322). Выражая неудовлетворенность как этими, так и ныне действующими классификациями, он присоединяется к мнению И. А. Бодуана де Куртене о том, что «мы должны стремиться не к классификации языков, а только к их сравнительной характеристике» (с. 322). Не исключено, что применительно именно к тюркским языкам окажется плодотворным путь создания частных морфологических классификаций, полученных в результате поочередного системного обследования узловых грамматических категорий, и последующего творческого сведения их (при необходимой коррекции с фонетической классификацией) в общую классификацию тюркских языков.

Очень невелик по объему раздел «3. Изучение лексики тюркских языков» (с. 317; композиционно ему естественнее было бы находиться непосредственно меж-

ду разделами «1. Изучение грамматического строя» и «7. Изучение тюркизмов в русском языке и русизмов в тюркских языках»). Дело в том, что тюркская лексикография и лексикология долгое время были синкретичными, и для того, чтобы вычленив сумму лексикологических идей в дооктябрьской тюркологии, требуется специальное обследование тюркских словарей этой поры; такое обследование прояснит и узловые вопросы лексикографии (объем и состав словаря, его построение, приемы перевода и толкование слов, в нем собранных). Так, например, читая в рецензируемой книге, что «для сравнительного сопоставления лексического материала приведенных в таблице языков Страленберг выбрал 60 слов: имена числительные ..., имена существительные (бог, отец, мать, род, город, огонь, вода, земля, ветер, звезда, дождь, глаз, язык, борода, рука, нога и т. д.)...» (с. 63), можно сделать вывод: уже в первой половине XVIII в. происходил интуитивный отбор лексики базисного слоя. При этом, видимо, вполне осознавалась различность структуры глаголов в языках разных семей, в силу чего они к сопоставлению не привлекались. Даже из этого небольшого примера ясно, что лексикографическая практика была бы неосуществима без решения важнейших лексикологических проблем, хотя и в неявной форме.

Между тем первые специальные исследования словарей дооктябрьской поры в тюркологии еще только появляются [12, 13]. Изучение, например, «Сравнительного словаря турецко-татарских наречий» Л. З. Будагова в указанном аспекте показало, насколько серьезно и творчески относился его автор к решению и сугубо лексикографических, и лексикологических проблем, как при этом он учитывал достижения современной ему русской лексикографии. Л. З. Будагов фактически положил начало тюркской исторической и сопоставительной лексикологии, одним из первых проявив также интерес к истории тюркских слов и выражений, к их этимологии. Характерно, что в его словаре не только констатируются русизмы и прочие заимствования в тюркских языках и тюркизмы (ориентализмы) в русском языке, но и делаются попытки проследить их историю. Все это позволяет считать, что Словарем Л. Будагова по сути дела открыта новая страница в истории тюркской лексикологии и лексикографии.

Безусловно, специального анализа заслуживает также многотомный «Опыт словаря тюркских наречий» В. В. Радлова, о котором в рецензируемой книге только упоминается (с. 116).

В числе основных направлений изучения тюркских языков в России в качестве самостоятельного раздела, скорее всего — предваряющего раздел об их классификации, просится быть выделенным сопоставительное и сравнительное тюркское языковедение (заметки такого раздела, без его вычленения, имеются в гл. III, с. 119—120). Сюда по праву должны быть отнесены Татарская грамматика И. И. Гиганова, Грамматика турецко-татарского языка М. А. Казем-Бека,

ныне рассматриваемая только в числе трудов по турецкому языку (с. 228—331), Сравнительный словарь турецко-татарских наречий Л. З. Будагова, о котором находим упоминания в числе трудов по азербайджанскому (с. 220—221) и узбекскому (с. 284, по общераспространенному мнению — чагатайскому) языкам, Опыт словаря тюркских наречий В. В. Радлова (об этих двух словарях как об имеющих общетюркологическое значение см. на с. 120), штудии Радлова по сравнительной фонетике и морфологии тюркских языков [14, 15] и другие работы.

В кратком Заключение (с. 335—338) суммированы основные этапы в развитии отечественной тюркологии, причем подчеркнута, что отечественное востоковедение «никогда не служило ни миссионерским целям русской церкви, ни колониальной политике царского правительства...» (с. 336).

Рецензируемая книга с ее богатейшим тщательно отработанным библиографическим аппаратом (включая обширный Список сокращений — с. 339—343) и детальным Указателем имен (с. 344—356) на данном уровне историографических знаний дает почти исчерпывающую картину развития тюркологии в дооктябрьской России. Известные уточнения можно ожидать, по-видимому, от специального обследования старых словарей, монографического изучения научного творчества отдельных ученых, истории исследования ряда письменных памятников, занимающих особо важное место в эволюции того или иного литературного языка (примером может служить этюд самого А. Н. Кононова «История приобретения, переводов, изданий и изучения „Родословной тюрк“ Абу-л-Гази», с. 71—82).

*Благова Г. Ф., Наджип Э. Н.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972 (рец. см.: СТ, 1972, № 5; Народы Азии и Африки, 1973, № 3).
2. Резолюция III Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент, 10—12 сентября 1980 года. — СТ, 1981, № 1.
3. Тюркологический сборник. 1972. М., 1973.
4. Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.
5. Тюркологический сборник. 1975. М., 1978.
6. Ашнин Ф. Д. Первая печатная научная грамматика алтайского языка. — В кн.: Тюркологический сборник. 1977. М., 1981.
7. Васкаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. 2-е изд. М., 1969.
8. Дашкевич Я. Р. Армяно-кыпчакский язык XV—XVII вв. в освещении современников. — ВЯ, 1981, № 5.
9. Дашкевич Я. Р. Армяно-кыпчакский язык: этапы истории. — ВЯ, 1983, № 1.

10. Чеченов А. А. Язык «Codex Cumanicus» и его отношение к современным западнокыпчакским языкам: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1978.
11. Асаналиев У. Лобнор тилинин грамматикалык кыскача очерки. Фрунзе, 1964.
12. Умаров Э. А. Паве де Куртей — лексикограф. — СТ, 1981, № 6.
13. Оконешников Е. И. Э. К. Пекарский как лексикограф. Новосибирск, 1982.
14. Radloff W. Vergleichende Grammatik der nördlichen Türk Sprachen. 1. Tl. Phonetik der nördlichen Türk Sprachen. Leipzig, 1883.
15. Radloff W. Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türk Sprachen. — ЗАН, 1906, сер. VIII, VII, № 7.

**Пумпянский А. Л.** Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык. 2-е, доп. изд. — М.: Наука, 1981. 344 с.

Из многочисленных разновидностей перевода внимание исследователей более всего привлекали перевод художественной литературы, с одной стороны, и перевод научной и технической литературы — с другой. Если перевод художественной литературы, являющийся — как это общепризнано, — искусством, связан с постановкой наиболее острых проблем эстетики слова (причем закономерности соотношений между сопоставляемыми языками прослеживаются в весьма опосредованной и неявной форме), то в переводе научной и технической литературы эти закономерности выступают несравненно более рельефно, так что создается возможность проследить их со значительной степенью точности. Развитие теории каждого из этих видов перевода, которое шло своими путями и было связано со своими специфическими трудностями, привело и к накоплению опыта, ценного материала, и к важным теоретическим обобщениям. Что касается научной и технической литературы, то для изучения возможностей и конкретных средств ее перевода существование объективных закономерностей в соотношении между соответствующими языками служило особо благоприятным условием.

В разработке и построении теории этого вида перевода бесспорны заслуги автора рецензируемой книги. А. Л. Пумпянский написал ряд работ, относящихся к данной области. Основанные на англо-русском и русско-английском материале, они тесно сочетают в себе интересы теории и практики [1—5]. Теоретически наиболее насыщенная среди них — «Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык» — вышла в свет первым изданием в 1965 г., но не стала тогда предметом обсуждения в ваших специально лингвистических либо переводоведческих изданиях. Теперь она переиздана, обогащенная опытом дальнейших исследований автора (в особенности [6]) и снабженная большим послесловием «Становление и развитие теории перевода научной и технической литературы (1965—1980) как билингвистического ядра нового функционального стиля эпохи НТР» (с. 301—334). И хотя корпус книги не претерпел существенных изменений (опущены один раздел и несколько параграфов), именно в связи с послесловием ее

содержание приобретает принципиально новый интерес.

Автор исходит прежде всего из языковой реальности, из материала обоих сопоставляемых языков или — точнее — исходного (русского) и переводящего (английского), из реального состояния того функционального стиля (научной и технической литературы), в котором она проявляется. При этом А. Л. Пумпянский отрицательно оценивает существующую у некоторых зарубежных англистов тенденцию — не считаться с происшедшими и происходящими в языке изменениями и руководствоваться устаревшей, но якобы более совершенной нормой. Он отвергает и попытки искусственно упростить язык науки и техники, т. е. насильственно навязывать ему нарочито примитивные и стандартные формы выражения — якобы для удобства восприятия и перевода, но фактически в ущерб содержанию мысли. Признавая значение термина как носителя важнейшей научной информации, автор убедительно возражает против стремления объявить его главной и определяющей особенностью научных и технических текстов. В противовес такой еще широко распространенной точке зрения он настаивает на необходимости учитывать языковое окружение термина в тексте, роль нетерминологической лексики и грамматических связей как факторов, способствующих и верному осмыслению данных исходного языка, и выбору нужных средств в переводящем языке. Вообще то обстоятельство, что характеристика и анализ средств переводящего языка, в особенности средств грамматических, явно играет в книге доминирующую роль, оказывается в ней и организующим принципом, отличающим ее от многих работ о переводе, в которых гораздо большее место отводится особенностям исходного языка.

Глубокий и твердый лингвистический фундамент — результат работы исследователя над конкретным материалом — составляет важное достоинство книги, предназначенной служить теоретическим введением в практику перевода. Отметим, что среди представителей практики перевода научной и технической литературы бытует взгляд, согласно которому перевод технических текстов должны осуществлять специалисты соответствующей отрасли науки или техники, при том

независимо от степени знания данного языка и закономерностей в соотношении между исходным и переводящим языками. Такое мнение основано на неверной предпосылке, будто знание внеязыковых фактов и владение терминологией способно обеспечить полноценную передачу текста на другом языке. В своем Послесловии автор убедительно демонстрирует всю несостоятельность этого взгляда. На с. 307 он замечает: «Многokrатно доказано, что чем больше у „специалиста“ знаний, тем грубее его ошибки при переводе, если он слабо владеет иностранным языком и судит о содержании оригинала только по значениям известных ему терминов. „Специалист“, владеющий только этими терминами, не может перевести ни одной новой мысли, содержащейся в оригинале, он может „скомпоновать“ из них только мысли, уже ему известные». В этой связи можно напомнить, что и в области теории художественного перевода длительное время (с 1950-х до 1970-х годов) весьма популярна была антиязыковедческая тенденция, либо вовсе отрицавшая компетенцию лингвистов в вопросах этого вида переводов, либо всячески ограничивавшая ее. При этом, правда, важность и необходимость знания обоих языков под сомнение не ставились, но отвергались применение лингвистической теории, понятия закономерностей в межязыковых соотношениях, имеющих в искусстве перевода якобы только «техническое» значение. Провозглашалась первостепенная роль знания, творческого видения той действительности, которая стояла за текстом оригинала и отразилась в нем. Этот взгляд вызывал острую критику со стороны исследователей, не мысливших перевод вне его языковой специфики. Дальнейшее развитие науки о переводе — и в нашей стране и за рубежом — показало, что без лингвистической теории, во всяком случае — без синтеза языковедческого и литературоведческого (эстетического) подходов здесь не обойтись.

Разъясняя, обосновывая, комментируя в Послесловии к книге свой метод исследования (а тем самым и вытекающий из него дидактический подход к практике перевода, к обучению ей), автор рецензируемой книги формулирует его как билингвистический<sup>1</sup> (с. 303—304), причем понятие билингвизма используется им в широком смысле — независимо от меры полноты двуязычия. Говоря о билингвистичности как о двусторонности исследования, активно учитывающем соотношение двух языков, А. Л. Пумпянский не ставит, однако, вопроса о существенном отличии теории перевода от контрастной лингвистики. По этому поводу следует сделать следующее уточнение. Если контрастная лингвистика имеет дело, как это принято считать, с сопоставлением уже достигнутых результатов опи-

сания двух языков, с «наложением» друг на друга двух синхронных срезов этих языков в их статике, то билингвистическая теория перевода состоит в том, что соотношение языков рассматривается в их взаимодействии, в движении и что на этой основе определяются те или иные закономерные соответствия между исходным и переводящим языками и между двумя речевыми произведениями — оригиналом и переводом. Для научной и технической литературы наиболее важное из этих соответствий — эквиваленты (как лексические, так и грамматические), соответствия однозначно точные, в принципе не предполагающие и не требующие вариантов. Именно они составляют постоянный предмет внимания автора не только в рецензируемой, но и в других его работах.

Билингвистичность исследования приводит и к другому важному результату — к установлению универсальности явлений функционального стиля научной и технической литературы в разных языках на современном этапе. Это подтверждается всей массой параллельных двуязычных примеров, имеющих и в корпусе рецензируемой книги, и в Послесловии. Универсальность же названного стиля тесно связана с формально-логическим принципом изложения материала, свойственным научно-технической литературе (с. 18—19).

Материалом книги послужили тексты из области так называемых точных и естественных наук и техники, в Послесловии же автор сообщает, что, как в дальнейшем выяснилось, «...формально-логический (коллективный) способ изложения материала специфичен не только для точных и естественных наук, но и для всех других наук: экономики, истории, географии, права, архитектуры, языковедения и т. п., которые мы раньше... исключали из сферы действия перевода научной и технической литературы как особой дисциплины» (с. 303). И далее там же: «Тем самым сфера действия теории перевода НИТЛ как особой дисциплины неизмеримо расширилась, и сам термин НИТЛ (научная и техническая литература) объединил ранее непоследовательно применявшиеся понятия — „научная литература“, „техническая литература“, „научно-техническая литература“» (с. 303).

Эти положения чрезвычайно важны как для общей теории перевода, так и для стилистики научной речи в двуязычном плане. И хотя А. Л. Пумпянский не приводит, к сожалению, ни иллюстративных аргументов в пользу высказанного тезиса, ни ссылок ни какие-либо научные труды, утверждение представляется убедительным. Автор настоящей рецензии, высказав однажды аналогичную мысль относительно лингвистических работ, которым присущ способ изложения, приближающий их во многом к сфере точных наук» [8], пытался иллюстрировать и подтвердить ее анализом двуязычных конкретных примеров, по неизбежности выборочных. Нельзя не пожалеть, что А. Л. Пумпянский, оставив корпус книги в прежнем виде, не

<sup>1</sup> Ср. аналогичную постановку вопроса Б. А. Лариним: «Можно ли возражать против положения, что перевод является функциональной разновидностью билингвизма?» [7].

ввел ни в него, ни в Послесловие примеров из текстов по гуманитарным наукам.

Другой результат, сформулированный А. Л. Пумпянским тоже после выхода в свет первого издания рецензируемой книги и отраженный с большой полнотой в [6], — выявление на материале английского языка того, что автор назвал «третьим порядком слов». Формально совпадая с обычным прямым порядком (подлежащее — сказуемое), «третий порядок» предполагает иное распределение смысловых нагрузки, иное темо-рематическое построение, поскольку подлежащее, стоящее на первом месте, оказывается в этом случае сильным, а не слабым, несет основную информацию. Связанный с этим круг вопросов и выводы, уточненные и обогатившие теорию актуального членения предложения благодаря применению к ней теории логико-грамматического членения предложения В. З. Панфилова и билингвистического метода анализа языкового материала (ср. [9])<sup>2</sup>, излагаются в сжатой форме в Послесловии (с. 323—328).

Второй раздел Послесловия, в котором специально излагается вопрос о «третьем порядке слов», написан очень сжато и насыщен обобщениями, относящимися к самому корпусу книги: здесь функциональный стиль научной и технической литературы характеризуется по таким показателям, как специфика языковых категорий многозначности, полифункциональности, нейтральности и универсальности, способ изложения, фонетическая система [т. е. особые орфоэпические нормы, отличные от норм быстрого (усеченного) стиля произношения], лексический состав и выделенные в нем «слова-организаторы», грамматический строй и важнейшая принадлежность последнего — логико-грамматическое членение предложения.

Научная и техническая литература служила и служит, как известно, практически единственным объектом для опытов машинного перевода, и хотя книга А. Л. Пумпянского посвящена переводу как человеческой деятельности, требующей творчества (ср., в частности, установление новых эквивалентов), автор в конце Послесловия рассматривает некоторые лингвистические аспекты машинного перевода научной и технической литературы (с. 328—334). Констатируя незначительность успехов, достигнутых до сих пор машинным переводом, подчеркивая несерьезность и несостоятельность разговоров об «интеллекте» или «языке машины», автор отмечает и пользу, которую общему языкознанию принесли опыты машинного перевода и возникшая вокруг него теория. «Лингвисты, — пишет он, — получили реальное подтверждение бесспорного для них положения о том, что ни одна ЭВМ, построенная на прин-

ципе двоичных сигналов (кодов) и использующая примитивный „двузначный и искусственный мозг“, не в состоянии справиться со сложной многозначностью естественных языков» (с. 331).

Споря со сторонниками «искусственного интеллекта», продолжающими утверждать, что «нет разницы между кибернетической машиной достаточно высокой организации и человеком, между искусственным и естественным способом ее создания», автор, однако, отнюдь не считает полностью бесперспективными дальнейшие поиски в области машинного перевода. Возможности их успеха способно, по его мнению, действовать изменение в самом понимании их задачи и способов ее решения, признание ведущей роли лингвистов в исследовании билингвистических закономерностей научной и технической литературы, в частности, проблемы языковой многозначности. Параллельно с этим А. Л. Пумпянский возражает против стремления некоторых лингвистов механистически переносить «чисто физические законы, применяемые в машинной теории передачи информации, на действительность человека без надлежащего учета его уникальных человеческих творческих возможностей» (с. 308). Это возражение и справедливо, и актуально для современного состояния языковедческой науки. Исходя из богатства возможностей человека как переводчика, А. Л. Пумпянский отстаивает и принцип переводимости, являющийся одним из основных в отечественной теории перевода и принимаемый также многими прогрессивными теоретиками за рубежом. В отношении перевода научной и технической литературы автор придерживается мнения, что он может быть стилистически лучше оригинала, т. е. более ясно и точно, более понятно и корректно передавать заключенные в подлиннике мысли. Последнее положение было бы, конечно, нелепо в области художественного перевода, позволяющего говорить в оптимальном случае только о его эстетической равновеликости по отношению к оригиналу, но, конечно, не об «улучшении» его формы. В литературе же научной и технической — именно с точки зрения культуры речи — форма оригинала, если она не соответствует определенным требованиям формально-логического изложения, т. е. требованиям достаточной для понимания ясности и точности, может допускать, даже делать желательными «доработки», стилистические корректировки со стороны переводчика. Естественно, что необходимым, хотя, конечно, и элементарным условием реализации этого положения является признание недопустимости буквализмов, поскольку они всегда и затемняют смысл текста, и нарушают норму переводящего языка.

Весь массив двуязычных примеров, использованных в книге в качестве не только иллюстративного, но и важного доказательного материала, равно как и манера авторского изложения, практически подтверждают позицию А. Л. Пумпянского в вопросе о культуре речи в научной и технической литературе. Это уместно подчеркнуть потому, что в со-

<sup>2</sup> Следует подчеркнуть, что в [6] заново пересмотрен ход развития теории актуального членения предложения: начало ее А. Л. Пумпянский возводит не к трудам В. Матеизуса, обычно считающегося ее основоположником, а к работе французского лингвиста А. Вейля.

временных отечественных работах по вопросам перевода, как, впрочем, и по другим вопросам языкознания, более или менее устойчиво обозначились две тенденции, каждая со своей стилистической манерой: одна (условно говоря) — структурно-формализационная — представляет в своем роде подражание «точным» наукам, что выражается и в широком применении моделей, схем, вообще — в схематизировании и в усложненности терминологии (часто иноязычного происхождения) и синтаксиса; другая же (тоже условно говоря) — гуманитарно-филологическая, не пренебрегает средствами «общечеловеческого» языка и не избегает общепонятных средств выражения (не в ущерб сложности предмета исследования и вне задач нарочитой популяризации). Первая тенденция встречается и при анализе художественной литературы, вторая проявляется и на материале научных и технических текстов. Именно гуманитарно-филологическим может быть признан подход А. Л. Пумпянского к исследуемым явлениям функционального стиля научной и технической литературы. Плодотворность этого подхода, как явствует из всего сказанного, не вызывает сомнений.

*Федоров А. В.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Пумпянский А. Л. Перевод английской научной литературы (Грамматика). М., 1961.
2. Пумпянский А. Л. Перевод английской литературы (Лексика). М., 1961.
3. Пумпянский А. Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. М., 1962.
4. Пумпянский А. Л. Пособие по переводу научной и технической литературы на английский язык. М., 1963.
5. Пумпянский А. Л. Лексические закономерности научной и технической литературы. Англо-русские эквиваленты. Калинин, 1980.
6. Пумпянский А. Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. М., 1974.
7. Ларин Б. А. Наши задачи. — В кн.: Теория и критика перевода. Л., 1962, с. 6.
8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. 3-е изд. М., 1968, с. 253.
9. Чесноков П. В. — ВЯ, 1978, № 3. — Рец. на кн.: Пумпянский А. Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. М., 1974.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27 апреля 1982 г. в Институте языкознания АН СССР состоялось объединенное юбилейное заседание Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» и сектора кавказских языков ИЯ АН СССР, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося советского лингвиста Н. Ф. Яковлева (1892—1974).

Г. А. Климов, открывший заседание, подчеркнул непреходящее значение для теории и практики отечественного языкознания трудов Николая Феофановича Яковлева, ученого чрезвычайно широких интересов, оставившего заметный след во многих отраслях науки о языке. Здесь следует назвать: фонологическую теорию (прежде всего вопросы преодоления психологизма в фонологии), принципы построения алфавита, некоторые проблемы типологии эргативного строя. В серии его грамматик и монографий по абхазско-адыгским и нахским языкам сделано немало ценных наблюдений, легших в основу дальнейших исследований. Идеи Н. Ф. Яковлева во многом созвучны современным творческим исканиям советских языковедов.

Раскрытие связей наследия ученого с современностью были, в основном, посвящены прочитанные на заседании доклады.

Ю. Д. Дешериев в докладе «Н. Ф. Яковлев и развитие советского языкознания в 20—40-х годах» подчеркнул большой вклад ученого в языковое строительство в нашей стране, в исследование языков народов Кавказа, в дело подготовки лингвистических кадров по языкам народов СССР. Н. Ф. Яковлев был одним из первых советских ученых, которые еще в 40-х годах признали целесообразность сознательного воздействия общества на язык, возможность формализации языка в разумных пределах в связи с идеями машинного перевода. Он понимал и старался обосновать огромное культурно-историческое, общественно-политическое значение грандиозной социальной программы языкового строительства, осуществленной в

нашей стране. Н. Ф. Яковлев оставил для советского языкознания большое научное наследие. Должным образом оценить и использовать это наследие в интересах советской науки — важная задача.

В докладе «Теория фонемологии Н. Ф. Яковлева» В. К. Журавлев отметил заметную роль ученого в отечественной фонологии. Его заслуга заключается в том, что он первый «освободил фонему» от бодуэновского психологизма, предложив собственно лингвистические критерии ее определения. Фонемология Н. Ф. Яковлева явилась результатом творческого синтеза бодуэновского и фортунатовского направлений в отечественном языкознании.

В докладе Т. И. Дешериевой «Вклад Н. Ф. Яковлева в теорию грамматики (на материале нахских языков)» было заострено внимание на идеях и концепциях ученого в области грамматики. Некоторые из них являлись весьма новаторскими для 40-х годов (когда они были сформулированы) и получили должное развитие лишь сравнительно недавно. В их числе: 1) условность деления грамматики на морфологию и синтаксис, при ведущей роли последнего; 2) возможность различных способов выражения грамматической формы, в числе которых: интонация, порядок слов, логическое (синтаксическое, по Яковлеву) ударение, служебные слова и частицы, наконец — морфологическое оформление отдельных слов; 3) первостепенная роль сингификативного и коммуникативного компонентов в семантике предложения; 4) фактическое введение в синтаксис парадигмы простого предложения; 5) признание ошибочности тезиса П. К. Услара о пассивности эргативной (активной, по Яковлеву) конструкции. В явной или неявной форме эти идеи и концепции представлены в известных монографиях Н. Ф. Яковлева по нахским и абхазско-адыгским языкам. В настоящее время они находят дальнейшее развитие в исследованиях его учеников и последователей.

В докладе были также отмечены некоторые положения Н. Ф. Яковлева,

являющиеся дискуссионными. Таковы: 1) квалификация прямого дополнения эргативной (активной, согласно Яковлеву) конструкции главным членом предложения; 2) некоторая непоследовательность в определениях залога, вида, наклонения.

М. А. Кумахов в докладе «Вклад Н. Ф. Яковлева в разработку вопросов фонологии и грамматики адыгских литературных языков» подчеркнул, что положения ученого, касающиеся общетеоретических проблем фонологии, опираются, главным образом, на фактический материал адыгских языков. Он в описательном плане охарактеризовал основные части речи (имя, глагол, местоимение, наречие, числительное) в адыгских литературных языках. Особенно большое внимание уделено Н. Ф. Яковлевым анализу синтаксического строя адыгских литературных языков. Исходя из мысли о том, что «синтаксис является ключом для понимания всех остальных грамматических понятий», он построил описательные грамматики адыгских литературных языков, сформулировал принципы соотношения синтаксиса, морфологии, фонетики. Хотя некоторые из положений Н. Ф. Яковлева (о стадильности грамматического строя, об аморфности корневых морфем и др.) не могут быть приняты, ученый остается одним из главных зачинателей в разработке описательной грамматики адыгских литературных языков.

Полный текст докладов, прочитанных на юбилейном заседании, предполагается опубликовать в коллективном труде «Вклад Н. Ф. Яковлева в советское языкознание».

*Дешериева Т. И.* (Москва)

18—20 января 1983 г. во Львове в Институте общественных наук АН УССР состоялось совещание, посвященное обсуждению пробной тетради Словаря украинского языка XVI — первой половины XVII в. Совещанию предшествовала значительная исследовательская и организационная работа группы лексикографов института. После выхода в свет двухтомного Словаря староукраинского языка XIV—XV вв. (Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. Т. 1—2. Київ, 1977—1978) была проведена большая работа по выявлению рукописных и опубликованных памятников украинского языка XVI — первой половины XVII в., хранящихся в архивах и библиотеках нашей страны и за ее пределами, по составлению канона источников словаря и, наконец, самой картотеки, насчитывающей свыше 600 тыс. карточек-цитат.

В работе совещания приняли участие ученые Москвы, Минска, Киева, Ужгорода, Черновца, Тернополя, Дрогобыча.

Во вступительном слове директор института М. В. Брык отметил научные успехи обществоведов института, их вклад в решение научных проблем республики. Признанием этих успехов является, в частности, присуждение Словарю староукраинского языка XIV—XV вв. премии АН УССР им. И. Франко за 1980 г. Приветствуя гостей, М. В. Брык с удовлетворением отметил, что группа лексикографов института имеет тесные научные контакты с лексикографами Москвы, Минска, Киева.

Высоко оценивая работу, проделанную группой лексикографов под руководством Д. Г. Гринчишина по составлению канона источников и картотеки словаря, выработке основных принципов описания в нем слова и словосочетания, выступающие одобрили хронологические рамки словаря, который будет закономерным продолжением Словаря староукраинского языка XIV—XV вв. В словаре найдет отражение дальнейшее развитие украинского языка, усовершенствование его грамматической системы, расширение сферы употребления. Отмечено, что положительным моментом в структуре словаря является приведение вариантных форм при заглавном слове. Сосредоточение вариантов в одной словарной статье дает квалифицированно подготовленный материал для исследования в области исторической грамматики, фонологии, графики и орфографии.

При обсуждении вопроса об источниках словаря участники совещания выразили единое мнение о необходимости дополнения канона источников словаря и увеличения картотеки. И. З. Мицко (Львов) предлагает ввести в канон источников наряду с другими жанрами памятников также надписи на старинных иконах, в которых широко отражены элементы народно-разговорного языка. Указывалось, что часть памятников следует расписать не выборочно, а полностью, как это практиковалось, когда расписывались хронологически ранние и поздние источники.

Широко обсуждался вопрос о подаче ономастической лексики в словаре. Учитывая ее исключительное значение для изучения истории языка вообще и исторической лексикологии в частности, выступающие предлагали включить в реестр словаря или все виды онома (П. П. Чучка, Ужгород), или же только отапеллятивные (Д. Г. Бучко, Черновцы; Р. И. Осташ, Львов). По мнению И. А. Дзендзелевского (Ужгород), Т. А. Сумникова (Москва), весь ономастический материал следует представить в отдельном словаре.

Сложным является в историческом словаре украинского языка вопрос о пометах, указывающих на родство слов, на заимствования, особенно это касается памятников с пограничных территорий. В связи с этим Т. А. Сумникова и Н. В. Чурмаева (Мо-

ска), П. П. Чучка высказали пожелание, чтобы при этимологических пометах более широко учитывались данные других восточнославянских языков в их современном и древнем состоянии. Различные точки зрения высказывались по поводу цифровой пометы при заглавном слове в словаре, указывающей на количество его фиксаций в картотеке. В. Л. Карпова (Киев), Т. М. Возный (Львов) высказались за то, чтобы в словаре была такая помета. По мнению же Н. В. Чурмаевой, подсчеты целесообразно давать при условии максимального использования памятников и при сплошном их расписывании. Поскольку при выборочном расписывании не исключена возможность, что распространенные слова в картотеке могут быть представлены единичными примерами и, наоборот, редкие — большим числом примеров, цифровая помета может неправильно информировать исследователя.

Ряд критических замечаний относительно более четкого разграничения в словаре фразеологизмов и устойчивых сочетаний, морфологических и словообразовательных, фонетических и морфологических вариантов слов, относительно толкований наречий, деэпричастий высказали И. И. Ощипко (Львов), Т. М. Возный, М. Д. Карпюк (Тернополь), А. А. Сербенская (Львов), Н. В. Чурмаева. Выступившие в обсуждении В. Л. Карпова, Т. М. Возный, П. П. Чучка на основе анализа конкретного материала сделали ряд интересных дополнений.

На совещании были заслушаны также доклады, посвященные различным вопросам исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. Л. С. Паламарчук (Киев) в докладе «Достижения и перспективы развития украинской советской лексикографии» отметил, что лексикография на Украине имеет уже почти четырехвековую историю, однако то, что сделано за 60 лет Советской власти, превышает сделанное на протяжении предыдущего периода. Докладчик дал широкую панораму развития украинской советской лексикографии, показав на ее фоне достижения лексикографов Львова.

Принципам подбора памятников для словаря, их языковой и жанровой характеристике был посвящен доклад Д. Г. Гричишина «Источники словаря украинского языка XVI — первой половины XVII в. и принципы их подбора». С интересом был заслушан доклад О. А. Купчинского (Львов) «Актовые фонды Государственных архивов СССР как источник общеязыковых и отраслевых словарей украинского языка XVI—XVII вв.». В докладе, основанном на архивных материалах, дан глубокий анализ чрезвычайно богатых и ценных для исторической лексикологии и лексикографии памятников украинской письменности. В докладе «К определению значения в историческом словаре» Т. А. Сумникова на примере словосочетания *лютый зверь* из Поучения Владимира Мономаха убе-

дительно доказала, что при определении значения слова или словосочетания следует анализировать лексему каждого памятника в отдельности, учитывая при этом экстралингвистический аспект, в частности, данные исторической географии, исторической зоологии, истории Киевской и Северо-Восточной Руси.

Л. М. Подюга (Львов) в докладе «Формы подачи семантической системы в историческом словаре» отметил, что семантическая характеристика слова, устойчивого словосочетания или фразеологизма в Словаре украинского языка XVI — первой половины XVII в. будет осуществляться путем перевода или толкования. Толкование применяется в тех случаях, когда то или иное слово отсутствует в активном запасе современного украинского языка.

В докладе А. Т. Захаркив (Львов) «Графические особенности памятников украинского языка XVI — первой половины XVII в.» была сделана попытка решения ряда практических вопросов, связанных непосредственно с работой по составлению словаря, в частности, вопросов, касающихся транслитерации слов, передачи вышесных букв и лигатур, надстрочных знаков, дифференцированного подхода к отражению отдельных видов акцентуации, орфографии заглавного слова, максимального сохранения графических особенностей памятников в цитируемом материале, и др.

В. Л. Карпова в докладе «Вторичные семантические функции флористических названий в староукраинском языке» на примере анализа семантической группы двукомпонентных названий растений показала, что в староукраинском языке нередко для обозначения совершенно различных растений употребляются одинаковые названия. Поэтому при определении значения таких слов в историческом словаре следует поступать весьма осторожно, учитывая при этом жанр памятника, место его написания и др.

В докладе Н. В. Чурмаевой «Наречия в Словаре древнерусского языка XI—XIV вв.» отмечалось большое значение исторических словарей для исследования исторической грамматики, в частности, вопроса о словообразовании наречий в восточнославянских языках.

В докладе Р. И. Керсты (Львов) «Ономастика в Словаре украинского языка XVI — первой половины XVII в.» и П. П. Чучки «Исторический словарь и собственные названия» на основе данных исторической ономастики показано ее значение для исторической лексикологии, для хронологизации языковых фактов.

Были заслушаны также информации А. И. Журавского (Минск) о работе над Историческим словарем белорусского языка, Т. А. Сумниковой — о работе над Словарем древнерусского языка XI—XIV вв., В. Я. Дерягина (Москва) о работе над Словарем русского языка XI—XVII вв.

Участники совещания пришли к еди-

ному выводу, что качество будущего Словаря украинского языка XVI — первой половины XVII в. в значительной мере зависит от поддержки и помощи широкой научной общественности как в нашей стране, так и за ее пределами.

Керста Р. И. (Львов)

18—20 февраля 1983 г. в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (Новосибирск) проходила очередная (пятая) конференция по плановой теме сектора языков народов Сибири — «Сопоставительно-типологическое исследование строя сложного (полипредикативного) предложения в языках разных систем» (руководитель темы — М. И. Черемисина). В разработке этой темы принимает участие целый ряд научных коллективов и отдельных языковедов — сотрудники и аспиранты академических институтов, местных сибирских НИИ, преподаватели вузов. Нынешняя конференция подвела итоги последних двух лет работы. Она была посвящена вопросам обобщающего характера — доклады группировались вокруг четырех основных тем: проблемы типологии сложного предложения (СП), системное представление СП, функционально-семантические и структурные типы СП. Поднялись также вопросы смежного характера — морфологическая база СП, общие вопросы синтаксиса предложения и др.

По установившейся традиции каждая проблема обсуждалась на материале разных языков, как индоевропейских (русский, английский), так и алтайских (тюркские языки Сибири; эвенкийский и маньчжурский; бурятский), финно-угорских и самодийских (финский, энецкий, итавасанский, хантыйский), палеоазиатских и др.

В докладе М. И. Черемисиной «Структурные и функциональные типы СП» был поставлен вопрос о необходимости углубленной теоретической проработки и систематизации тех понятий, с помощью которых описывается план выражения и план содержания (форма, структура, смысл и значение, функция), а также отношения частей сложного предложения — понятия подчинения, соподчинения и сочинения, предикативной и координативной связей; ср. также понятия управление, согласование, изафет — и союзная связь, союзное подчинение и сочинение и др. В этих понятиях слабо разведены семантические и формальные аспекты, тогда как для построения стройных систематик и типологии необходима непротиворечивая понятийно-терминологическая система. В докладе Ф. А. Лина и в и а (Орел) «О соотношении семанти-

ческих и структурных моментов в типологии СП» также говорилось о необходимости различать формальные и содержательные аспекты СП и учитывать то, как по-разному они соотносятся в разных языках. Кроме того, в содержании СП типологически существенно различать семантику, т. е. то, что ориентировано на внеязыковую действительность (в широком ее понимании), и синтактику, т. е. то, что обусловлено структурой языка. Это касается как оснований выделения СП, так и их классификации.

Серия докладов была посвящена системному представлению СП. Я. Г. Биренбаум (Магнитогорск) в докладе «Синкретизм адвербиальных разрядов придаточных» описал систему закономерных связей между 18-ю разрядами придаточных предложений в английском языке с объяснением промежуточных случаев, когда придаточное одного разряда приобретает значение другого разряда. Н. Х. Демисина (Алма-Ата) представила классификацию сложных предложений казахского языка. Автор различает сложносочиненные предложения с показателями союзного типа, каждая из частей которых имеет сказуемое — личную глагольную (или именную) форму; сложноподчиненные предложения, сказуемое зависимой части которых — инфинитивная глагольная форма (причастно-падежные, причастно-последовательные формы, деепричастия, имена действия, условное наклонение); бессоюзные сложные предложения, невыраженность отношений между частями которых позволяет им передавать широкий и неопределенный круг значений. Л. М. Байдуш (Тюмень) в докладе «О месте конструкций с союзом *тем* более что в системе типов СП» предложила ввести в классификацию СП признак «минимальный состав формируемой союзом конструкции», противопоставляя союз *тем более что* и подобные ему как формирующие трехчленные конструкции союзам, формирующим биномы.

В докладе «Изыяснительное бессоюзное предложение и его место в типологии сложных бессоюзных предложений русского языка» Н. Н. Чайковская (Усть-Каменогорск) рассмотрела специфические структурные, семантические и коммуникативные признаки бессоюзного изыяснительного предложения на фоне союзных изыяснительных конструкций, противопоставив его как «истинное» бессоюзное предложение «квазибессоюзным».

Другая большая группа докладов была посвящена различным функционально-семантическим типам СП. В рамках выделенных типов обсуждались структурные модели (типы) конструкций, передающих те или иные специальные значения. Больше всего внимания было уделено временным конструкциям. Л. М. Бродская (Иркутск) в докладе «Лексико-грамматические средства выражения временного значения во временных СП эвенкийского языка» охарактеризовала формы со значением начала и конца действия, а также отрицание как дополнительные средства уточ-

нения темпорального значения, выраженного формой зависимого сказуемого. В докладе, посвященном бурятским конструкциям со вспомогательным глаголом *бай-* «быть» в роли зависимого сказуемого, Е. К. Скрибник (Новосибирск) показала влияние аспектуальных аналитических форм с этим глаголом на семантику сложной временной конструкции, а также специальные аналитические формы с этим глаголом, которые возникают в условиях идиоматизации сочетаний причастных, надежных и отрицательных аффиксов как строевых элементов полнпредикативной конструкции и функционируют именно в позиции зависимого сказуемого, передавая значение отрицания, временные и модальные значения. А. П. Леонтьев (Иркутск) посвятил свой доклад «временным конкретизаторам» — словам, в разной мере сохранившим собственное значение и функции членов предложения (например, *затем, в дальнейшем, на следующий день* и т. п.) и выражающим отношения между событиями, а тем самым являющимися своеобразными «скрепами предложения», как связанных запятой, так и разделенных точкой. Т. Н. Боргоякова (Новосибирск) исследовала конструкции общей временной соотносительности в хакасском языке, их структурные типы, средства конкретизации их обобщенного временного значения для передачи отношений предшествования, одновременности и следования. В докладе Н. М. Гришиной (Новосибирск) была представлена система временных конструкций кетского языка, их семантика и основные структурные типы (падежные, последовательные и др.). Г. Г. Фисакова (Барнаул) уделила внимание одной уступительной конструкции в языке бачатских телеутов — конструкции, где главным сказуемым является аналитическая форма с семантикой «фиктивного действия», знаменательный компонент которой имеет форму причастия на *-боксын*. Л. М. Горелова (Москва) в докладе «Семантика подлежащих конструкций в маньчжурском языке» рассмотрела факторы, внутренние и внешние, т. е. относящиеся к структуре самой зависимой предикативной единицы или относящиеся к структуре и семантике конструкции в целом, которые обуславливают предметное либо событийное значение ЗПЕ в функции подлежащего.

Два доклада были посвящены определительным конструкциям: на материале гванасанского языка их обрисовала Н. Н. Коваленко (Новосибирск), на материале тувинского — М. В. Юн (Новосибирск). В сообщении Н. А. Витюговой (Новосибирск) были описаны семантические типы сложносочиненных предложений с союзом «и» и отрицанием «не».

Четвертая тема, обсуждавшаяся на конференции, — структурные типы СП. В докладе А. П. Володина (Ленинград) «Полипредикативные конструкции в финском языке» говорилось о конструкциях с инфинитивами в роли предиката зависимой части. Докладчик проанализировал

роль надежных аффиксов в их структуре и показал существенную аналогию между этими конструкциями и синтетическими типами СП в алтайских языках Сибири. И. П. Сорокина (Ленинград) в докладе «Полипредикативные конструкции с последлогами в энечком языке» рассмотрела серийные и несерийные последлоги, примыкающие к глагольному имени в роли зависимого предиката и выступающие грамматическими показателями связи между главной и зависимой частями полнпредикативного комплекса. Доклад Л. А. Шаминной (Новосибирск) был посвящен уточнению синтаксического статуса тувинской инфинитивной формы на *-гыже*. Эта форма, наряду с признаками, сближающими ее с деепричастными и причастиями, характеризуется и специфическими признаками (надежная парадигма, хотя и неполная, личное спряжение с появлением внешнего аффикса, как у форм условного наклонения). Автор оценивает эту форму как предельное наклонение. О. В. Субракова в докладе «Хакасские сложные конструкции с соотносительными словами» показала тип связи, появившийся и все более распространяющийся под влиянием русского языка — двустороннюю местоименно-соотносительную связь (*кем... — ол... «тот... — кто...»*). Н. Н. Ефремов (Якутск) докладывал о соотношении дополнительных и противительных конструкций якутского языка. В сообщении И. Г. Андреевой (Новосибирск) были выявлены структурные типы подлежащих конструкций японского языка. Н. П. Перфильева (Новосибирск) описала синтаксическую и семантическую специфику русских конструкций с двойными скрепами типа *зотя... — но..., несмотря на то что... — тем не менее... и др.*; Н. В. Усова (Новосибирск) сообщила о структурных типах русских противительных конструкций.

На конференции поднимались и общие вопросы синтаксиса. Э. И. Белымов (Новосибирск) в докладе «Понятие субъекта и объекта и стадийная теория» показал неприменимость этих терминов для описания кетского предложения и предложил дихотомию «инициатор — восприниматель» с учетом признаков активности — инактивности и динамичности — статичности актантов ситуации. Т. В. Шмелева (Красноярск) в докладе «Опыт перечисления модусных значений в предложении» обрисовала возможности выражения модуса в сложном предложении. Предварительное перечисление модусных значений позволило выделить четыре их группы: метакомпонент (речевой и номинативный смысл), актуализационный (координаты «я — здесь — сейчас»); квалификативный (модальность, предикативность, авторизация и оценочность) и социальный (категория вежливости) компоненты. СП системно выражают речевой и квалификативный компоненты (изъявительные конструкции), а также номинативный (местоименно-соотносительные конструкции). Э. М. Ким (Ново-

сибирск) представила результаты трансформационного эксперимента по преобразованию изъяснительного сложного предложения в простое, т. е. изъяснительного придаточного в слово или словосочетание, показала категориальные различия этих форм и остановилась на ограничениях, которые накладывает на преобразование их формальная специфика. В сообщении С. П. Кононовой (Ханты-Мансийск) «Некоторые синтаксические явления в языке казымских ханты» был дан критический обзор литературы по хантыйскому синтаксису и отмечены отдельные особенности синтаксиса казымского диалекта. Два доклада были посвящены синтаксису текста и роли в нем различных временных и пр. глагольных форм — доклады Т. А. Кабановой (Красноярск) на материале кетских текстов и Н. Н. Сабельфельдт (Новосибирск) — на материале языка Ремизовской летописи (XVIII в.).

При обсуждении докладов и подведении итогов конференции зав. Отделом филологии ИИФФ СО АН СССР Е. И. Убрятова подчеркнула, что конференция объединяет широкий круг исследователей языков Сибири, коллектив «на общественных началах», основную часть которого составляют вузовские преподаватели. Эта традиция была заложена в Сибири А. П. Дульзоном, ученики и последователи которого, представляющие «томскую школу сибиреведения», работают сейчас в разных городах Сибири. М. И. Черемисина, закрывая конференцию, предложила положить в основу дальнейших научных изысканий важный вопрос, поднятый на конференции, — существует ли связь между формальными и содержательными типами сложного предложения как некоторое закономерное явление.

*Скрибник Е. К.* (Новосибирск)

